

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ

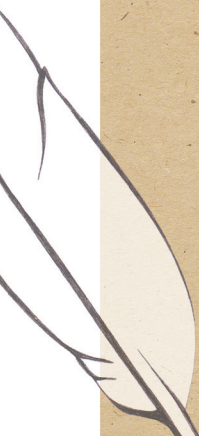
Журнал русской литературы

Книга девятая

(I - 2007)

Verlag "Partner"

2007



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Людмила Агеева

Ольга Бешенковская

Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ДЕВЯТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Александр Руденко. Дар. Стихи	2
Нина Горланова. Рассказы	10
Беседы у голубого экрана	
Ай-яй, туман в глазах	
Семейный портрет	
Дорогие гости	
О красоте	
Вечный выбор	
Леонид Гиршович. Рождество. Рассказ	32
Владимир Жуков. Рассказы	49
Грушевая аллея	
Как я стал великаном	
А где бабуля?	
Антонина и её пупыри	
Юрий Беликов. Царский жест. Стихи	60
Михаил Гиголашвили. Адский рай. Повесть	66
Виктор Серебряный. Майкуда. Рассказ	87
Пётр Межурицкий. Salve. Стихи	92
Светлана Фельде. Гуд бай, Америка! Рассказ	98
Хаим Соколин. Серая зона. Роман (продолжение)	102

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Из нидерландских поэтов	142
Гвидо Гезелле. Перевод Ирины Михайловой и Алексея Пурина	
Мартинус Найхофф. Перевод Марины Палей	

СВОБОДНЫЙ ЖАНР

Андрей Грицман. Американский пейзаж	148
--	-----

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Малецкий. Шестнадцать тонн центона	162
Евгений Кочанов. Вращая разноцветный глобус (продолжение)	177

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александр Мелихов. Траектория покаяния	188
Александр Самойлов. Русский с евреем – братья навек?	189

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Милослав Шимек и Йиржи Гроссман. Два рассказа. Перевод с чешского Святослава Щиголя	194
Письмо в редакцию	198
Коротко об авторах	199

ДАР

* * *

Когда огонь под звездами горит,
когда мужчина с Богом говорит
и возле ног его лежит собака, —
молчат и ждут работа и война,
пока о них напомним письмена,
записанные шифром зодиака.

Дым над огнем, над трубкою — дымок.
Разматывает время свой клубок —
открыть не хочет Бог, что в нем таится:
нет большего несчастья — это знать.
А знание бродит в темноте, как тать,
и лишь собаки у огня боится...

* * *

В плохую ночь, в метель предзимнюю
беглянка память, сделав круг,
прокралась волчьей низиной
и мне навстречу вышла вдруг.
И я — сквозь времена пропащие,
сквозь снега липкие клочки —
в упор ей заглянул в горящие
желто-зеленые зрачки.

И в даях одного пожарища
обрушились и стерлись в прах
мои убежища-пристанища
в семидесяти городах.

Но высветил средь птиц непуганых
предзимний слюдяной закат
нору из мшистых бревен буковых,
над нею земляной накат.
И тонкий острый дым — как лезвие,
направленное в облака
сквозь глинобитное отверстие
распаленного очага, —
где, занят печенью лосиной,
огонь вышептывает зов

для духа,
волчьей низиною
крадущегося из лесов.

А рядом у ковша с водицею
лежит пустая волчья кость
и нож, обвязанный тряпицею, –
чтоб лапы не поранил гость.

Пусть он придет, железом меченный,
оставив чащи позади,
на запах обгорелой печени –
не опасаясь западни.
Пусть в глубине норы бревенчатой,
чуть пригасив зрачки свои,
увидит он мужчину с женщиной,
соединившихся в любви.
И думой о себе – несытою,
неукротимой, как леса,
войдет он в их полуприкрытые
желто-зеленые глаза.
И – лишь к утру
по следу темному
уйдет, передохнув в тепле,
но им – и сыну нерожденному
поможет выжить на земле.

И угли пеплом не покроются,
отбушевав в ночной игре
на праздник Волчьей Богородицы
в дохристианском ноябре.

* * *

Окалины калины
темнеют пообочь...
Ты на две половины
разламываешь ночь.
По леву руку – молча –
без сердца и лица –
лишь холод
шерстью волчьей
взьерошивается.
Глядит по праву руку
печально, как изгой,
твоя тоска по другу
и теплоте мирской.
Но до глубин Вселенной –
на миллионы верст –
ни справа и ни слева
не зажигают звезд...
И не пытаясь злобу
растрогать добротой,

пойдешь ты по разлому
дымящейся травой.
Среди страстей и тягот,
где посвист твой звучит
и гроздь промерзших ягод
до сладости
горчит.

ЧЕРДАК

Мой чердак – волшебная шкатулка.
Осторожно поднимусь я кверху –
чтоб не разбудить ступенек гулких,
медным ключиком открою дверку...
И обнимет сладкая рутина
старых книг, знобящего покоя;
высоко качнется паутина
над зажженной свечкой восковой...
Стрелочки моих часов послушных
будет тихо двигать звездный Логос.
И помогут вызвать духов нужных
чучело совы и пыльный глобус...
И когда в наплывах белой пены
заколеблется свечное пламя,
запоют взволнованные стены
только мне понятными словами.

СКАЗКА О ПУСТЫНЕ

Моя пустыня – мой дом игорный,
где узкий вход охраняют джинны.
В моей пустыне верблюд двугорбый
везет воды и вина хурджины.
Над ней кружится орел без свиты –
хранитель властный... И – на везенье –
столы в зыбучих песках покрыты
сукном зеленым травы весенней.
Прозрачные – золотятся стены
от встроенных в них раздвижных макетов
дворцов, отелей, садов, бассейнов,
церквей и пагод, и минаретов...
В моей пустыне младенец месяц
глядит из туч, как разбойник ражий.
Но я единственный здесь владелец
всех парадоксов и всех миражей.
Здесь ветер в замке воздушном шарит,
в руках банкнота песком крошится,
несется солнце – рулетки шарик,
миры творятся... Орел кружится.
И возле вечнозеленой травки,
не тронутой ни жарой, ни стынью,
здесь черт и ангел делают ставки

на дом игорный – мою пустыню.
Один – швыряет насмешки грубо,
а у другого улыбка – сдоба;
и переигрывая друг друга,
неутомимо блефуют оба.
Лишь я на обоих могу прикрикнуть.
А вы – все будьте здоровы-живы
и не пытайтесь сюда проникнуть.
Ведь если даже пропустят джинны,
мгновенно среди пространств безмерных
и стен, не видных вашему глазу,
разденут вас донага, во-первых, –
колоды с крапом отнимут сразу.
Орлу медлительному в угоду
за стол усадят в песках зыбучих,
дадут на выбор вино и воду,
но их подменит разбойник в тучах.
Верблюд пройдет сквозь ушко иголки,
которой будут пришиты плотно
надежды ваши и кривотолки
к плывущим вдаль миражным полотнам.
В мою пустыню войти непросто,
уйти труднее – тропой сквозною.
А выигрыш – несколько парадоксов –
всегда придется делить со мною.

* * *

Ночь, проступив сквозь кольцо чернотала,
к стеклам прильнула, к колодцу припала
и широко растеклась по равнине...
Мягко белеет в ее сердцевине,
в темной глубине – безнадзорной, кромешной –
шея лебяжья на лапе медвежьей.
В слитном их сне и в пространстве без края
слились и женская плоть, и мужская.
Соединились и рокот, и шелест,
пух облаков и оврагов замшелость,
первых снежинок колючая россыпь,
легкость крыла и когтистая поступь.
Два существа, будто корень с вершиной,
сплавились в сущности нерасторжимой:
неопалимое – в пламени белом –
древо восходит к безвидным пределам,
ветви крылато горящие множит...
Но от земли оторваться не может.
Об облаках и оврагах тоскуя,
снова на женскую плоть и мужскую –
сверху – оно начинает двоиться...
Чтоб на заре из колодца напиться
и прочесть на притоптанных росах
руны о чувственных метаморфозах.
Чтоб сквозь густое кольцо чернотала

медленно новая ночь проступала
и – растеклась по равнинному кругу,
скрыла двоих... и прижала друг к другу.

* * *

Рядом со связками красными перца сушеного,
тыквой на дряхлом буфете и банкой хурмы
Дух чердака бережет паука воскрешенного,
отогревая гамак его среди зимы.

Дух чердака одиноко скрипит половицами,
запах кофейный вдыхает, золу ворошит
и пожелтевшими от ожидания страницами
рукописей,
как осенней листвою, шуршит.

Он умирает, прощаясь с химерами давними,
тянется к снегу густая его борода...
Но, ощущая, как холоден ветер за ставнями,
Дух чердака воскрешает себя...

И когда
по вечерам раскаляется печка чугунная,
в легком пальто – и уже не боясь паука –
к доброму Духу является женщина юная –
тяжесть его ощутить
в гамаке чердака.

ЛЮБОВЬ КОЛДУНА

Несутся листья. Ветрище дует.
Над кряжем гор Козерог уперся
рогами в тучу.
Сорвало с крыши
незакрепленную черепицу.
Сквозь эту щель загудит пространство,
когда в ночи ты поднимешь руки.
– О, не противься! – пространству крикнешь.
И – Козерогу:
– Не упирайся!
Пусть быстро тучи займут все небо,
захлещет дождь...
И как лист – от вишни,
от заматавшейся в вихре стаи
пусть оторвется одна голубка.
Ее глаза – изумрудны. Крылья –
белы и мягки. В изгибе шеи
таится нежное воркованье.
И ветру крикнешь:
– Сгибай деревья,
сорви еще одну черепицу!

Чтоб гостье было впорхнуть просторней,
чтоб не поранилась, залетая...
Чтоб знала: здесь для нее – спасенье,
и выбора нет...
Я свой выбор сделал.

ДАР

1

Еще случаются, как сны твоей свободы,
похожие на юность дни,
когда высоты
над мирной синевой взгляд увеселяют,
все выше ласточки летят,
дома сияют.
Протяжный солнечный простор надежды нежит,
не слышен в нем базарный ор,
зубовный скрежет.
И дышит синева вольней – с душою слитно,
настоль прозрачная, что в ней
глупцов не видно.
И веря в мир такой сполна – наивной верой,
ты знать не хочешь, что она
жива химерой;
что все труднее видеть свет на небе хмаром
и на земле держать ответ
пред Божьим даром.

2

В луне – летят от холодов
чернеть и гоголь.
В реке –
от скальных валунов
чуть-чуть поодаль –
ударил неуснувший сом
хвостом-снарядом
и отогнал пернатый сон,
круживший рядом.

У лодки ты присел на ось
скрещённых весел,
пузырь сома
и щебня горсть
в огонь подбросил.
И дымно – холодам навстречь
метнулось пламя,
и стала вдруг понятна речь
воды и камня:

«Не улетишь от холодов
в лучах бездонных –
дождешься ты своих плодов
в ночах бессонных.

Прорвешь запутанную сеть
Тоски и гнева...
И – будешь знать,
и – будешь сметь,
и жаждать – немо.
Ни на каком земном суде
не оробеешь.
Но – скажешь слово в суете, –
окаменеешь.
Землю обрастешь –
слепой
в дождливой хмари, –
и позавидуешь любой
пернатой твари...»

3

В безмолвье лунный свет пророс
пространству – в очи...
Умолк и желтоклювый дрозд
на ветке ночи.
И плотно обжимая дом,
до выси горней
стоит такая тишь – комком,
как слезы в горле.
Душою, кожей ощути
земные пути...
Текут по Млечному Пути
твои минуты,
в безмолвье, как вода, текут...
Но в нем – широко –
откуда чуешь этот гул
и слышишь рокот?
Теряя силу, изнутри
земля рокочет.
Почувствуй крылья. Посмотри
пространству – в очи.
Безмолвно – к слову – поднимись
в свои просторы
за лунный свет, откуда мысль
сдвигает горы.

* * *

Даль-дорога русская – то бела, то синя,
до чего ж ты пúстыня-пустыня-пустыня.
Бурями просвистана, выжжена до праха,
над тобой расхристана облаков рубаха,
ночь дымитса-дыбитса, быстро дни ветшают...
И твои пустынницы на ветру рожают.
Не от волчьих зимников, где нужна оглядца,
у твоих пустынников зыркалы слезятся.
Держим веру вечную, словно в крест нательный, –
в речку беломлечную, в бережок кисельный.

А не видно спереди киселя и млека...
Но увижу нелюдя или человека,
или тень миражная к сердцу припадает, —
есть в душе для каждого то, что подобает.
В ней — сады негрустные, чтоб не бедовала...
Неужели в пúстыни этого мне мало?
Жаждой сам измученный, может, к каравану
птичьему — тягучему — осенью пристану.
И с высот проглянется, что пустынь-дорога
так далёко тянется,
как от нас — до Бога...

* * *

Мгла — белей молока — по утрам над бахчами,
и большая река остывает ночами.
Месечина кругла, бледно солнца огниво...
Сыты перепела, кружит ястреб лениво.
И трава и листва — ядовитого цвета —
темным златом едва — по краям, но задета...
И любовь, что сбылась сновидением вещим
и, как плод, налилась и созрела до трещин,
с простотой несмешной льстит себе — обладаньем
умудренной душой перед похолоданьем.
И живет на авось — с неостуженным взглядом.
Что ж, пройдем наискось даль, задетую златом;
словом, сказанным зря, лишний раз не встревожим
своего сентября на просторе Стрибожьем.

РАССКАЗЫ

БЕСЕДЫ У ГОЛУБОГО ЭКРАНА

I. Переговоры

Он приехал с четырьмя детьми и беременной женой к теще в гости и сразу наткнулся на ее уничижительный взгляд: ах, зять-зять, ничего-то ты не умеешь делать – только детей!

– Надежда Михайловна, – сразу воскликнул он. – Как вы хорошо выглядите! Тата, не визжи (это средней дочери уже).

– Папа, я так люблю бабушку, что не могу успокоиться!

– Надя, Надя! – закричала из комнаты восьмидесятилетняя мать тещи. – Выведи меня на балкон.

– Что? – Надежда Михайловна выключила звук в маленьком телевизоре, что стоял у нее на кухне. – Зять, выведи ее на балкон, у меня пирог в духовке пошел... (и она снова прибавила звук).

Он взял под руки старушку и повел ее – усадил в кресло на балконе.

Надежда Михайловна принесла большой рыбный пирог и вздохнула:

– По телевизору слышала: в многодетной семье выросла знаменитая певица!

– Надя! Надя! – истошно закричала с балкона старушка.

– Зять, сходи – узнай, что надо... – и Надежда Михайловна заставила дочь разрезать пирог, а сама ушла на кухню за приборами.

Он вышел на балкон: старушка тыкала в воздух своей тростью:

– Семь, восемь, девять! Я правильно сосчитала – их восемь?

– Кого, чего?

– Девять цветков расцвело на том балконе? – она продолжала водить тростью по воздуху.

Он сосчитал огромные лиловые цветы среди выющейся зелени, что покрывала балкон соседнего дома – да, было девять.

– Сейчас только вот по телевизору слышала, что в многодетной семье вырос известный изобретатель, – сообщила Надежда Михайловна.

Она вырастила четверых детей. Но ни один из них не стал знаменитостью.

«Возможно, Фрейд бы счел, что дочь Надежды Михайловны рождает, это... подсознательно подражая матери», – подумал зять, но ничего не произнес.

А тещь Виктор Алексеевич распечатал бутылку водки и сказал так:

– Надо переговоры с Колей заказать, вот что! Коля у нас в Ростове живет, закончил институт на одни пятерки! Так что, зять, готовься: сейчас выпью и закажу переговоры, междугород...

– Да уж, готовься, зятек! – вся засветилась Надежда Михайловна. – Коля у нас – у! Ученый! Там такое языкознание, у-у!..

Выпили за приезд. И Виктор Алексеевич пошел к телефону:

– Алё, говорит начальник сбыта... Ну, зять, готовься! Алё, мне переговоры с Ростовом-на-Дону...

Зять мысленно заметался: что же такого умного сказать? Может, про Фрейда – его теорию о подсознательном... так кто ж не знает?!

– На речку пойдём? – кричала Тата. – Бабушка, а речка живая?

– Надя! Надя! – снова истошно закричала с балкона старушка. – К вам хочу!

– Зять, приведи ее! – попросила Надежда Михайловна. – И готовься! С Колей будем говорить, у!

Он привел старушку и усадил на диван возле стола. Она сразу спросила:

– Надя, сколько у меня было сестер – пять? Я правильно вспомнила? Нет? Шесть?.. Да, Нюра еще, шесть! Господи, прости меня!

– Все, заказал! Ну, зять, ты готов? – Виктор Алексеевич налил водки всем, кроме дочери. – Ты в положении, тебе нельзя!

– Тёма, почему не ешь пирог? – угощала внука Надежда Михайловна. – Мама, скажи-ка, Тёма – вылитый Коля! Сейчас с ним будем говорить по телефону... Ты, Тёма, будешь с дядей разговаривать? Стихи ему прочтешь, да? Готовься давай!

Тёма вопросительно поглядел на отца: что сказать дяде Коле?! А тот сам метался: водка «Жириновский», купленная тестем, внутри организма не способствовала процессу мышления. Через минуту бутылка из-под водки «Жириновский» была уже под столом, и там она казалась более уместной. Может, об этом сказать Коле?..

– Папа, а когда у Сони было сотрясение мозга, ей сделали искусственное дыхание? И она сейчас дышит искусственным дыханием? – спросил Тёма.

– Тихо, дали Ростов! – Тесть побежал к аппарату. – Коля?! Это ты? Коля, тут сестра твоя приехала, да, с мужем, детьми и еще одного ждет! Ну, ты вот сам у нее спроси, сошла она с ума или нет... Подожди, тут мать с тобой хочет поговорить, даю трубку!

– Коля? – счастливым голосом закричала Надежда Михайловна. – Ну, как у вас погода? А у нас все хорошо! Все хорошо-о! Картошка уже всюю цветет, да! Подожди, тут Тёма хочет с тобой поговорить, даю трубку. Тёма, иди поговори с дядей Колей!

Виктор Алексеевич перехватил трубку.

– Коля! Подожди! После с Тёмой, я вот что хотел спросить: как Оля? Не Толя, а Оля как? Хорошо? Ну и хорошо... Все хорошо, да и все! Выпили немного, для здоровья. За твое здоровье? Нет, за твое здоровье еще не пили, сейчас нальем... мать, неси мне выпить за его здоровье... нет, вино там, яблочное... Вы губернатора выбрали? Ты за кого голосовал-то? Вот, тут, Коля, мать мне налила – пью за твое здоровье! Слышишь (буль-буль-буль)...

– Зятю дай трубку! – кричала Надежда Михайловна. – Зятю!

– Какому зятю, кончилось пять минут, – Виктор Алексеевич поставил бокал на холодильник, а трубку положил на аппарат. – Хорошо поговорили!

– Очень даже хорошо, – блаженно подтвердила Надежда Михайловна. – Я ведь сразу сказала: Коля у нас ого-го! Языкознание...

Она тут же взяла снова в руки телефон: позвонить подруге.

– Лидия Павловна? Здравствуй, дорогая Лидия Павловна! Я тебе вот что хочу сказать: сейчас с Колей мы заказывали переговоры. Очень хорошо переговорили, конечно... Коля у нас, сама знаешь, какой!.. А? Что? Не может быть! Неужели Полина приехала! Так вы к нам сейчас приходите! Ничего не надо, у нас все есть: вино, пироги, жду вас!

II. Прокати нас, Петруша...

Подруга Лидия Павловна пришла не одна, а с какой-то незнакомой женщиной, и Надежда Михайловна сначала недоуменно помолчала, а потом вдруг как закричит:

– Полина! Да ты откуда? Вот не узнать, так не узнать! Из Челябинска? Ну и ну! Мама, ты узнаешь Полину-то? Десять лет назад мы с тобой на похороны ходили еще: муж у нее помер...

– Павлина? – вспомнила старушка.

– Она меня Павлиной звала.

– Она тебя Павлиной... А вы где с Лидией Павловной встретились?

– Я позвонила ей, как приехала...

Женщины расплакались, накрыли изобильно стол, разлили по стаканам бутылку водки, полрюмки даже бабушке дали.

– А мы сейчас с Колей разговаривали! Какая дружная у нас семья – что еще надо мне?! Вот дождала: дети и внуки есть – ничего больше и не надо, – начала Надежда Михайловна, – дочь, зять, где вы? Идите с нами.

– Беременным нисколько нельзя водки, – отстранил зять рюмку, протянутую Лидией Павловной в сторону жены его.

– Да уж и нельзя! Я вон выпивала с Наткой, а какая девка красивая выросла! Замужем за зубным техником, и все мы им купили на свадьбу: ковер, стенку, цветной и мотоцикл – все! Так что пей, и без разговоров.

– Нельзя ей: она не беременная-то от ста грамм путает Окуджаву с Акутагавой, а уж...

Тут Полина с Лидией Павловной переглянулись значительно: мол, какие-то ученые у Надежды Михайловны пошли зятя, в ответ на что Надежда Михайловна повела обеих подруг в детскую, где внучка переводила из рисунка в краски портрет невестки Оли.

– Вылитая Оля! Вылитая! – хором закричали гости и стали нахваливать девочку.

– Внуки вот рисуют, учатся хорошо, что еще надо человеку! – говорила Надежда Михайловна.

Женщины вернулись к столу, где уже успела задремать бабушка. Однако она тут же очнулась и спросила:

– Ну как, Павлина, вы с дочерьми живете?

– Старшую выдала нынче замуж, – скромно отвечала Полина, совсем ничем не напоминающая паву. – Ну, а у тебя, Лидия Павловна, где муж нынче?

– Директора возит.

– Хорошо вам!

– А что хорошего? С этим начальством никаких выходных: то рыбалка, то охота. Праздников не видим... И во сколько тебе, Полина, свадьба дочери обошлась?

– Заняла, да как... всего триста рублей ушло, а потом зять-то запил... так мне денег жалко, так и дочь жалко. С тоски поехала в отпуск. На могилку к маме, да к мужу хоть... Уехала зря я отсюда!

– Выпейте нашего вина, – налил всем Виктор Алексеевич, сам, однако, собравшийся покинуть женское застолье. – Мне пора его и переливать, бутылки помыть. Помогите мне, зять!

Тут Лидия Павловна, у которой муж возит директора, тоже стала жаловаться на судьбу:

– Вот, Полина, посмотри! Все мы Наташке покупаем, а ей мало! Совсем девка обнаглела: шубу просит в подарок, а уж сколько можно дарить! А? Полина, скажи! Полина в ответ молча кивнула.

– Мы ж пальто зимнее ей справили, – продолжала Лидия Павловна, – не подходит. Говорит: тяжелое, мол, в нем упадешь – не встанешь. А зачем падать-то?! Правда, Полина?

Полина кивнула снова. Бабушка мирно дремала, уронив голову на руки. Надежда Михайловна решила взбодрить компанию:

– А давайте споем! Зять, иди к нам петь! У него голос есть! Зя-ять! Такой голос у него! Зя-ять, иди!

– Сейчас, детей надо с улицы загнать да уложить, – ответил он.

– Ну-ка, что она там нарисовала? – повела подруг в детскую Надежда Михайловна, где внучка уже перевела лицо в краски.
 – Хорошо! – сказала Лидия Павловна.
 – Она умница у нас! – добавила Надежда Михайловна и пальцем ткнула в портрет.
 – Бабушка! Что ты делаешь! Размажешь! – закричала внучка.
 – Все-все, уходим. Молодец ты! Как рисует, а? Полина?
 – Рисует здорово, – ответила Лидия Павловна. – Вылитый Шурик! Вылитый!
 – Зять, пошли петь! Дочь, затягивай! – стояла на своем Надежда Михайловна. Она разлила всем вина и завела свою любимую:

По дороге, по ровной, по тракту ли,
 Все равно нам с тобой по пути!
 Прокати нас, Петруша, на тракторе,
 До околицы нас прокати...

Женщины подхватили песню, так что бабушка очнулась и прослезилась – то ли от выпитого, то ли от впечатления.

Когда песня кончилась, Надежда Михайловна значительно толкнула локтем свою дочь:

– А ты знаешь, что этот самый Петруша сейчас живет? Живой! По телевизору передавали. Вот какой человек! Его жгли, огнем пытали, а он живой.

– Да, в Омске, кажется, живет, – вставил информацию зять, проходя мимо с чистой двадцатилитровой бутылью.

– И вот я к нему поеду, как выйду на пенсию. Да, через два месяца поеду.

– Мама, да ты что? Как ты ему это объяснишь: свой приезд?

Виктор Алексеевич насмешливо обронил, проходя мимо с бутылками:

– Ему уже девяносто лет, твоему Петруше, он уже ничего не может.

– А мне ничего и не нужно, правда, Полина?

Полина не ответила, зато дочь Надежды Михайловны очень взволновалась:

– Мама, ну что ты задумала? Зачем ты поедешь?

– Поеду, скажу: «Я тебя люблю, тобой живу, твою песню всю жизнь пою!» Ведь это какой человек! Я поеду к нему обязательно!

– Мама, ну а папа-то что?

Виктор Алексеевич стал почему-то быстрее бегать с бутылками туда-сюда, за-нервничал, того и гляди уронит-разобьет двадцатилитровую посудину.

– Пусть едет, пу-усть, – говорил он каждый раз, когда пробегал мимо: то с грязной, то с чистой бутылью.

– Надя, ты чего?! – стала урезонивать подругу Лидия Павловна. – Мало выпила? Давай сходим в ресторан, я водки еще возьму. Добавим. И будет хорошо. Да ведь, Полина?

Полина сидела притихшая и смотрела на Надежду Михайловну неодобрительно. Дочь вообще испуганно ерзала и мужу повторяла:

– Ты не обращай внимания – выпила она лишнего.

– Вдивно выпила, – подтвердила бабушка.

– А я думаю: в кого у меня жена? – ответил он. – Вы знаете, Виктор Алексеевич, дочь ваша как поссорится со мной, так все к Окуджаве собирается ехать.

– Кто такой этот Окуджава?

– Давайте споем, – попыталась настроить веселье на прежнюю волну Лидия Павловна.

Но бабушка вдруг начала говорить:

– Вот и у меня. Надя, ты Федора помнишь – Матвеевских? Матвея Ивановича сына, да. Федор Матвеевич. Ох, он за мной ухлестывал – в девках я колды была, а потом мы поругались чего-то, он уехал, меня сватать стали, тятенька неволил

шибко, ну, со зла я за хозеина своего и вышла. Едем с венчанья, а Степанида прибегает: мол, Федька там ждет тебя. Пополотнела я, видать, вся, а хозеин видит, такое дело, лошадей в лес хозеин-от... да и заломал меня и нарушил, а я ривить: куда я такая-то Феденьке нужна...

Старушка прослезилась воспоминаниям:

– Шибко любел меня хозеин-от! Сарство ему небесное! Потом, колды его во враги народа записали, Федя приходил ино... Я не пустила уж. А потом и выписали хозеина из врагов. Даже и гумага есть: он выписан из врагов...

Выпили за покойничка, такого находчивого, выпили еще и за любовь, и тут Лидия Павловна, вздохнув, призналась:

– А ведь я тоже люблю, вы знаете! Кого! Лещенко! Да-да! Как он запоет, я не своя стаю, Виталий это замечает и кулаком то по телевизору бьет, то по башке мне, то по телевизору, то по мне!.. А чего сделаешь – люблю я его.

– Выпьем за Лещенко, – предложила Надежда Михайловна. – Да, Полина?

Полина не ответила. Виктор Алексеевич обратился к ней как к самому разумному человеку:

– Вот бабоньки, – перепились! Не можете, так не пейте!

– Спасибо за угошшэннэ! – грянуло вдруг из угла, где сидела бабушка.

– Папа, я спать пошла, – принесла портрет юная художница. – Вот, закончила.

– Ох! – воскликнула Лидия Павловна, глядя на портрет. – Вылитый Лещенко!

– Иди спать, иди, – отослал быстрее внучку Виктор Алексеевич. – Хоть бы ребенка-то постеснялись! Лещенко. Откуда он, Лещенко, тут? Да, Полина?

– А я тоже, – ответила Полина, – любила. И знаете кого? Безуглова из передачи «Человек и закон». Да-а. Он человек очень разумный, много знает, а я это всегда уважаю в мужчине. Но вот уже десять лет почти, как он умер...

– К кому же ты тогда поедешь? – спросил Виктор Алексеевич. – Надя вот – к Петруше, дочь – к Окутажаве, Лидия Павловна – к Лещенке, он ее ждет-не дождется. А жена Лещенки обо мне, наверно, мечтает. Ждет-не дождется.

– Не в этом дело. Я долго вспоминала об нем, а теперь опять вот выбрала: Пескова из передачи «В мире животных». И тоже он такой разумный, много знает, я его полюбила всей душой.

И она зарыдала.

АЙ-ЯЙ, ТУМАН В ГЛАЗАХ **В соавторстве с Вячеславом Букуром**

– Что вы здесь такие сидите? – закричала Лена. – Сами хотели сосватать меня с букинистом!

– Он теперь бывший букинист: уволен после запоя. Заходил к нам. И знаешь, уже пахнет.

– Русью? – запечалилась Лена. – Русью пахнет? А может, я бы его переделала...

– В ее голосе появились золотисто-теплые тона, как в хорошем вине.

– Нет, говорили хозяева, у него раньше нос был идеологического цвета, теперь цвет государственного флага сменился, и у него нос опять совпадает – там явно проглядывает триколор... Но Лена запустила в них убийственным аргументом:

– Мне, опять, что ли, на батуте в новогоднюю ночь прыгать! В обществе таких же пятидесятилетних дур, как я...

Она работала администратором в театре, куда к новогодним каникулам всегда привозили батут для кипучих детей.

– А по статистике, одинокие женщины живут дольше, чем замужние.

– Не нужна мне такая долгая жизнь. Зачем она?

– Возможно, мы тебя познакомим! Но с другим – с Михалычем! Если он придет, – хозяева стали нахваливать нового соседа по подъезду, которого все зовут Ми-

халычем, а на самом деле он – Вадим Бориславович (овдовел, с детьми поменялся, сам в однокомнатную сюда). – Первый тост: чтобы гости не переводились!

Лена слушала, становясь все более губастой. Она сделала себе к вечеру прическу в виде двух рек волос, протекающих по обе стороны лица.

– Кем же работает Михалыч, – поинтересовалась она.

– Есть такая профессия – хижины украшать.

– Дизайнер, что ли? Ну что ж, я тоже из интеллигентной семьи. Моя бабушка в тридцатые годы играла в казино.

– Главное, не пьет наш Михалыч, – отчаянно твердили как заклинание хозяева.

– Выпивает, но не пьет.

Этими заклятьями они боролись с образом пьющего сына, который то отдалялся, то назойливой мухой зависал над каждым.

– Ну что вы забуксовали: сын, сын. Сделайте же что-нибудь: почешите себя под правой коленкой... Думаете, трезвенники всегда лучше? Вспомните, как подсунули мне непьющего. И что же? Он предложил покурить анаши.

Тут пришли Хромовы, и Лена кинулась к ним: у вас-то с сыном все в порядке – Гоша ведь не пьет, не курит, в школе – золотая медаль, а в вузе – красный диплом!

– И сам он у нас красный, – гости выглядели еще более загнанными, чем хозяева.

Они рассказали, разбивая подступающие слезы мелкими стопками, что их Гоша вляпался в троцкизм, ходит в их кружок.

– Вчера снова Гоша был на троцкистском кружке, – в отравленном оцепенении продолжала Инна Хромова. – Ходили они по стеклу.

– По стеклу! Тогда это кружок имени Рахметова какого-то.

– Платят за это стекло психологу... чтобы научиться впадать в транс. Гоша говорит: нужно быть особым человеком для будущей борьбы с глобализмом, – тут стопка вовремя не подоспела, и мать троцкиста зарыдала: – я ему одно – миллионы погибли из-за таких идей! А он, как робот: «Потому и погибли, что не понимали своего счастья». Я ему: «Да Троцкий не лучше Сталина был бы».

Родители пьющего вынесли приговор: все коммунисты – шизофреники.

– Значит, наш Гоша болен? – спросил Игорь Хромов. – Но нет, если бы шизофреники, то были бы не виноваты.

Лена смотрела на друзей, как на капризных богачей: у них есть сыновья! А у нее уже не предвидится. Тут между всеми обнаружился кандидат в ее кавалеры, украшатель хижин.

И в самом деле оказался – ну один к одному Михалыч!

Он и до этого подозревал, что его приглашают не просто так, а знакомиться. Ну а что, дома лучше, что ли – сжимающие тоскливые силы трамбуют тебя почти до точки.

Глядя на все эти достойные лица, я хочу сказать тост, – Михалыч поднял крохотную черненую стопку. – Вот я ходил в гости к внуку и читал ему «Сказку о рыбаке и рыбке». Знаете, это же притча о человечестве, которое хочет все больше потреблять, а может оказаться у разбитого корыта...

– Так где же тост-то? – застонала Лена (те, которые говорят о человечестве, ни фига не разбираются в женской красоте!).

– Э... мысль прячется за холестеринистой бляшкой, застревает. – Михалыч потряс гофрированной жиром головой.

Вот так-то лучше: о холестерине. Ближе к жизни. Поэтому Лена весело воскликнула:

– Выпьем за то, чтобы мысль пробивала все преграды!

В нижней квартире женский пронзающий голос вывел:

– Однажды морем я плыла на пароходе том...

С невозмутимым видом Михалыч подтянул:

– Ай-яй, туман в глазах, кружится голова, – голос его переливался, как Северное сияние.

Хромовы подхватили вразвал:

– Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна.

Эта песня – не их песня, но случай ее послал, а случай надо уважить. И вот они скользят от одного слова к другому, ожидая: ну когда же будет встреча мужского и женского начал. Кит-капитан уносит по морю любви в сладкое!

Тут и Лена подхватила – по-своему: руки раскинула по-кавказски, подпрыгнула с вывертом и вошла в волны песни. Показав, как сопротивлялась злодейскому обаянию капитана, покорно склонилась влево, как двурукая ива. А потом вообще поникла на диван, как бы под порывом горячего ветра. Но песня не дала ей лежать: она сорвала ее, подбросила, начала вскидывать руки, ноги, показывая узорные черные колготки. А кто же в этом виноват – конечно, капитан.

Михалыч поддался этому миру, который сотворил танец Лены. Но тут же спохватился: зазвали! Эта Лена – вулкан в юбке, ей не хватает устройства под названием *мужик*. Да, она красивее моей жены. Но я потерплю немного – десять лет, двадцать – и ТАМ с женой встречусь.

Конечно, Лена танцует... Но какие салаты готовила моя голубка – ни с каким танцем не сравнить! Салаты она любила ставить стоймя: хоть один лист – да стоймя стоит. Одним словом: жена дизайнера.

А переспать с плясуньей? – шепнули ему гормоны. – По-современному, в любовницы если. – Но это будет уже не жена, которой можно все объяснить: устал, там, я сегодня или не в настроении.

И зачем ему Лена, если в запасе памяти – цветущая яблоня на даче: вся белая и гудит! Это пчелы: в каждом цветке по пчеле, и идет работа. А ведь у них нет никакой личной жизни, но работают, и еще как! Равняйся на пчел, и так можно терпеть.

– Только раз бывает в жизни встреча, – затынул он.

– Эх раз, еще раз! – пыталась перебить его Лена.

Но все-таки она поняла, что ей не втиснуться в душу Михалыча, и мстительно заявила:

– Вчера слышала по телевидению: от икоты поцелуй помогает!

Вдруг Михалыч икнул. А Лена почувствовала, что... не хочет ему помогать. Одно дело – мужик в телевизоре, ему чем угодно хочется помочь, а другое – сидит по эту сторону экрана, подвыпил и мучается. А вдруг он это делает, чтобы...

Дальше все произошло мгновенно: звонок, сквозняк, и человек в коридоре с сумкой на плече: «Вам привет от доктора Бранда!» Потом вспомнились только ярко-красные губы и какая-то подземная бледность. Этот длинный человек заструился, приподнялся над полом, снова вскричал:

– Системный массажер! Лечит – ну все! В расцвете лет – проблемы вдруг, но тут как тут Академия наук...

– А дорого?

– Всего тысяча двести рублей... Вот смотрите: я вставляю батарейки, их ресурс – на весь курс. Теперь подставьте руку! – послал он властный пасс и волшебной клешней массажера прикоснулся сначала к женскому, а затем к мужскому запястью.

И чудо-клешня стала посылать щекочущую дрожь. Они захохотали враз от этой техногенной ворожбы – и муж, и жена... очнулись только тогда, когда массажер не работал, а торговец окончательно развеялся, предварительно побряцав ему одному видимыми орденами – «За поучение лохов».

О, тысяча двести! На них сколько же можно было купить! И заусенцы по одной стороне клешни простодушно говорили, что прибор даже не китайский, а изготовлен в подвале соседнего дома.

– Он с сумкой? – спросила Лена, хватая пальто.

Михалыч выскочил вместе с ней. Разговоры – это вдох! А дальше нужен выдох – задвигаться, вспылать, полететь, восстановить справедливость!!! Они помчались вниз по раздолбанной лестнице, которая пыталась образумить бегущих и старалась подвигнуть их лодыжки. Надписи проносились снизу вверх: «Петька – лох, объелся блох, подавился и подох».

– Выбегаем из подъезда: вы – направо, я – налево!

– Лена, одна вы с ним не справитесь!

Выскочив из подъезда, с его творческими миазмами, сразу увидели зыбкую фигуру в перспективе сходящихся домов. Молча, по-волчьи, они бросились вдогонку. А он, сделав вид, что это не он, быстро спросил: «Где здесь пятый подъезд?»

– Возле четвертого, – тяжело дыша, ответил Михалыч.

Молодой дистрибьютер увидел, что этот мужик похож на мафиози средней руки, и никуда не побежал, а только заблеял: «У меня мама больна!»

– Но ты-то сам ПОКА еще здоров, – со значением сказал ему Михалыч. – Давай деньги! А твой чудо-массажер мы тебе вернем.

Отдав деньги, офеня двадцать первого века пошел за Леной и Михалычем как на веревочке.

Дальше наступил торжественный момент, похожий на картину Веласкеса «Сдача Бреды»: Михалыч величественно вручил хозяевам тысячу двести, они по-королевски брезгливо возвратили флибустьеру уральских просторов безжизненную черную клешню.

Огрызки эстетического чувства подсказали «истребьютеру», как завершить ситуацию. Неизвестно откуда налившись силою, он промолвил сочными губами с видом богатого, щедрого родственника:

– Я к вам еще зайду. Попозже, – и исчез в теле Руси.

А Лена! Она стояла перед всеми, благоухая своими усилиями, и реки волос – что с ними случилось! Словно они пережили поворот рек.

После этого, само собой, выпили-крякнули.

– Есаул, саблю! – Михалыч боднул воздух лысой гофрированной головой.

Лена посмотрела на него с напряжением.

– Мы не алкоголики, хоть и выпиваем, – объяснил ей Михалыч.

– И не троцкисты, хоть и за справедливость, – подхватили хозяева.

Гоша – тогда еще не троцкист – защищал диплом о Нашем всём. И сказал вместо «Александр Сергеевич Пушкин» – «Александр Петрович». Все! Оппонент кулем брякнулся на стол в судорогах смеха. Зал ученых людей начинал смеяться каждый раз, когда звучало «Александр»...

После этого Гоша твердо решил: он не будет Епиходовым, за счет которого все чувствуют себя полноценными.

Он почти незаметно отчалил от литературоведения: поступил в аспирантуру по педагогике, съездил в Бостонский университет по обмену, написал повесть об этом и опубликовал ее в журнале «Парма». Никто не отреагировал.

Тогда Гоша организовал свое издательство, и даже в мэрии кое-кто с заведомым теплом отнесся к новой фирме. Но надо было пару раз ритуально ударить челом то ли в направлении Госимущества, то ли... В общем, издательства у него уже нет, а есть работа в типографии, и платят неплохо.

И чего Гоше не хватает?

А Троцкому чего не хватало? Отец его был одним из немногих еврейских помещиков, детство Левы прошло в роскоши.

Гоше не хватило терпения, – вещал отец алкоголика. – Уже все знают, что революционерам не хватало этой драгоценности – терпения.

– Слишком медленное развитие – тоже плохо, активным людям некуда сбрасывать свою силу. Царизм – ну очень медленно эволюционировал... вот и получилась революция.

– Ну почему же история никого не учит?

– Учит, но только тех, кто хочет учиться.

Но вдруг все склубились в одно веселое тело. А-а-дин са-алдат на свете жил: красивый и а-атважный...

Однако уже через пять минут мать алкоголика тихим голосом вдруг начала: куда что девается-то! Сын в детстве такой был... видел, что в слове ВОЙНА есть ВОЙ, а какие вопросы задавал: «Почему жареное вкуснее вареного?» А теперь на его лице один-единственный вопрос: «Чего бы еще выпить?»

– Он прошел трудный путь от начальника партии до лаборанта, – это было начало речи, так и не законченной его отцом.

– Видела в бухгалтерии цветок: внутрь себя цветет! Надо же, среди растений есть тоже... а когда отцветет, коробочка открывается, и семена высыплются наружу все-таки.

– Так у нашего тоже семена наружу! Внука-то он нам родил. Ты видела, как чеснок пророс у нас в холодильнике – при пяти градусах! И не просто пророс, а заветвился обильно!!! Тогда обещала мне пример брать с чеснока – учиться стойкости, а сама...

Вдруг все бросились рассказывать друг другу о чудесах. Даже окно разинуло рот-форточку, впустив ворох веселого снега.

Хромовы поведали историю о ведре снега:

– Только что слышали на остановке. Одна женщина – другой, про брата. Брат ее алкоголик, приносит домой ведро снега, садится, берет ложку и начинает есть. Она в ужасе вызывает психбригаду. Не едут, говорят, не агрессивный, – неожиданно Инна резко перешла на точку зрения женщины с остановки (тут не точка зрения, целая площадка!) – И хорошо, что психбригада не приехала! Доедает братик ведро снега и бросает пить. На работу устроился...

– Женщины вокруг зашевелились! – подсказал Михалыч.

– Не исключено.

– Ведро снега съел! – вскрикнула мать алкоголика. – Обет дал или что?

– Никто на остановке так этого и не понял.

Наступила очередь матери алкоголика.

– А у нас на работе вообще вот такая история. К одному солдату в Чечне приехала мать. И попросила командира отпустить ее с сыном погулять вокруг части. Тот почему-то согласился. Походили, поговорили. Вдруг услышали разрывы. «Мама, это минометы по нам работают, я должен бежать». Прибежал, а из части никого в живых не осталось. Пишет он матери: «Мама, меня спас твой приезд. Спасибо тебе за это». Она ему отвечает: «Сынок, я никуда не ездила, мне некогда, я весь отпуск на огороде и молюсь Богородице о тебе...»

– И все, что ли? – спросил отец троцкиста (он с женой ждал, когда же будет чудесное исцеление от троцкизма).

Это был День Конституции, и конституция ждала, когда же о ней заговорят. Потом она дождалась: Михалыч вспомнил предлог, из-за которого состоялся весь их сбор:

– Выпьем, наконец, за конституцию! Она у нас, кстати, хорошая.

– Плохих конституций не бывает, – заметил отец алкоголика.

В ответ отец троцкиста плотоядно улыбнулся, как бы говоря: эх, будь у этой конституции широкие бедра да грудь, я бы знал, что с ней делать! После этого он напел:

– Ай-яй, троцкизм в глазах, – и вдруг жадно стал доедать салат из морской капусты, принесенный Леной.

– Игорь, хватит жрать, – сурово останавливала его жена.

Но он не успокоился, пока все не съел, сгоряча заодно прикончив кальмаров, тоже Леной приготовленных. Чем бы еще победить троцкизм, думал он, оглядывая стол.

- Утром хозяева, то есть родители алкоголика, говорили, наводя порядок:
- Если бы нам сказали: «Выбирайте! Ваш сын будет троцкистом или пьяницей?»
- Так мы бы ответили: пусть лучше пьет.
- Да, алкоголик лучше троцкиста.

Тут сразу же позвонила невестка. И она еще говорила: «Здравствуйте, это Галя», а у них уже тревожная сигнализация включилась: задергались мышцы, запрыгали веки. И не зря: через уши – двери мозга – вломились грабители. Хотя с виду это были тихие слова Гали:

– Я хочу с вами посоветоваться... Что делать? Он вчера опять напился, пришел в четыре часа утра с шабашки, не помнит, где потерял дрель за шестнадцать тысяч...

- За шестнадцать тысяч... – вторили родители.
- Приходили, взяли расписку, что вернет в течение месяца...
- В течение месяца... Галя, вот что, слушай: мы все обсудим, потом тебе позволим.

Взяв таким образом передышку, мать алкоголика схватила сумки и побежала на рынок. Муж встрепенулся и стал размышлять, как ослабить давление жизни. То ли поправиться рюмкой, то ли супчиком горячим.

Жена в это время брела, отплевывалась от метели и бормотала:

– Алкоголик не лучше троцкиста! Оба хуже! Вместе записались в интернационал зла. – Она взмахивала двумя сумками, как курица крыльями. – У одного гордыня через алкоголизм выходит, а у другого – через троцкизм. Ах, вы меня не признали, так я вам всем покажу...

Не помня, как наполнились сумки, вся в поту, в снегу, с перекошенным от ледяного ветра лицом она ввалилась в детскую поликлинику, с мерзлым грохотом пробежала в холл, за шторку.

Дело в том, что за несколько лет до этого жена главного врача опасно заболела и дала обет открыть часовню, если выздоровеет. Вот и открыла.

Напротив часовни дверь была распахнута – там дежурил врач неотложки. Он посмотрел на эту разваленную на полкоридора женщину, которая с набитыми сумками сразу лезет к иконам. Снег могла бы отряхнуть! Где же уважение к святыням! Но уже привык, что так и лезут, без конца молятся за своих детей. Ошибок наделают, не закаляют, а потом осложнения!

Когда она оказалась дома и услышала, как сумки со стуком брякнулись на пол, муж приканчивал тарелку густого горячего супа.

– Как рано темнеет: включи свет! Знаешь, я тут насчитал, – говорил он в промежутках между ложками, – что закодировалось уже восемнадцать знакомых.

– Нашему заразе тоже давно уже пора. Я даже молиться за него не могу, так, деревянно как-то перед иконами отчиталась. – Но перекосы каким-то образом испарялись с ее лица.

А муж свое:

– Недопекин закодировался, Юрий закодировался, Перепонченко тоже, когда руки в сугробе чуть не отморозил.

– А букинист? Кодировался, но запил.

– Это один, а восемнадцать уже навсегда не пьют!

Завязался спор: навсегда или не навсегда. В результате через полчаса:

а) селедка протекла на хлеб,

б) слиплись вареники с капустой,

в) муж долго и безуспешно гонялся по квартире за женой, которая убегала с криком «Пост! Пост!»,

г) робко посеялся росток надежды высшего качества, то есть совершенно беспочвенной, на то, что сын излечится от алкоголизма.

А в это время Лена и Михалыч вошли в спальню, начали раздеваться, погасили свет... А что же дальше? Опять та самая проклятая неизвестность!

Тут еще не хватает костюмов и носов для родителей троцкиста и алкоголика, но так за них болит все, что если будем лишние три дня их проявлять, то вообще занеждем. А кому это нужно?

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Её мать

Не отпущу ее никуда! Собралась, поехала! Кругом крушения! Уже три крушения. От жары. Раньше рельсы-то короткие делали, а нынче чуть не по километру, стыки редко. Вот они и гнутся от жары, как доски, их вспучивает горбом. Собралась в такое время! Вон асфальт мягкий, как сметана – куда тут ехать? Если надо просто съездить от нас, оттолкнуться, пусть берет путевку на море, и автобусом. До Судака можно вполне автобусом. Тоже переворачиваются, я не спорю, но нет столько жертв. Один-два – и все.

А тут вон седые приезжают. Парень знакомый весь поседел. Говорит: третий вагон с конца встал поперек как-то, и еще два вагона не упали. Те сгорели все, а эти остались. Так все седые повыскакивали, насмотрелись. Такой там страх! А я должна потом ехать где-то искать, обгоревшую! Нет уж, не хоч. Куда ей торопиться, к кому? Я так и говорю: матери у тебя там нет, дети тоже здесь.

А к свекрови нечего ездить: она вырастила никудаку, пусть сама с ним и живет! Настоящий никудака. Его ж не исправишь. Дерево выросло кривое – попробуй выпрями! Сто рублей он ей приносил, а все ему купи, для семьи несколько не старательный. Вон у Тутыниных дочка вышла замуж – муж во всем помогает. Это и счастье, когда люди друг другу помогают. И сама-то Тутынина с работающим мужиком век прожила – на меду искисла, и дочка. Вот уж правда: кому счастье, кому два, а кому и единого нет. Как пошла невезучка у нас в семье...

Муж у меня такой, что я цветы насажу-насажу, а когда зацветут, он все вырвет и к любовнице несет. Вот состарился, дочь выучилась, замуж вышла, уехала. Пожить бы покойно – нет, мать моя сошла с ума. С молодости была непряха-неткаха, а тут стала ткать. Ткет и ткет половики, готова ночи не спать. Один брат терпел, другой терпел, ко мне наконец привезли ее. Кому она теперь нужна, каким невесткам!.. А я даже рада с матерью пожить, доглядеть, но она недовольна, что я ткать больше не велю. А куда велеть, если она все старье переткала, новое белье начала рвать. Там невестки не смели с ней спорить, ей снова к ним охота. Не понимает, что кому она нужна! Ткет и ткет. А куда их, эти половики?

А тут еще дочь от мужа приехала: он дубленку купил себе, а детям есть нечего. Теперь пишет, зовет, духи прислал французские. А зачем ехать? У меня чем ей плохо? Живет, как гостья, делать я ничего не заставляю, дети с бабушкой. Она и не ткет, когда за ними смотрит. И так их жалеет! А дочь пришла с работы, поиграла с ребятами, да и сиди читай. Хочешь в кино – пожалуйста, на танцы – пожалуйста. Она – нет, никуда. Мол, я поеду. А чего ехать? Ничего там хорошего уже не будет. Я ее ни за что не отпускаю...

Её сын

Я поставил стул, а ты сиди, мама, читай. Ладно? Так, на стул встану, и как будто ты пришла в парикмахерскую, ладно? Волосы постричь – чик-чик. Вас покороче?

А ты сиди, мама, читай. С тобой хорошо играть, потому что ты терпишь. Постригу вровночку, вот так. Теперь что? Освежить? Духи пахнут листиками деревьев. Это нерусские? Русские не такие вкусные. А я уже забыл французские слова. Шерше ля ви? Нет? Все равно здесь нет французской школы, как там, у нас. Я пойду в простую школу... Щеки кремом. Дай губы. Ты сиди, я не собираюсь тебе мешать. Ты такая красавица в парикмахерской! Ой, крем убежал. Тебе бы сейчас белое платье и свадебную панамку, тогда все на тебе захотят пожениться. Бантики завяжу. Да, я умею бантики завязывать. Конечно, все захотят, а ты им скажи: один раз все-таки женятся, ищите сами себе такую женщину. Я скажу им: у нас уже есть папа, он с нами занимается, отвозит в садик. Отваживал... отводил! Маму слушает, мама скажет: «Пойди умойся», он пойдет умоется. Ходит с нами на прогулку с велосипедом. Когда? Ну, особенно, конечно, с тобой ходим, мама... Ты у нас тоже хорошая. И папа. Чем? Тем, что ему захотелось исправиться, и он извинился. Ты сиди, как будто бы я приготовил тебя для поездки. А вдруг ты приедешь, а там другая мама. А у нее платье дырявое, башмаки рваные, волосы непричесанные, а сама злая, страшная, толстая, и от нее пахнет запахом. И ты скажешь: это нехорошая мама. Мы ее любить не будем. Мы любим свою маму, потому что она наша. И папа скажет: я буду тебе помогать. Всем мужчинам скажем: «Берите себе другую, у которой башмаки рваные, и сами покупайте ей белое платье и свадебную панамку». А мы будем жить с мамой и с папой, потому что он с нами разговаривает. А то бабушка кричит, мама молчит, а прабабушка ворчит. А Димка Тутынин убил камнем цыпленка. Сначала убил, а потом встал на него. Я хотел его столкнуть, а он говорит: «Иди, откуда приехали». Я ему сказал: «Ага, это не твой шар земли!» Потому что мы с папой занимались по карте. С папой счастье, потому что он с нами занимается, а у Тутыниных папа милиционер, и Димка одно слово только знает: «Мой папа вас всех вот!» – и показывает пальцами решетку. А мой папа их папу может... может... на облако закинуть. Нет, такие великаны только в сказках бывают, в них все бывает, сказка все своим умом может придумать. Мама, ты меня слышишь? Нет? Ну, ты сиди, читай, я не буду тебе мешать, только на ногах еще накрашу ногти. Дай первую ногу, а теперь – вторую...

Её бабушка

Что за куры – везде лезут, падины, Тутынины-то их сварят опять под видом того, что на ихних грядках гребутся. Вот и расплаживай скота!.. Пора мне в могилевскую губернию... Корми ты ребят-то! Нарви огурцов. Опять он побежал в огород – паршивый петух? Куда ты, тварина! Надо его зашибать, проклятого.

Вон картошку я сварила, вылупи ее, покорми их как следует, чего сидишь! Ну и что выходной – не убегут твои книжки-те. Ты когда их кормила, утром еще. В магазин сходи, раз конфетозные они у тебя уродились. Их порода, их порода! А ты-то тут же была! Чего так неналюбишь их породу? Когда бы невлюбке просватана была, а то сама его нашла где-ко там. Я увидела когда: во бородище! Жеребище! Не жалеючи уж материал – от заведено – Бог не пожалел на него. Опевал он тебя песнями.

Иди сюда, балбеско ты мой, смиреныш мой! Хочешь есть? Сходи ты в магазин, купи конфет, корми ребят. И яиц купи. Свои опять несутся где-ко у Тутыниных в сарайке. Вылуплено врагов-то, а этот только в огород – отсеку голову, сварю. Да купи игрушки там, машину-то эта бабушка им брала, он уж расклал. Та-то бабушка ничего не бирала внукам – ничем уж себя не изубытат.

Ты что – так ходила? Да ты погляди на себя: бантик на бантике сидит и бантиком погоняет. Люди-то шарахались от тебя, нет? Кто тебе их навязал, ребята?

Да ты в зеркало-то хоть глядишь, нет? Мне и на ум не выпадало, что можно так потерять тело. А какая ты была – кругом глаза! – шибко бойка. Не гонись за книгами, а гонись за ребятами. Раньше за книжками-то не гнались. Мне приснился этот,

из книжки, с бакенбардами – кто? Почему Пушкин? Пушкин-то вояка, что ли, был? Это Карл Маркс – вспомнила. Приходит и зовет на собрание. Я спросила: «Ты кто такой?» А он говорит: «Карл Маркс». Кто же он такой? Да ясно, что звал меня, наверно, в могилевскую губернию. Пора костям на место, живу восемьдесят девятый годочек, чужие уж года это... Вот и тку, нынче холста нет, пусть мой гроб на половиках вынесут.

Корми их, тебе говорят! Не гонись за работой, гонись за ребятами. Раньше так: чуть заболел – его в баню, все было приловчено как-то. Я маленькие венички для ребят навязывала. Гладенький лист выбирали, сам к телу прилипал. Пропреешь в баньке, веником-то назбачиваешься, так только здышут крылья-те.

А здесь ни веников, ниче, где побаньковаться. Уеду к старшему сыну опять, уеду! Ты письмо напиши ему – пусть приедет за мной. Купи ему рубашки-то, эти малы, я их на половики пушу.

Надо куриц кормить, а петух где? Зашиби ты его! Чего в телевизор смотришь? Корми ребят, а не про китайцев слушай, я их видела, они шелковые к нам на базар, в Отняшку, привозили. Сами-то косы длинные носят. Как когда то ли с французом воевали, то ли в первую германскую. Да, как же: и с французом помню, песню даже знаю, вот забыла начало – как он с Москвой подрался.

Сам себя избеспокоил, забирал в Москве иконы,
Погружал в свои вагоны – рожиться хотел
Он рожиться не рожился, только пуще разорился...

Пошел отсюда, скрипучее дерево – что за петух? Зарублю я твоего нелюба, тьфу, петуха. Мешаюсь умом – есть же счастливые люди, вовремя помирают. Пойду ткать. Ишь, близкослезая какая стала, без мужика-то года не прожила, а я с восьмерыми осталась, когда хозяйина елкой по голове, и он умер от излияния. Елка-то, она не спрашивает, есть семья, нет – ударила, и все.

Елка не спрашивает, есть семья или нет. Ударит – и все.

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Мурка села на гостя Володю. «Она пришла на меня полинять», – сказал он.

– Уди, – говорю я кошке.

Напившись пирасетама и цинаризина, я уже – как Брежнев – говорю через звук в слове. А завтра придут в гости московские писатели, а муж на работе до восьми! Дорогие такие гости: лучшие писатели! Как их принять, не знаю – нет здоровья-то. И зову Володю прийти – с шести до восьми помочь мне их принять.

– Таблетки кончились, – добавляет муж. – От реальности. Мы раньше гостям их давали, чтоб нашу реальность скрыть, но вот закончились... Чай крепкий, может, прикроет нашу реальность немного флером восторженности, а если не подействует, то придется им видеть все, как есть... во всей неприглядности...

– Да ладно, реальность пусть... – махнула я рукой. – Вон по ТВ показали Иртеньева, а перед лицом его муха пролетала несколько раз. Сейчас век реализма... Кстати, с писателями будет этот знаменитый критик, защитник и теоретик реализма, современный Белинский, так сказать. Из «ЛГ».

– Так, я должен играть роль мужа. И обнимать Нину можно, да? – Володя примерял ситуацию. – Можно обнимать?!

Дочери сразу добавляют:

– У нас папа не только обнимает маму, он зарплату приносит!

– Еще он каждый день делает нам массаж ног!

– Он стирает с тех пор, как мама заболела...

Гость Володя театрально представил ситуацию: одной рукой отдал зарплату, другой стирает, третьей – делает массаж, а сам все время спрашивает: «Скоро ли восемь часов?!» Гости-москвичи очень удивятся: зачем ему восемь часов, почему он так любит восемь часов...

– И вот в восемь я уже приду! – мой муж гарантирует, что мучиться Володе придется только до восьми.

– А тебя спросят: кто такой? Муж? Но муж уже здесь.

– Так, значит – ты муж Нины, а я кто? – значит, Володя. Еду к жене... Как, к какой – к Марине! К твоей. Что – не нужно? Хорошо, остаюсь...

В общем, договорились. Девочки с утра вычистили чайник до блеска и вымыли все, что можно вымыть. Но я не учла, что гости придут с едой и вином – не раздвинула стол. Думала: чаем напою, и все. В помощь Володе пригласила еще Сережу (он был накануне тоже в гостях). Так, подстраховавшись, как мне казалось, основательно, я днем писала, потом шесть картин еще пальцем намазала, потому что Сережа как раз накануне краски принес в подарок, а я уже давно была без – наскучалась!

И вот звонок: два писателя, один критик, с ними зав. кафедрой литературы нашего университета и еще один пермский критик из «Вечерки». Ну, и с моей стороны: Володя и Сережа. Стол явно нужно раздвигать. А только раздвинули: оттуда пошли тараканы – аж двенадцать особей, все женского пола, т. е. с контейнером яиц... Боже мой! Как все закричали: «Тараканы, тараканы!» Что мне делать? Говорю:

– Всюду жизнь. Чего вы так кричите, это тараканам нужно кричать! Вы их пожалейте, представьте: нас бы сейчас вдруг выгнали с насиженного места.

И стала я срочно в сознании гостей закрывать то место, где отпечатались тараканы: дарить в большом количестве картины свои! Какие понравятся – те и дарю! Лишь бы закрыть яркими красками тараканов...

А ведь перед приходом гостей я трижды прочла «ПАРАКЛИСИС» Божьей Матери, чтобы все прошло хорошо... Значит, плохо прочла, торопливо...

– Нина, ты точно подарила мне эти цветы? – спросил пермский критик. – О, они будут мне освещать утро! Я бреюсь перед работой, а они – освещают...

– А вот я написала: «Стефаний Пермский заглядывает в окна галереи, вопрошая, когда же отдадут верующим храм». Он в самом деле... его они видят, правда, Запольских говорит, что пить меньше надо работникам картинной галереи.

Только нарезали рыбу и открыли консервы с лососем, только запах хорошей колбасы и еще более хорошего сыра разошелся волнами по комнате, как Мурка прыгнула на колени московскому гостю. Он дал ей и рыбы, и колбасы, и сыра. Мурка была очень довольна гостями! А я была недовольна, что призванные на помощь Володя и Сережа молчат. Выпили, молчат. Поели. Молчат. Начинаю сама развлекать гостей: рассказываю страшную историю, что меня чуть не убила накануне...

– И тут со мной случилось самое страшное, что может случиться с человеком! Все перестали даже жевать. Что они подумали?! Я срочно проясняю:

– Я совершенно, напроць ЗАБЫЛА, ЧТО ЕСТЬ БОГ!!!

Все облегченно вздохнули и снова заработали вилки. Зазвенели рюмки... Защищали фотоаппараты (гостей).

И тут пришел муж! Он в запасе имеет много способов развлекать гостей. Первый: прочть страницу моих ежедневных записей. Уморительно выделяет голосом все сокращения: «и пр.», «и т. д.». Все лежали. Потом критик, современный Белинский, завел разговор о положительном герое, мой муж и Володя, сидящие за разными концами стола, все на пальцах сообщали друг другу, в какой степени они сейчас положительные (то плюс, то муж хотел два показать – двумя пальцами перекрыл один палец другой руки, но вышел крест, тогда он решил четыре плюса сделать, но вышла решетка, буквально тюремная... все визжали).

– Нина, так ты мне точно подарила эти цветы! Они будут освещать мне каждое мое утро!.. – повторял пермский критик, и его милые реплики были чудесной прокладкой между сверхинтеллектуальными фразами гостей из Москвы. (Без его реплик могло быть невыносимо высоко по накалу интеллекта!)

Мурка мурлыкала на диване: она была больше всех довольна приездом москвичей, на ее умном лице читалось следующее (буквально): «Как бы и впредь так развивалась русская литература, чтобы москвичи чаще приезжали и давали мне сыра и колбаски!»

Я демонстративно ничего не записывала за гостями, потому что сами писатели – сами свои реплики используют. За мужем только записала одну фразу про неудачное слово «интернет» – в нем «нет», значит... нет!

– Дайте, Нина, вашу повесть, которую не можете пристроить, – в «Москву» отдам! – сказал писатель В., с которым мы с девяносто седьмого года заочно знакомы (вместе тогда напечатались в «Октябре» в качестве молодых авторов).

А я видела накануне сон, что мы на телеге с мужем везем эту повесть. Слава сбоку идет от лошади, держит за поводья, а я сзади плетусь. Повесть лежит в папке, как покойник... в телеге, значит. Мы приходим в «Знамя», там сделан почему-то евроремонт, совсем не та обстановка, что была ранее. И в коридоре сидит Чупринин, берет повесть, листанул и положил в ящик. (В долгий ящик?) В общем, я уже по ТЕЛЕГЕ поняла, что долго нам ее не пристроить. И поэтому не иду искать для «Москвы». Нам уже вернуло эту повесть «Знамя»: сначала звонили к соседям, говорили, что берут. А через месяц снова звонили – уже отказ. И также не взяли ее в «Новый мир», в «Звезду». Вернул на днях (тоже звонили к соседям) журнал «Октябрь».

– Я потом вам ее пришлю, – говорю.

– Зачем? Ведь я в понедельник уже ее передам в «Москву»! Найдите!

У меня в рукописях беспорядок, но иду в соседнюю комнату, сразу почему-то нашлась повесть. Это уже хороший знак.

Гости в это время обсуждают мою картину:

– Если б я гулял вон по тому облаку, я б свернул вон в ту ложбинку с прохладной синей тенью, посидел бы – чайку попил и... дальше пошел... – завершает дискуссию мой муж, и я снова записываю за ним фразу (за ним можно).

Москвичи все время используют слово «проект». «У нас проект – печатать мемуары. У вас есть о местной литературной тусовке что-нибудь?»

– Есть, но в рукописях беспорядок, их слишком много...

– Найдите, пожалуйста! Нина, поищите! Проект у нас!

Иду искать: нахожу экземпляр с восьмой страницы и еще один – вообще с двадцать шестой страницы. Начала нет нигде. Отдаю так... Настроение очень хорошее. Тут девочки пришли с прогулки, жадно сели слушать маркесовские истории писателя П. Буквально: потрясающе! Он работает в больнице, и все его истории начинаются с одной фразы: «У нас в морге...» (Забегая вперед, скажу, что еще два дня моя младшая дочь слово в слово пересказывала эти истории старшей сестре, старшему брату и другим – гостям нашим, ей, видимо, нравилось, что она как бы ВЛАДЕЕТ этими устными историями, ибо запомнила СЛОВО В СЛОВО)...

Наконец сосед по кухне стал мне выражать недовольство: я ему должна пятьдесят тысяч, не отдаю пока, нету. А гостей принимаю, мол. Я объяснила, что все принесли сами гости, он не верит в существование таких гостей...

Современный Белинский понял, что пора уходить, но писатель П. просил: «Еще пятнадцать минут», «еще полчаса». И прекрасные его истории лились, а мы только восклицали: это готовый роман, эпос, чудо. Боже мой!

Но вот истекли последние полчаса историй, гости уже одеты, обуты, и тут случается непредвиденное! Современный Белинский решил всем нахамить:

– А до встречи с вами я был БОЛЕЕ ВЫСОКОГО МНЕНИЯ О ВАШЕЙ ПРОЗЕ!

Муж не растерялся, сразу отвечает:

– Это поправимо: один рассчитанный точечный удар по черепу, и легкая амнезия обеспечена – ты снова будешь высокого мнения о нашей прозе, ибо забудешь о знакомстве с нами!

Гости поспешили уйти. А я легла с головной болью на кровать и говорю:

– Зачем он это сказал? Мол, пока не знал нас, так проза казалась вымышленной, а теперь видит, что мы – такие, как в романе!..

– Дорогая, успокойся, все позади, больше не будем принимать московских гостей-писателей-критиков, вот и все. Урок на будущее. Крученые они. Он то есть. Кстати, где его книга?

А гости подарили нам свои романы, повести, в том числе критик – свою подборку статей о реализме. Я открыла наугад первую статью «Белинского» – там много восторженно про настоящего Белинского, «неистового Виссариона»... Дальше читаю: «Реалист... лепит не по собственной воле, а по “образу и подобию”... и в этом счастье».

Говорю мужу: что же это – пишет одно, провозглашает, и в жизни... другое! Недоволен, что мы похожи на героев своих, что слишком реалисты... в натурализме даже обвиняет этим! Ужо вот напишу я НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ рассказ о нем, пусть увидит, как он отличается от романа! Там – глубина, а перед вручением «Букера» (не нам) о романе мы начитались в газетах московских и журналах – до двенадцати разных трактовок... а в рассказе будет один смысл... (И тут Мурка с укором поглядела на меня: о ней-то не подумали – кто рыбки привезет?!)

С утра и до порога

– Редкая пробка от шампанского долетит до нашего потолка! – сказал Кораблев и добавил: его мать путает бездействие с полетом, а время – со звуком, не дай нам Бог!

Но сначала в дверях воссиял Мыльников с букетом белых лилий: в каждой из них было желтое продолговатое пламя, как от свечи. Однако Кораблев не начал улыбаться до тех пор, пока не убедился, что в сумке у друга – шампанское. Еще оказалось, что Мыльников принес зеленые бокалы для шампанского (новоселье же, подарки нужно вручать, вот тут и прозвучала фраза про пробку, которой не долететь до потолка – потолки в новой квартире высокие).

– Три с половиной метра, – сказала Людмила Кораблева печально, чтоб дать понять гостю, как дорого достались им эти высоты (пришлось съехаться со свекровью).

Анна Владимировна, мать Кораблева, уверяла, что она летает плюс заявление, что все Людмилы – людоедки, минус изучение сорока иностранных языков (хотела изучить сразу сорок восемь и просила купить журнал «Курьер Юнеско» на всех языках, но смогли достать только на восьми).

– Теперь мама говорит: слаб человек – смогу выучить лишь восемь языков.

– А у меня и такой слабости нет, – развел руками Мыльников.

– А ты знаешь, отчего поднимаются дрожжи? А сына вот сегодня спросили в школе.

Всех, кто поступает в первый класс, тестируют по новой системе... Я – кажется – начинаю понимать, от чего поднимаются дрожжи – от ужаса перед такими вопросами, – он изобразил подымающиеся дрожжи (в основном – надуванием щек).

Андрейка, сын Кораблевых, выбежал с подробностями:

– Еще, главное: чем отличается девочка от ку-у-клы-ы, – он хорошо передавал манеру психолога цедить слова. – Я сказал: девочка – она живая, а кукла – примерно как вы!

Потом психолог вызвал меня в соседнюю комнату: мол, ребенок очень агрессивный. А будешь тут агрессивным. – Людмила протерла бокалы. – Мне чуть-чуть налейте.

– Мы чуть-чуткие... А шампанское от красоты этих бокалов кажется еще вкуснее!

А бокалы казались прекраснее из-за налитого в них шампанского, все ощущения закольцевались, и каким-то образом сюда, в это кольцо, входили лилии со светом свечей внутри. Но в это время из комнаты Анны Владимировны послышалось дикое пение.

– Уж лучше посох и сума! – прошептал гость.

– Нет, не сума! – закричала Людмила. – Мыльников, скажи ты ему, чтоб снова пошел к этому Мерингу! А то целыми часами бродит по квартире, скоблит свою волосатую грудь... Ну подумай, редактор спросил: «Можешь ли ты пройти по городу голым?» Если теперь всюду тесты, даже в первый класс!

– Люд, когда ты молчишь, мы тебя понимаем, так веди себя понятно, а?! – И Кораблев снова выпил – на этот раз за устройство на работу.

Он ждал прихода так называемого кайфутки. Уже в ушах от шампанского начинает посвистывать, а все еще нет его – кайфутки. И вдруг скачок произошел! Полусухой шампанского промчался, оставив вокруг счастливых собеседников.

– А где сын, Люда?

– На фонтане.

– А фонтан где?

– У дворца...

– Королева играла-а в башне танка Шопена-а, – донеслось из комнаты Анны Владимировны.

Вдруг с улицы донесся сильный порыв ветра.

Кораблев увидел в окно, как заспешили прохожие. У бежавшей по своим делам женщины из выреза платья выскочила тяжелая грудь. Деловым движением кормящей матери она запрокинула грудь обратно в платье. Кораблев заметил, что у пробегающей мимо собаки, видимо, тоже кормящей матери, соски захлестывались на один бок. «К щенкам своим торопится».

Почему жизнь выплеснула навстречу его взгляду именно это? Может быть, произошла передача истины непосредственно от мира человеку? Что самое главное в жизни – материнство! И он, Кораблев, – должен смиренно все от матери выносить!

– Послушайте! – крикнула им Анна Владимировна. – У клеща есть эта... не личинка, а лимфа! В газете написали. Рома где? Вы его не отпускайте одного – там лимфа!

– Да здравствуют нимфы, киприды, дриады! – поднял очередной бокал Мыльников.

– А также – лантаниды и ланцеты! – добавил Кораблев. – А Менделеев бы не пропал в Гулаге, он бы смог гнать там суперцифирь или спирт.

– Саша, ты позвонил в Кремль? – громко спросила Анна Владимировна.

– Я не Саша, а Андрейка – не Рома. (Он имел глупость недавно громко сказать, что видел на заборе надпись «Кремль – на мыло!» – теперь мама просит предупредить правительство.)

Мыльников вдруг заявил:

– Как человек грубый, я налью себе сам.

– Наливай, а я уже на том берегу.

– А мне налейте полбокала, – сказала Людмила.

– Полбокала ей и власяницу.

И тут пришел от фонтана Андрейка, пытался сосчитать бутылки: сколько будет пять да три?

– Будет ужас, – ответил ему Мыльников.

Людмила пошла проведать замолкнувшую свекровь. Анна Владимировна спала. Из рта ее торчал недожеванный кусок дневника. Людмила хотела осторожно достать его, но зубы мертвой хваткой держали бумагу. И тут Людмила поняла, что свекровь умерла.

В это время раздались бешеные звонки в дверь. Голос соседки:

– По радио сказали: создавать спасательные отряды! Будет ураган... ветер какой-то в секунду.

– Спасибо, спасибище! – И сразу после ухода соседки Кораблев начал возмущаться: – Как будто кто-то когда-то кого-то обучал! Спасательные отряды! Спасать – это надо уметь...

Людмила предложила: Андрейку в ванну спать положить, если стекла полетят из окон – он будет в безопасности.

– А маму куда?

– Она отлетела.

– Не надо шуток в такую минуту. Опять выброс под себя?

– Говорю тебе: душа ее отлетела.

Какая-то полупрозрачная стена на глазах Кораблева пошла трещинами и рухнула. Это – оказывается – была стена между ним и миром мертвых. Он увидел обрыв и черноту, но не отступил, а смотрел и смотрел в эту черноту, от которой – видимо – его раньше заслоняла мать.

О КРАСОТЕ

(из цикла «Первые рассказы»)

Однажды во время прогулки – уже незадолго до родов – Лина села отдохнуть возле детской площадки и загляделась на кудрявого трехлетнего толстячка в песочнице. Загадала: если у него в имени будет буква «д», значит, у нее родится мальчик.

– Денис?

– Пых-пых...

– Дима?

– Тебе какого Диму – меня?

– Ты – Дима?

– Дима Ракитин.

– У тебя хороший трактор.

– Мне папа подарил.

– Любишь папу?

– Нет, он нас бросил, и мы его выгнали.

– Куда выгнали?

– На улицу. Он будет валяться в луже, – мальчик улыбнулся, воображая это – вообще-то заманчивое – занятие, и добавил в картину красок: – и все его будут кусать.

– Кто его будет кусать?

– Все. И собаки.

– Ну! Ты у меня получишь! Опять понесло тебя? – налетела откуда-то сзади Диминая мама. – Ногами бы так работал, как языком!

Дима спокойно ответил:

– Не кричи.

Мама мальчика уселась тяжело рядом с Линой и запыхтела: пых-пых...

– Какой ребенок чудесный! – сказала Лина, полагая, что любую мать можно так расположить к себе.

– Надоел он мне! – отрезала женщина.

Лина откинулась на спинку скамейки и внимательно посмотрела на нее. Никакая это не женщина, а просто толстая девчонка лет девятнадцати. Очень некрасивая с беззубым перекошенным ртом. Кожа бурая – в рытвинах. «Молодая Баба-яга», окрестила ее Лина и спросила:

– Это ваш сын?

– Спрашивают! Все спрашивают! Представьте – мой собственный! – и молодая Баба-яга закурила.

Лина подумала: судьба награждает вот таких, а у нее еще неизвестно, кто родится...

– Хромой придурок! – сплюнула Баба-яга, когда Дима, прихрамывая, перешел на другое место со своим трактором.

– А что с ногой?

– Откуда я знаю.

– Врачи что говорят?

– Какой от них толк! Ты, говорят, наверно, утягивалась во время беременности. Я и без них знаю, что утягивалась.

– Как – утягивалась?

– Да просто: полотенцем. Ну, парень, с которым я ходила, сказал: чего ты живот распустила. Я ему: беременная. Не ври, говорит, хоть утягивайся, а то ходить с тобой не буду.

– А потом?

– Суп с котом.

– Значит, вы решили рожать, но все равно утягивались?

– Да не от этого же хромота, наверно.

– А от чего?

– Может, дезинфекцию какую занесли, когда рожала. Два укола каких-то ставили... Я не хотела его из роддома брать, да уж такой красивый родился. Все смотреть ходили. Думаю: возьму уж. Не знала, конечно, про ногу-то.

– А где тот парень? Он ведь отец ребенка?

– И я говорю ему: отец, а он не верит. В кого, мол, такой красивый. Не моя кровь. Игрушку принесет, нервы только потреплет и уйдет.

Лина пыталась хоть что-то понять. Перепутали детей в роддоме? Исключительно редко, но бывает же. Однако хромота – результат утягивания. Неужели природа создала это чудо, чтобы показать, что дети – дети не только родителей, но и природы? И каждый может надеяться...

Плач ребенка вернул ее к действительности: Дима с кем-то подрался из-за трактора.

– Весь в отца – скупой, – проворчала Баба-яга и тут же закричала: – отдай свой агрегат, поиграй пасечкой!

Дима повиновался, лишь запыхтел громче: пых-пых...

– Какой пасечкой? – спросила Лина.

– Ну, на работе у нас формочками зовут, а я больше пасечкой.

– Где вы работаете?

– В садике. Где больше-то, – ответила Баба-яга (так обычно деревенские, приехав в город, продолжают вскользь упоминать имена и события, словно абсолютно всем известные).

– Вы из деревни приехали?

– Ну, из деревни, а что тут такого!

– Как же удалось устроиться в детский сад? – Лина имела в виду: кто же принял женщину, которая утягивалась во время беременности – она к детям-то как относится!

– Как же ты работаешь? Ты ведь детей не любишь?

– Люблю. Как же их не любить? Только сил моих больше нет.

Лина вдруг не умом, а как-то животом и нервами поняла, что сил у Бабы-яги – молодой, неопытной, необаятельной, а потому еще более одинокой – действительно нет. Она представила свое будущее – одна в общежитии с ребенком... А если опять полгода не будет горячей воды? А как добывать ясли? Разве только устроиться туда работать, как Баба-яга... Надо ей подарить что-нибудь. Открыла

сумочку, вытащила оттуда книгу о Крамском и стала рыться среди мелочей косметики. Вдруг Баба-яга вцепилась обеими руками в книгу, точнее – в суперобложку:

- Вот-вот!
- Нравится? Это репродукция с картины «Неизвестная».
- Только бы один день такой пробывать, а потом и умереть не жалко...
- Один день – что?..
- Да прожить в такой красоте, а потом и помереть не обидно!
- Неужели умереть не обидно?
- Не жалко.

Лина не удивилась, что Баба-яга имеет свои счета с красотой, словно даже ждала чего-то такого. Смутная догадка о причине Диминой удивительной внешности заставила спросить:

– А Диму носила – о красоте думала?

В ответ та шумно запыхтела, злость ушла с ее лица, уступив место мечтательности – той самой. Которая может преобразить даже самое уродливое лицо.

– Дура же я была! В школе еще училась, спать ложусь, шепчу: хочу быть красивой! Хочу быть! Потом плюнула на все это. Потом, когда его в городе уже встретила, к бабке даже ходила – не помогло. Опять плюнула. А забеременела – некогда было мечтать... парень этот, ну, Димкин отец, Васька, уехал. Вот и утягивайся для них. Димка родился, смотрю: как цветочек. У других все рожи красные, а мой смуглый, черношарый и как цветок. Видно, внутри где-то сидела же красота, потом на ребенка вышла.

Она закурила очередную сигарету. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, движения у нее были ловкие, быстрые, даже красивые. Или Лина уже по-другому смотрела на нее. Вдруг что-то толкнуло ее сказать:

– Знаешь, а я – фея. Могу взмахнуть палочкой, и... вся красота с ребенка перейдет на тебя. Вася твой приехал, значит, обратно в Пермь? Он увидит тебя... А Дима мальчик, ему зачем красота!

– А-а? Да? Можешь? – захлебнулась Баба-яга, но тут же сникла: – да нет, не надо, Фая.

– Почему?

В ответ та посмотрела на нее презрительно, потом сплюнула:

– Да врешь ты все, Фая!

ВЕЧНЫЙ ВЫБОР

– А дедушка мне показал березу, на которой прыгали двенадцать мартышек. И вдруг все они слились в одну – выше дома. Она расправила крылья и улетела к облакам. Потом превратилась в тучу...

Булькали и бурлили ручьи. Подготовительная группа детсада пробивалась сквозь весну в бассейн. Из середины строя поднялось растрепанное пение:

Малиновки слышав голосо-о-ок,
Припомню я забытые свиданья-а-а...

Наталья Васильевна профессиональным вниманием охватывала все: и песню, и потасовку Димы с Виталиком, и рассказ про обезьяну-тучу. Сегодня она неожиданно ощутила себя легкой, как облако. Ловко перепрыгивала через небесно-голубые лужи и подпевала детям:

Пра-а-шу тебя: в час розовый
Напой тихонько мне...

Вспомнила, что Савич называл ее голос «пионерским», а уж он в этом разбирается. Ну и пусть разбирается, пусть занимается своим драгоценным баритоном «Зарубежные записки» №9/2007

и слушает свою мамочку! Инженер, который рвется на сцену... Пусть-пусть! А она устала. Все. Поедет в отпуск.

Тут она заметила, что Саша Галдобин бьет себя по ноге сумкой с бельем. Он остался без пары. Наталья Васильевна взяла его за руку и повела рядом, чтобы он не впал в мрачность. Саша все время задает вопросы, не просто задает, а ноет: «А имени Сергея Тимофеевича Аксакова улица названа? А почему не названа? Разве “Аленький цветочек” плохая сказка?»

Весь мир временами кажется Саше несправедливым, безрадостным и – прямо скажем – глуповатым. Наталья Васильевна жалела таких мальчиков за «горе от ума». Глупых она тоже жалела, и любила всех. Когда кто-нибудь из детей заболел и не приходил, ей казалось, будто не хватает пальца на руке.

Саша вдруг сжал ее руку, вздохнул несколько раз очень тяжело и заныл:

– Наверно, я уже никогда-никогда не буду дружить с девочкой!

Это поветрие – дружить парами – принесла в группу Алла Буракова. Ее старшая сестра вот уже месяц как является за Аллой неизменно в сопровождении какого-то чахлого подростка. А подголовишки – как мартышки – все как один теперь подражают.

– Саша, дружи-ка ты с Аллой Бураковой!

– С Аллой! – задохнулся от возмущения Саша и встал посреди лужи. – Она же ничего не знает, даже путает Чуковского и Чайковского. Хотя один Корней Иванович, а другой Петр Ильич. Как их можно путать!

– Н-да, – сказала Наталья Васильевна и подумала: «Сына бы мне такого!» – Ирина Харапова – умница, она лучше всех на занятиях отвечает.

Мальчик поморщился, как от горького лекарства:

– Ага! Она все время делает мне замечания.

Наталья Васильевна подумала, что она тоже часто делает замечания окружающим – профессиональная привычка. Как от нее избавиться?

– Выбери-ка ты, дружок, Тоню.

– Тоня плохо дежурит по кухне. А еще девочка!

– Катя отлично дежурит.

– Катя толстая! – возмутился Саша.

Наталья Васильевна вздрогнула. Савич тоже упрекал ее в – как это лучше сказать? – полноте. Но что делать, если не хватает силы воли сесть на диету! Лишний раз постряпаешь – насладишься жизнью. Но в конце концов прав Саша Галдобин: нужно худеть.

– Саша, а что Люба Юрлова?

– Наталья Васильевна, разве вы забыли, что Люба кусается! Как маленькая.

– Ах да. А Люся тебе нравится?

Оказалось, что Люся всегда лохматая, что у Ани слишком громкий голос, а Рая – плакса. Наталья Васильевна уже вошла в азарт и стала выкликать имена девочек прямо по списку:

– А Оля Боева?

– Обзывала. Она говорит, что раз я Галдобин, то всегда должен галдеть.

– Света никого не обзывает.

– Света – вруша! Она говорит, что если ее фамилия Журавлева, то ее прапрабабушка была журавлем. И что на Черном море она видела такую акулу: от улицы Газеты «Правда» – и до Камы. А такой акулы не может быть все-таки, может только от Газеты «Правда» до Комсомольской площади.

Наталья Васильевна вспомнила, как в прошлом году сказала Савичу, что стала заведующей детсадом. Но ведь тогда в самом деле она целый месяц выполняла обязанности заведующей и справлялась. «Скажу ему, что теперь я опять воспитательница», – решила она.

– До чего ты привередливый мужчина, Саша! Что же ты скажешь о Нине?

– Как я могу дружить с Ниной, если она все время болеет заболеваниями!

- Какими?
- ОРЗ.

Наталья Васильевна начала мрачнеть. Ведь она в последние годы слишком часто стала хворать, и все ОРЗ да ОРЗ. «Закаляться нужно бы», – неуверенно решила она про себя. И спросила у Саши:

- Ну, а Марина чем тебе не подходит?

– Марина? А к ней неудобно ходить, вот! – обрадованно заявил мальчик. – Мама не отпустит меня через три улицы переходить.

- Может, с Наташей будешь дружить?
- Не знаю...

Пока он раздумывал насчет Наташи, дошли до бассейна. С минуту пришлось подождать выхода предыдущей смены, и дети облепили Наталью Васильевну, оттеснив Сашу. Одни что-то говорили, другие – спрашивали, третьи просто взбирались на нее и повисали, как обезьяны на пальме. А громче всех звучал рассказ Лены Михайловой о их кошке Клепе, у которой родилось двадцать шесть котят, которые потом слились в одного котенка до трех метров. Не успел этот трехметровый котенок никуда улететь, как позвали в раздевалку.

Только-только разделелись и вошли в ванну, как Лена уже начала:

– И вот дедушка повел меня в лес, и мы увидели, что на лужайке медведи водят хоровод, а в середине жених и невеста. Невеста-медведица в платье из листьев и в фате, украшенной белыми ромашками...

– И тут жених и невеста слились в одного медведя?.. – продолжал было Саша Галдобин.

- Отойди! – отрезала Лена.

Саша совсем не хотел обидеть ее, поэтому предложил Лене очки для плавания. Но она уже взяла Димины очки. Тогда он жвачку ей хотел отдать, но Лена сказала, что Виталик уже подарил ей целых пять пластиков. Наталья Васильевна знала, что Лена была капризна с мальчиками в меру: невозможного не требовала ни от кого. В группе она просила читать ей, потому что сама еще не умела. А здесь, в бассейне, просила, чтобы не толкались. И стайка мальчиков охотно слушалась ее.

Из бассейна шли быстро: спешили на обед. Наталья Васильевна уже не перечисляла Саше оставшихся девочек, а спросила так:

- Сам-то ты кого бы выбрал из девочек?

– Лену Михайлову, – непреклонно ответил он.

- То есть как Лену? Почему Михайлову?

– Потому что... Потому что я ее люблю.

- Любишь, толстую?

– Она средняя. И уж не Кашей Бессмертный мне нужен, конечно.

- Но она тоже врет!

– Наталья Васильевна, она – фантазирует, все выдумывает. А когда она врет, я знаю.

- И болеет часто!

– Так она ж не виновата!

- Да чем же она лучше других?

– Поделки хорошо делает – раз. И знаете: все-все в мире выполняют ее желания! Да! В прошлом году она пожелала, чтобы войны не было, и не было же!

РОЖДЕСТВО

РАССКАЗ

I

Уже сколько лет я живу с мыслью совершить нечто великое. Будет это скорей всего в области литературы – математик я аховый, слух у меня швейковский, спорт мне не по плечу – словом, литература. Первый мой опус был роман из японской жизни: «Г-н Синекура Мамура, банкир и промышленник, дождавшись зеленой улицы, плавно заскользил по Гинзе во главе колонны автомобилей, скопившихся на светофоре. Ехавший был настолько заинтересован статьей в “Токио-сан” о пуске в строй новых мощностей, что поминутно косил глаза под себя, где ему прикрывала колени газета. Внезапно под колесо метнулась тень девушки. “Гейша! – мелькнуло в мозгу у промышленника. – Вот до чего ее довели, раз она решила покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса автомобиля”. Машина резко свернула и опрокинулась в кювет. Из открывшейся дверцы безжизненно выглядывала голова Синекуры Мамуры. Это был высокий мужчина нерусского вида с красивыми глазами, грустно взиравшими на мир из-под пушистых ресниц. Девушка встала и медленно подошла к нему...»

– Стоп, – перебил меня отец. – Это глупости. На Гинзе нет кюветов.

Он только что вернулся из Японии, и чемоданы его были полны детских вещей из невиданной доселе синтетики. На дворе стоял пятьдесят шестой год, и шел тогда одиннадцатый год моей жизни.

А вот, друзья, отрывок из поэмы пятьдесят девятого года. (Отец приехал из Америки, на мне синие с красными отворотами сливы, т.е. джинсы, не буду рассказывать почему, но «сливами» на нашем с ним языке называлось любое проявление его родительского чувства, будь то гостинец, письмо или даже записка, оставленная в дверях.)

Отрывок из поэмы:
В тормозах дорожного скрипа
Стоит переросток на перекрестке.
Голова юлбринново обрита,
В сердце другой подросток.

(Переключка – вдалеке – «Великолепной семерки» с блоковским «Стоит буржуй на перекрестке...»)

Четырьмя годами позже я поступал в Горьковский институт с рассказом, заканчивавшимся словами: «...А город зажигает над ними свои огни». (Парень с девушкой, держась за руки, истаивают в перспективе улицы – асфальт влажен – так и просится: «Конец фильма».) Срез молодого дерева пришелся под самый корешок: еще до начала экзаменов, в анкете, в графе «пол», написал «самец». Отец

ничем не мог быть полезен и лишь телеграфировал из Южной Америки: «Лети Киев пединститут иди Устименко». Но беленькой бумажке с грифом «Отпр. международное» не суждено было меня застать, к тому времени я уже сдал последний экзамен в Рижский университет им. Стучки.

– На Запад потянуло, как и тебя, – объяснил я отцу, почему предпочел коклу бандуре.

– Пострел, – засмеялся отец и покраснел. – Вот тебе, Вовка-морковка, носи да предка своего не забывай. – Он надел мне на запястье такую чудную сливу, у которой циферблат заменяла рубиновая пластиночка со вспыхивавшими на ней чертяками. – Ну как, Вовка, сила?

Подделываясь под ложно-молодежный жаргон, слюнявый и выдуманный В. Пановой, отец не понимал, сколь жалок и смешон становится. Особенно когда в компании моих сверстников начинал разыгрывать из себя «вполне современного старика»: «Чувак, схавайте, пожалуйста, банан». В таких случаях мне бывало противно и больно, и хотелось, подобно раненому зверю, своими же зубами наказать свой же собственный рваный бок. Вот почему вместо благодарности я только махнул рукой:

– Часы... ты бы хоть раз привез мне что-нибудь для моей литературной работы.

– Но я думал, ощущение времени необходимо писателю... – Я заметил, как на миг он закусил губу. – А что бы ты хотел?

– Трубку.

В другой раз, получив трубку, пенковую, из Стамбула, – я сказал:

– А у Абрамова есть дома «Доктор Живаго», ему какой-то моряк привез. Теперь, пока я буду курить трубку, он будет читать «Доктора Живаго». Эх, жисть! Рискнул бы раз – да протащил бы стоящую книгу, которую в этой проклятой стране...

Как ни странно, но ничто не уязвляло отца больней, чем напоминание о советской власти. Обслуживая самые ее потроха, он тем не менее умудрялся, если не изображать святую невинность, то, во всяком случае, сохранить поразительную избирательность восприятия. Это походило на жизнь в выгребной яме с соблюдением, по возможности, правил гигиены. Все, что оказывалось за пределами такой возможности, замечать было как-то не принято, и когда я вдруг делал это – бесцеремонно бросал ему правду в лицо – он сразу же съеживался, краснел – он вообще был мастер краснеть. Раз только, помнится, он сказал, что если кому и быть в претензии, то уж никак не мне. Ну и выдал я ему тогда... (А книжку он мне привез. Заговорщицки поманил меня и, не говоря ни слова, постучал пальцем по ящику письменного стола, в котором она уже лежала: маленький сюрприз. К сожалению, это оказалось совсем не то, что я хотел, – какой-то допотопный сборник рассказов, где даже орфография была сохранена времен Гостомысла: ять на яте и ятем погоняет. Полистав все же для вида, я усмеялся – вслух, так, чтобы отошедший к дверям и оттуда смотревший на меня, он все слышал: «Хо, белая акация – цветы эмиграции», – и положил книжку обратно в ящик.)

Но вернемся к моему намерению потрясти литературный мир. Рига с ее высокой культурой кафе пользовала меня в этом отношении чрезвычайно. Как известно, лучший стимулятор гениальности – это молодежное кафе, если просиживаешь в нем по целым дням. В «Вэцриге», совсем недолго постояв перед этим в очереди, старые латышки ковырялись ложечками в бисквитах, в «Птичник» слетались консерваторские курочки, «Аллегро», большое, вокзального типа кафе-мороженое, захватили деревенские, в «Луне» был сборный пункт получающих посылки и, наконец, в «Клубе 13 стульев» собирались мы, интеллектуалы. Тон задавал Ян Бабаян, харьковчанин с армянской фамилией, которую смеха ради собирался сменить на Бабенко; впоследствии, женившись, он перешел на фамилию жены. Ян – всезнайка. В моем портфеле вместе с сором – неизбежным даже в дамских сумочках – по-

моему, и по сей день валяется рассыпающийся по сгибам листок, где рукой Яна написана в столбец двадцать одна знаменитая фамилия на «Н».

Дело было так. В нашем кафе меня вдруг назвали «турком», моим старым школьным прозвищем. Меня это удивило. Яна же наоборот – удивило то, что он до сих пор этого не замечал – что я турок.

– Это потому, что я такой же турок, как ты армянин, – сказал я.

– Удар ниже пояса, – запротестовал Ян. – Ты говоришь так только потому, что знаешь мою фамилию.

– А ты – мою.

Ян помолчал, раскурил турецкую пенковую трубку, которую я ему подарил, и сказал:

– Набок – вовсе не турецкая фамилия. (Я, извиняюсь, забыл представиться.)

– Турецкая, из-за нее мне прозвище дали.

– У нас в школе была одна евреечка – Набок, – вмешался кто-то третий.

– Ну уж увольте, – тут запротестовал я. – Она, наверное, была Набох или что-нибудь в этом роде.

Слово за слово, и Ян вдруг говорит:

– Эх, не быть тебе, Красно Солнышко, великим человеком. Человечество по великим людям квоту на «Н» уже выполнило.

– А на «Б» еще нет? – ехидно парировал я.

На это Ян предложил мне устроить блиц: кто в минуту больше настроит знаменитостей, я на «Б» или он на «Н». Победила дружба. Моих было больше, но кой-кого пришлось вычеркнуть, поскольку я не помнил, кто они такие. Если память мне не изменяет и на сей раз, то вычеркнуты были: Баженов, Боголюбов, Бассомпьер, Бахус (не композитор – другой) и еще несколько. У Яна же к каждому имени имелось, хоть и коротенькое, но примечанье: «Нелеп – первый тенор после Лемешева и Козловского, Нельсон – знаменитый борец, первый сделал прием “двойной нельсон”». Впрочем, вот весь его списочек, он у меня, как я уже говорил, сохранился:

Некрасов («Однажды в студеную зимнюю пору...»)

Некрасов («В окопах Волгограда»)

Нахамчик (настоящая фамилия Свердлова)

Набуту (политический деятель, убивший Лумумбу)

Набутов (сам знаешь кто)

Набатов («Мы с приятелем вдвоем вам частушки пропоем...»)

Нагибин (знаменитый кинорежиссер, за фильм «Дерсу Узала» получил Нобелевскую премию)

Надсон (гениальный поэт-декадент)

Нансен (открыватель Южного полюса)

Никсон (президент)

Нельсон (знаменитый борец, первый сделал прием «двойной нельсон»)

Нельсон (знаменитый военачальник)

Невский (знаменитый военачальник)

Нахимов (знаменитый военачальник)

Наровчатов (выдающийся атомщик)

Науходоносер (грозный царь иудейский)

Нежданова (выдающаяся артистка)

Незванов (выдающийся артист)

Незвал (чешский декадент)

Нелеп (первый тенор после Лемешева и Козловского)

Наполеон (неразборчиво)

Но хотя «победила дружба» и мы набрали приблизительно равное количество очков: он взял скрупулезностью знаний, я – шириной охвата, все же тень сомнений касательно моей будущности из-за фамилии, начинавшейся с «Н», у Яна оставалась. Желая развеять даже эту тень, я принял решение отнести в редакцию студенческой газеты что-нибудь из своего. Рассказец, который, увы (а может, и не увы, Богу видней), не спас меня от провала при поступлении в писательский вуз, мне показался вполне пригодным для литературного дебюта. С ним я и отправился к редактору газеты Косте Самохину.

Костя – номенклатурный деятель из лысых очкариков, которым уже давно за сорок, а они все еще «кости» по роду деятельности, – тут же, не отходя от кассы, пробежал глазами мое «Сретенье душ», но при этом прийти просил через недельку – для беседы. Через недельку он встретил меня дежурной фразой всех следователей: «Я ознакомился с вашим материалом, и вы знаете, вы меня порадовали. Мы только слегка изменим название. Гораздо лучше будет, – Самохин заглянул в мою рукопись, – «Любить». Так современной. А то «души» – это как-то, знаете, из словаря наших бабушек. И, разумеется, произведем маленькую стилистическую правку. Есть возражения?» Возражений не было. От Самохина я ушел с твердым намерением не узнавать его при встрече и не здороваться, словно мы совсем не знакомы (словно, забегая вперед, я оригинальный текст рассказа «Сретенье душ», а он то, что выпустил под моим именем их грязный студенческий орган; только истаивающий в сумерках вечернего города конец – «конец фильма» – с двумя рядами фонарей на двубортном кителе неба они сохранили в неприкосновенности, попробовали бы его тронуть...).

С Яном мне было стыдно встретиться: он мог бы с полным правом плюнуть мне в физиономию теперь. Долго я его избегал, но неминуемый рок, несмотря на все мои усилия, свел нас – спасибо, что хоть на «нейтральной земле», – в «Птичнике» (я перестал ходить в «13 стульев»).

– А, Володимир Красно Солнышко, и ты, сука, продался большевикам? – сказал он, отламывая половинку от моего пирожка с ребарбаром (ревенем – раньше он себе этого бы никогда не позволил).

– Что ты, Ян Бабаян, это сами мне продались. – А про себя думал, стервенея: «Слабо, ох, как слабо! Гусь лапчатый! Тряпка! Ничтожество! Вовочка-морковочка...»

В любой любви нужна удача, даже если это всего лишь отцовская любовь, а то будет, как с моим отцом: все не вовремя, все не к месту, как будто специально старался вызвать во мне раздражение. Это к тому обстоятельству говорится, что в студенческой общаге, где я не жил, но числился, и куда иногда захаживал – по любовной нужде, меня вот уже вторые сутки дожидалась фототелеграмма. «Горячо поздравляю с литературной первенкой. Пусть твое самопишущее перо и впредь будет зеленой палочкой. Твой счастливый старикашка».

– Тьфу! – невольно вырвалось у меня. Отцовская «слива» оказалась насквозь червивой, она оказалась бы несъедобной даже в том случае, если бы я действительно «своим» рассказом сказал новое слово в русской литературе. И откуда он узнал? Не иначе как «счастливый старикашка» – дело рук Самохина. Боже, как стыдно...

От курса к курсу мои московские наезды становились все реже и короче.

«...Уж реже солнышко блистало, короче становился день», – писал отец в открытке. Ничего, он нашел прекрасный выход из положения: у него в Риге вдруг объявилась масса дел. Между делами он ходил со мной обедать и, очевидно, был страшно доволен такой компанией. Причем я заказывал блюда, которых терпеть не мог, и все оставлял на тарелке. Эти свиданки происходили с частотой регул и, как последние, были хоть и чертыхаемы, но все же...

Однажды я перепугался, словно забеременевшая студентка, когда два с половиной месяца от отца ничего не было. Я даже звонил в Москву, но телефон отвечал долгими, совершенно безнадежными гудками. Но стоило только мне получить от него открытку с датой приезда – прежде он таких открыток не слал, а прямо приехал – как я, чего тоже прежде не делал, спустился в магазин, купил плакат и в перевернутом виде приколот его кнопками в «кабинете задумчивости». Плакат гласил: «Заветам отцов верны!» – салага, с солнечным бликом вполкозырька, нежно обнимает седоусого воина. Отец долго рассиживал перед этим плакатом, вероятно, не зная, как реагировать, и вышел, не сказав ничего, красный. Вообще на этот раз он был неразговорчив и все ждал, что я первый поинтересуюсь, где это он пропадал столько времени.

– Ты не видел фильм «Столь долгое отсутствие»? – вдруг спросил он.

– Нет, не видел, – ответил я.

Он мялся. Любитель краснеть, он словно любовался каким-то ему одному видимым закатом, позабыв, что багровый отсвет отнюдь не красит стареющие лица. Когда мы выходили из ресторана, он сказал:

– Сынок, – слово редкое, слово – сигнальная лампочка в минуту опасности, – сынок, мне надо с тобой поговорить...

«Слышно мягкое шуршание шин по мокрому асфальту». На каменном буржуазном столбе такие же буржуазные часы показывают пять. Но хотя «город и зажигает над ними свои огни», двум фигурам до истаивания, до растворения в собственном счастье еще очень далеко. Все очень напряженно.

– Я собираюсь жениться.

Мимо проехал старенький автомобиль – виден след от рижского довоенного номера. Желтым светом горящие яблоки фар вынесены на поверхность крыльев – от удивления и ужаса вылезли из орбит.

– Ты слышишь меня?

– Да.

– Ну и что ты скажешь... как писатель?

– Ищешь приключений на свою голову. Кто она?

– Девушка. То есть женщина, молодая женщина.

– Дети?

– Нет. Но могут быть, – не понял, не понял моего вопроса, я совсем не имел в виду его грех. – Но ты, Вовочка, не думай, что это может отразиться на... наших с тобой... Вовочка! Пстой! Прошу... – Он сделал попытку меня догнать, вполне честную, хотя и безнадежную – я ведь тоже честно бежал, к тому же без скидки на его возраст и свои чувства. На что, Господи, на что рассчитывают люди, бегущие без всякой надежды догнать, – я обернулся, бедное мое сердце, как он был далеко... Что чувствуют они при этом?

Неделю я жил на взморье, в доме, где снимал летом комнату. Зимой запахи в домах устойчивей.

Кто-то знойные таблетки
В чай подбросил мне,
Словно в дьявольской жилетке,
Вся душа в огне.
Горло сушит, нету мочи
Это все терпеть,
Дело близится уж к ночи...

Я размечтался, не зная, что дальше. За стеной хозяин, черный, румяный Александр Михайлович Гликберг, порол сынишку, который в продолжение экзекуции с большим чувством исполнял песню без слов.

Значит песню петь,

– закончил я, «сложил вещи» – убегая, я ведь размахивал большим чемоданом – и вернулся в Ригу.

После этого почтовый ящик мой оставался пуст недели две. Наступление третьей ознаменовалось получением посылки мандаринов, под которыми на самом дне лежало письмо. Это называлось: сперва покушай, Вовочка, а после поговорим. Думавший таким образом подсластить свое послание преуспел больше, чем предполагал. Мандарины в дороге помялись и изрядно позолотили собой конверт и вложенный в него листок. Я же говорил, что даже в отцовской любви ему не везло. Вот жалкие островки, которые мне удалось отыскать в океане сока:

Вовка, чувак, привет!

Надеюсь, что мандаринки ты схавал с

..... должен был понимать, какое страшное оскорбление наношу тебе, говоря, что это не отразится на моем отношении к тебе. Ведь этим я как бы допускал мысль, что тобой движут корыстные

..... твой старый хрыч из тех людей, которые умеют признавать свои ошибки, а если надо, то и наказывать себя за.....

..... дурацкая блажь. Как говорится: седина в бороду, а бес в ребро. Ты, конечно, правильно сделал, что эту дурь выбил

..... прошвырнись по Елисейским Полям..... подумать о том, чтобы напечататься в хорошем журнале..... переводе Устименко из киевского пединститута прямо в Москву, главным редактором журнала «Большевичка». Это большое повышение. Тут, я думаю, что твоя фамилия тебе поможет.

Твой папах

Я плакал от ярости, читая это письмо. К тому же накануне Ян сочетался с Юленькой Эскердо, дочерью испанских родителей, и не пригласил меня на свадьбу – она была сыграна в диетической столовой на улице Суворова (но все-таки письмо явилось для меня большим облегчением – как-никак я волновался за него).

II

В ночь на пятое января один из двух кронштейнов, крепивших тяжелый оконный карниз, вырвало. Обсыпав штукатуркой подоконник и проложив по стене глубокую борозду, карниз острым своим концом расщепил крестовину рамы, тут же с осколками стекла рухнувшую вниз, и, свесившись на улицу, заиграл на ветру тюлевой занавеской, как знаменем. К утру квартиру выстудило полностью и тюль сделался твердым, как мой отец, скончавшийся этой ночью.

Первой мыслью моего еще сонного мозга было поскорей набрать ванну и помыться, прежде чем начнется собачий холод. При этом я не уверен, что не действовал, как тот, кто пытается применить в жизни мнимую логику сна, ведь и картина, открывшаяся моим глазам: окно, карниз, исчезнувшая рама – сильно отда-

вала сновидением. Лежа в ванне, я блаженно созерцал, как плавают в ней мои члены, как верхушками затопленных холмов выступают колени, и чем дольше эти наблюдения продолжались, тем невероятней становилась мысль, что когда-нибудь придется встать. Усилие, которым человек заставляет себя выйти из ванны, можно сравнить только с усилием, необходимым, чтобы в ранний час подняться с постели, разница в малом: из постели тебя гонит долг, из ванны – остывающая вода. Восемьдесят пять процентов человечества покидает ванну и постель не иначе, как судорожным рывком. Оставшиеся пятнадцать – грязнули и лежебоки.

Характерным вибрирующим движением – частота колебаний та же, что у отряхивающейся собаки, – я вытер уши, затем придал голове вид чертополоха, не менее характерный, мне вообще на этот раз хотелось быть характерным, образцовым, поскольку насухо вытираться не в моем обыкновении – оттого-то я и перепутал традиционную последовательность, предписывающую ушами заниматься во вторую очередь, после волос. Однако по мере продвижения махровика книзу натура брала свое, энтузиазм спадал, так что носки я уже натягивал на совершенно мокрые ноги, безбожно перекручивая резинки и проклиная собственные пятки.

Одевшись и надев дубленку, «теплую как печка и легкую как пушинка» – с этими словами она мне была презентована – я вышел на улицу. Мороз был – белый нос. Ржавый замок на дверях жилконторы, после того, как я его подергал, не захотел мне отдавать варежку назад. Тогда я кое-как нацарапал на клочке бумаги, воспроизводя на ней при этом весь богатейший орнамент стены, послужившей мне партой: «В 17 квартире разбито стекло и к черту высажена рама. Настоятельная просьба прислать рабочих. С уваж. (подпись). NB Если меня не будет дома, значит я на семинаре по Научному Коммунизму». (Рассудят так: на семинары по научному коммунизму ходит не всякий, и такому субчику лучше вставить оконце.)

В окружении собак и ночных сторожей я возвратился в квартиру. Как был, в пальто и в сапогах, я забрался под ватное одеяло (тулуп) и принялся ждать. Приходили коченеющие собаки, чтобы смежить мне веки.

У меня не было чувства, что я проспал долго, и вот только чертяка под рубиновой крышкой, когда я нащупал нужную пупочку, зажегся восьмеркой.

«А, черт! – мысль о семинаре, на который я опаздывал, но который на сей раз не мог пропустить, отбросила меня к двери. – Не так уж глупо иногда спать в пальто», – подумал я. О прочем, о затвердевшем тюлевом знамени в окне, я вспомнил уже стоя на остановке, когда со всеми дружно стучал ногой в такт сырой балтийской стуже. Через час начнет светать, через час погаснет в окнах свет, и тогда под моим окном соберется толпа.

В троллейбусе вместе со мной ехала Сильва Вилипа. Никогда не опаздывавшая, она страшно нервничала, и мне, по ее желанию, постоянно приходилось нажимать на пупочку. На Сильвину беду, ее троллейбус – троллем обернулся, а следующего пришлось ждать... вот буквально до... который сейчас час? Зная, что ей, в отличие от меня, поверят на слово, и что ее фамилия, в отличие от моей, не попадет в черный список декана Слуцкого, я полушутя-полусерьезно предложил:

– Послушай, возьми меня с собой в тот не открывший дверь троллейбус. – Она нахмурилась:

– Что, пожалуйста?

Ладно, сколотая Вилипа, врать тебе всю жизнь чужим детям, мне же быть – Прометеем.

От остановки к университету она понеслась как ветер, я за ней еле поспел. Но все-таки опоздала спринтерка: в дверях, подпирая лбом дерматиновую притолоку, стоял декан Слуцков, профессиональный громила.

– Простите, у меня... у меня мама умерла. (Или мне послышалось, что она это сказала?)

Не обращая на нее внимания, Слуцков опустил мне на плечи обе свои оглобли и с минуту держал их так. Потом развернул меня и повел в свой кабинет, как запряженную лошадь, — впереди себя. И это все — молча.

«Ну вот, сейчас вручит скипетр и державу», — храбрился я, усаживаясь на предложенный мне стул, тогда как сам он остался стоять. Лакунишонок, которой здесь вовсе не место — на то есть лаборантская, стояла у шкафа, делая вид, что перебирает журналы.

— Звонили из ВЦСПС, этой ночью ушел из жизни ваш отец.

К моим услугам декановский графин и стакан, пей сколько влезет. Но я сделал лишь один судорожный глоток и, словно поперхнувшись, быстро поставил стакан на стол. Лакунишонок затаила дыхание.

— Он умер как солдат на своем посту, во время совещания в Кремле.

Тут Лакунишонок, перенося вес тела с одной ноги на другую, так весело выстрелила половицей, что Слуцков заорал на нее:

— Да уйдете вы уже наконец!.. Гражданская панихида назначена на два часа. Максим Эдуардович (ректор) дает вам свой автомобиль. Шофер поможет, если что надо будет... с билетами и все такое.

Слуцков очень больно сдавил мне руку. У дверей он это сделал еще раз, еще больней.

— Да, брат, тяжело батьку-то терять, — сказал шофер. — Это уж судьба наша — родителей хоронить. Мой помер, когда я пацаном еще был. В аэропорт?

По идее я должен был прежде заскочить домой и выяснить, что с окном, возможно даже следовало оставить там ключи, но что в таком случае подумает обо мне эта добрая душа за рулем?

— Угу. — Гори она огнем, эта квартира.

Ехали молча, я уже было собрался напоследок подарить ему пачку «Кента», как он вдруг спросил — с чисто лакейским подобострастием:

— Видать, большой человек был папаша?

В Москве меня ждала машина прямо у самолета. Мы еще только бежали по посадочной полосе, когда стюардесса с радостным придыханием сообщила мне:

— Вас ждут, быстро идите на выход. Через полчаса начинается. — Она, верно, решила, что мне будут вручать орден.

Снизу, с подножки трапа, ондатровый картуз прокричал:

— Живей в тачку, времени в обрез!

Дорогой капитан — вот уж на его счет у меня не имелось ни малейшего сомнения, ну, старший лейтенант — объяснил, что в пять часов министр должен улететь, оттого и спешка. Причем он с такой живостью откликнулся матком на появление впереди какого-нибудь драндулета, был так агрессивен и в то же время словоохотлив по любому поводу, что я мысленно подивился его полной неосведомленности относительно моей персоны. Тем не менее, когда мы остановились у здания «Васе есть поесть» — как я его называл в детстве, мой шофер взглянул на часы и с удовлетворением сказал:

— За двадцать минут доехали. Успеваете на своего папашу посмотреть.

В фойе, время от времени приспособляемом для церемоний такого рода, стоял дух елочного базара — от бесчисленных венков, обсыпавших все вокруг своими иголками. Невидимый оркестр играл классическую музыку. Я приподнялся на цыпочки и разглядел подбородок, нос, завалившиеся глаза — белое блюдечко лица, чуть выступающее за линию борта. Меня заметили и усадили поближе. Дали воды. Я жадно выпил — если не считать глотка из декановского стакана, я еще сегодня ничего не пил. Напротив, на треноге, стояла и смотрела на меня фотография отца. «Это был высокий мужчина нерусского вида с красивыми глазами, грустно взиравшими на мир из-под пушистых ресниц». И тут меня прорвало.

К счастью, с помощью второго стакана воды и в придачу какой-то пастилки мне быстро удалось взять себя в руки. У гроба в почетном карауле, образуя прямоугольник, стояли четыре человека, чуть покачиваясь. Один за другим сменялись ораторы. Чтобы снова не потерять над собой контроль, я сконцентрировал все внимание на трех иголках у меня под ногами. Две сросшиеся, а одна, как желтая тросточка подле двух расставленных зеленых ножек, они вместе составляли латинское N – начальную букву нашей с отцом фамилии. И вот этому игольчатому знаку я пожертвовал тот час, который отпущен был мне для последнего свидания с последним – и первым, и единственным – близким мне существом.

Когда вновь заиграла музыка и прекратились дозволенные речи, меня под руки подвели к ступеньке. Собравшись с духом, я взошел на нее и в священном ужасе коснулся губами замороженного лба (это же не он! это же не он!). Затем безропотно позволил себя увлечь сперва в какой-то угол, а после в черный автобус, куда уже к тому времени был водвинут гроб. (Говорят, что самое страшное, когда под звуки траурного марша рабочие начинают забивать крышку гвоздями – не знаю, по-моему, семья этого не слышит. Зато тряска в автобусе дает ей переделку перед последним испытанием.)

Караул! Без меня его кремировали – я попробовал протестовать, но мне отвели, что кремация – воля моего отца. Ложь! Не верю, чтобы он этого мог хотеть.

Не желают ли родственники проститься еще раз?

Все повернули головы в мою сторону. Нет, не желают. Железная пасть крематория отверзлась и, пожрав плоть выдающегося работника ВЦСПС, отрыгнула черным облаком.

Кажется, проследовали с венками из крематория на бутафорское кладбище – как потемкинскую деревню, его ничего не стоило переносить с места на место. Какая-то тетушка без умолку твердила, чтобы я всегда обращался к ней, если что понадобится. Она даже хотела забрать меня отсюда к себе, но я отговорился тем, что больше всего на свете теперь хочу остаться один. – «Но как же так, мы все сейчас едем ко мне, помянуть...» – Впрочем, она меня «понимала», благодаря ее пониманию я даже сумел бежать из этого ада раньше, чем допускалось приличиями (но без ущерба для своей репутации).

Метров через пятьсот я отпустил таксиста, нанятого все той же участливой тетенькой, – она мне все-таки всучила номер своего телефона, когда передавала сверток с вещами, бывшими при папе в миг кончины. Мне вдруг захотелось поехать в московском трамвае. Потом я катался на метро, поел в пирожковой, перевел через площадь слепца, разговорился на Павелецком вокзале с лыжницей в синих рейтузах и синей шапочке, находившей на лоб мыском – лыжница возвращалась с базы однодневного отдыха в Стропях. Еще я наблюдал румяную дворничиху и малокровную уборщицу – когда звонил в Ригу к одной знакомой, всего лишь на предмет разбитого окна. Покуда уборщица в сером халатике развозила по всей почте пастообразное месиво из опилок и грязи, за окном ее краснощекая подруга в белом переднике сбривала железным листом с асфальта ледок. Выйдя на улицу, я нашел Москву преображенной ранними сумерками. Наполнились электрическим светом тролли. Такой же горячий чай разлит за окнами квартир, кое-где совсем без заварки, кое-где покрепче, а кое-где даже пылает малиновый отвар абажура. Неон, прекрасный каллиграф, исписал все стены разноцветными чернилами, криптон озеленил столицу, ее улицы и лица. Под одним из его припорошенных глаз я поймал себя на том, что забыл свое горе. Это побудило меня исследовать переданный мне сверток. Сразу же о землю звякнули ключи – отличная находка, если учесть, что свои я еще минувшим летом посеял на взморье – кроме них там еще оказался бумажник, стянутый крест-накрест двумя браслетами: гипертоническим и часами. Рассматривающий такие вещички под фонарем риску-

ет быть принятым за карманника или подвергнуться нападению карманников настоящих. Я спрятал бумажник и пополз домой.

Домой. Бог весть когда я в последний раз говорил так о нашей московской квартире, но вот стоило только хозяину испариться — не ищи его больше ни на земле, ни в земле — как вновь мой язык произнес это слово, произнес без заминки, словно рассеялись злые чары. Но, Боже, как жаль при этом старого колдуна. (В детстве у меня была фантазия, по которой и отец, и учителя, суть лишь маскарад враждебных мне сил, за моей спиной мгновенно преображавшихся в какую-то горбоносую нежить. Не имею представления, откуда это шло у ребенка, только уж этими страхами я не мог поделиться ни с кем.)

Оставив дверь открытой, не вытирая ног, я прошелся по всем комнатам, на кухне сбросил пальто и ни с того ни с сего уселся на маленькую скамеечку, некоторое время служившую подставкой для ног одного юного Гилельса. Как бы в память об этом в последующие годы она постоянно путалась у меня под ногами, не давая шагу ступить. Мной овладела какая-то удивительная лень: было лень встать и закрыть дверь, было лень пересесть — ну хотя бы на табуретку — старую заслуженную табуретку, стоявшую на кухне, сколько я себя помнил. На столе, на расстоянии вытянутой руки, лежал новенький календарь. Лишь провоцируемый этой близостью, я взял его в руки — так бы не подумал. Январская страничка имела каких-то пять или шесть считанных пометок — обычно такие календари исчеркивались им дочерна и к концу года превращались в муравейник черточек, точек, буковок, не поддающихся ничьей расшифровке. В гнездышках за второе и пятнадцатое, между прочим, стояло: *ДВ*, и первое из этих *ДВ* было перечеркнуто красными чернилами. Правильно. Деньги Володя получил, как раз вчера. А вот пятнадцатого уже не получит, и никогда больше не получит. Потому что зарплата Володиного папы отныне будет начисляться другому какому-то папе, хотя справедливей всего было бы, чтобы сам Володя ее и получал — как наследник выдающемуся пайщику акционерного общества «Васе есть поесть». А что, я не справился бы с этой должностью? Чепуха, я бы прекрасно разъезжал по белу свету и на всех континентах с утра до вечера доказывал бы, что Васе есть поесть (и Володе тоже).

Нет, так не годится! Я встряхнулся, отнес пальто на вешалку, по-хозяйски, на крюк запер дверь, надел домашние туфли — по праву наследования и, улегшись на постель, как бык, заревел. (Нет, откуда у человека берутся силы так долго, так дико, не своим голосом орать? Скажи я это себе хоть миллион раз: нет, так не годится — это бы мало подействовало. А все из-за одной-единственной, но несноснейшей мысли: «Я — это он. И он оплакивает меня».)

Заснул я не скоро, совершенно измученный, и то лишь проглотив снотворное, приготовленное им для меня на своем ночном столике.

III

Я не знаю, который был час, когда зазвонил телефон. Всеми своими рефлексами принадлежа Риге, я бросился было в прихожую, куда в ночном беспамятстве мой мозг поместил эту черную цикаду — и, понятно, не нашел бы ни цикады, ни прихожей (прихожая, в московских-то новостройках), не подставь мне какой-то столик ножку впотьмах. Непроизвольный взмах руки, и в ней, словно выхваченная из небытия, пищит человеческим голосом трубка:

— Говорите с Ригой. (Ну да, правильно, с кем же еще мне говорить?)

— Алло, это ты? Ты меня слышишь?

— Да, да. Что случилось? — Тихо. «Давай никогда не ссориться» играет у телефонисток. — Ах, говори же наконец, что произошло?

– Ничего. Приезжай.

Сон отнесло в сторону, как лодку приливом.

– Но что? Что? Ты мне можешь сказать?

Молчание на рижском конце. «Пусть сердце сердцу откроется».

– Прилетай, сегодня же, первым рейсом. Я буду в аэропорту.

– Ну хорошо, милая, ну хорошо. Я прилечу. Но, умоляю, что такое?

– Ты меня любишь?

– Ах, о чем ты спрашиваешь...

– Я была в консультации. У меня, кажется, будет... нет, прилетай, слышишь? Я должна тебя видеть. Я уже сейчас в аэропорту. Я вся изошлась без тебя, моя любовь, моя жизнь...

Третий человек, клинышком языка:

– Закончили.

– Слышишь, я жду...

Гудки.

Черт, что на нее нашло? Я же днем с ней говорил. «Исходилась...» Сама ходила искать стекольщика? Ей же только надо было сообщить в жилконто... ру...

Моя рука скользнула по стене и нащупала выключатель – и тут же скользнула по ослепшим глазам, волосам – жест пробуждения. Цццарь небесный, это же не была она... Это же не была она!!! Я думаю, гримас пять сменило лицо мое: восторг открытия, ужас открытия, стыд открытия, боль открытия, и итоговая гримаса, столь ужасная, что на лицо опускается растопыренное – в десять пальцев – забрало. Только что кто-то разговаривал с папой и теперь ожидает его в рижском аэропорту.

– Да, – сказал я вслух. – Да, в момент сей в рижском аэропорту сидит женщина... и, может быть, на том же месте, где вчера сидел ты...

О, если на том же месте, то она не может не видеть симпатичного старичка на стене – доброжелательностью готового спорить с латышскими рестораторами, – который указывает вам (сразу всем) свободный столик. Надпись при данных обстоятельствах глубоко символическая: старичок и сейчас живее всех живых.

«Значит, это была правда, когда он говорил, что у него дела в Риге. А ты думал, что ты – его единственное дело. Как он бежал за тобой тогда...» (А мысленно: с каким лицом он пришел к ней тогда...)

Воспользовавшись приливом, Робинзон окончательно вывел из строя отнесенную сном лодку пиратов – пробил ее и пустил ко дну: вторую ночь уже «я» и «спать» были понятиями взаимоисключающими. Не зная, куда себя деть, я потащился в комнату, считавшуюся раньше моей комнатой. Дерматинный лист на письменном столе до сих пор хранил на себе следы детского томления – следы того, как в него вдруг начинало вонзаться стянутое фиолетовой пленкой перышко. В одном из отделений я обнаружил нелегально привезенную когда-то книжку – вклад в российскую словесность какого-то состарившегося на чужбине корнета. Брошенная мною в стол, она так и пролежала там все это время. Я раскрыл наугад и прочитал: «Рождество», издал горькое «хм».

«Вернувшись по вечерьющимь снѣгамъ изъ села въ свою мызу, Слѣпцовъ сѣлъ въ уголь, на низкій плюшевый стуль, на которомъ онъ не сиживаль никогда. Такъ бываетъ послѣ большихъ несчастій».

Что ж, бывает. Я продолжал чтение. После слов: «Съ мебелью – то же самое. Во всякой комнатѣ, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой уголь. Именно въ такой уголь и сѣлъ Слѣпцовъ» – моя ирония сама собой как-то исчезла, уступив место мистическому предвкушению, что если так пойдет и дальше, то на следующей странице непременно появится чей-то умерший отец. Но произошло еще жутче, еще пронзительней. Совпадение было не чистым, механическим, но таким, что удар, мне нанесенный, исключал начисто даже самое слово

«совпадение», допуская одну возможность: в стане моей души действовал лазутчик. На следующей странице я – это уже был он, и он оплакивал своего сына. *От выстрѣла половицы я слегка вздрогнул, но уже более ничто не нарушало моего ледяного спокойствия, скорее, впрочем, походившего на оцепенение. С холодной кровью прочитал я, как умер сынок, совсем недавно – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке – прочитал, как ослепленный сияющим снегом и слезами, Слепцов перевез гроб в деревню – удивительно, что он еще мог жить, мог чувствовать при этом. Я читал о трескучем морозе, в минуту превращавшем в сосулю слезу, об обжигающей даже сквозь шерсть варежки чугунной ограде вокруг белого склепа. (А ты! Почему ты позволил, чтоб меня кремировали!) О лете читал, ушедшем и теперь хранившем под снегом бесчисленные следы его быстрых сандалий (сказано: *сандалий*). Также ничего еще не случилось, когда вечером отец вошел в мою комнату и сел у голого письменного стола. И даже перебирая тетради и глядя на крупный индийский кокон в коробке из-под английских бисквитов, я по-прежнему оставался недвижим – это о нем сын вспоминал, когда болел, – жалел, что оставил его на даче, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая (нашел я также и расправилки, и порванный сачок – от кисеи пахло летом, травяным зноем). А затем наступила ночь. Тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Бедный отец, под мышкой в деревянном ящике я переносу вещи сына в свою натопленную комнату из его, выстуженной. Иван хочет поставить елку на стол: «*Праздничек завтра*». «*Не надо, уברי*». Но Иван мягко настаивает: «*Зеленая, пускай постоит*». «*Пожалуйста, уברי*» – не мог больше видеть, как осыпаются сросшиеся зеленые ножки, а рядом ложатся желтые тросточки, сплетаясь в наш с ним фамильный вензель N. И когда в тетрадке среди названий пойманных бабочек прочитал: «*Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал два раза мимо ее дома, но ея не видел*», то и тогда еще ничего не произошло. «*Ездил, как всегда, на велосипеде*», стояло дальше. «*Мы почти (почти, Господи...) переглянулись. Моя прелесть, моя радость*».*

– Это невысказано, – прошептал Слепцов. – *Я ведь никогда не узнаю...*

«Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Я ужасно тоскую...»

Он ничего не говорил мне, – вспоминал слепец. (А он, разве мне он говорил что-нибудь?!)

Все часы в квартире стояли. Мой рубиновый чертяка валялся где-то в спальне и там себе неслышно тикал. Рисунок на непроницаемом стеклышке, кроме того, чем он был в действительности, мог еще быть: спрессованными опилками; зарубцевавшимся ожогом; родом пластмассы – тонкой, как перепонка, нежной, как перламутр, и всегда по-праздничному нарядной; рельефом глазного дна окаменевшего чудовища; по-прежнему великолепным поставщиком метафор остается дендрарий, но уж это больно ходовой товар; и, наконец, местом, к которому в трамвае прикладывается пятак и держится до образования маленького иллюминатора: каков он, Божий свет, какими чудесами полнится (но для той, в аэропорту, уже никакие чудеса невозможны).

И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина.

Слепцов видит:

...въ бисквитной коробкѣ торчит прорванный коконъ, а по стѣнъ, надъ столомъ, быстро ползеть вверхъ черное сморщенное существо величиной съ мышь. Оно остановилось, вцѣпившись шестью черными мохнатыми лапками въ стѣну, и стало трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающій отъ горя человекъ перенесъ жестяную коробку къ себѣ, въ теплую комнату, оно вырвалось

оттого, что сквозь тугий шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил...

Я уже не мог продолжать чтения. Запрокинул назад, через спинку стула, голову и носом тяжело вздохнул. Слезы застыли на щеках, не зная, куда им теперь катиться. Эта минута решила все. Я ощутил, что тот царственный миг, к которому я готовил себя всю жизнь, в наступление которого так свято верил, настал. Я больше не был один в комнате. Некто, воздающий людям за их неколебимую веру, уже стоял здесь, сложив крылья. Почти нечеловеческое счастье наполнило меня. Но вот к этой эмфиземе прибавилась низкая проза: а что же я, собственно, читаю? Название книги, едва проступавшее двойной белой нитью сквозь черный глянец обложки, было устрашающе банальным: возвращение какого-то жигана. Как бы смахнув эту случайную нитку, я впился глазами в имя автора. Слышал ли я его раньше? О! Выхваченное лупой из белой бисерной строки диафильма, оно всегда сулило мне исполнение желаний, хотя и придавало иной, совсем иной оборот папиным словам: «Твоя фамилия тебе поможет».

Я быстрыми шагами заходил по комнате: я могу обеспечить их таким капиталом – папины слова, какой ему и не грезился. Я сделаю их пророческими. Вы хотели сжечь его душу, так вот, получайте – я сохраняю ее навечно. Со времен древних курганов еще не писалось ничего лучшего на гробницу отца. Приам не лобызал слаще ног Ахилла, и жарче не была доха, которой он укутал своего Гектора. Это будет родник, забивший из чернильницы безвестного корнета. Безвестный корнет... его я тоже не обездолю. Мог ли он при всей своей пылкой фантазии – а как пылка она, это я знаю – допустить хоть на мгновение, что в черной красной России вдруг в полный голос, стотысячным тиражом, грянет его имя. Да, именно грянет. Эта фантастическая жемчужина, этот рассказ, он будет напечатан здесь – о, я не дам ему согнуться в безвременье. Папочка... Господи... Этим я вымолю себе прощение...

Я задохнулся. Листы! У меня в столе еще с тех далеких пор должны лежать чистые листы. Если б здесь стояла моя «оптима»... Тогда бы все было закончено в два счета. (Конечно, на что ему была пишущая машинка? Референт сочинит, референт настроит.)

Переписывать в жару (сердца, м.р.) и в то же время делать это красиво – невозможно. Не имея средств к остужению первого и терпя сильную нужду во втором, я из всех своих почерков избрал самый ранний, вязь, сиречь печатные буквы, писать которыми научился еще на пятом году жизни. Труд переписчика труден, главное в нем не пропускать буквы и не повторять дважды слова. Обычное вознаграждение: поцелуй директора, если ты его секретарша, или же радость свершения, если ты работаешь на себя. Как следствие: дырявые локти, геморрой, писчий спазм и т. д. и т. д. Переписчик об этом знает и, независимо от видов выполняемой работы, всегда недоволен, всегда в плохих отношениях с текстом, который, по его мнению, чересчур длинен – и хочет только одного: поскорее кончить.

Я кончил к утру (к этому времени первый самолет уже приземлился в Риге, и я малодушно выдернул вилку). Предстояло теперь каким-то образом связаться с Устименко, объяснить, кто я такой, но – от скольких неудобств становишься сразу избавлен, если имеешь связи в высших сферах, и сама судьба тебе покровительствует – тогда, минуя бюрократические рогатки, расставляемые ее служками, ты, как по благу, прямо попадаешь на прием к нужному тебе лицу, и лицо это, как явствует из дальнейшего, любезно с тобой. Короче говоря, одеваясь, я выронил из кармана бумажку, на которой от руки было написано: Екатерина Петровна Устименко, рабочий телефон, домашний телефон. Судьба не любит робких фаворитов, я позвонил прямо домой. Екатерина Петровна не заставила долго упрашивать себя

о встрече. «Я спешу в редакцию, – сказала она. – Приходите ко мне, прямо в мой кабинет. Адрес такой-то».

Знаете, корнет корнетом, а я вдруг совершенно позабыл о нем, и сердце у меня забилось, как будто это был мой рассказ. Как знать...

Для большей вероятности успеха затеваемого дела я суеверно переоделся во все папино, даже белье надел его. На улице была прелесть. Недавно взошедшее солнце подернуто морозной пленкой. Желтовато-сизые небеса, мутные, как листовое стекло в колчане у стекольщика, оседают на землю тем особенным маревом, какое возможно лишь при минус двадцати пяти. Прохожие быстро перебегают из одного продовольственного подвальчика в другой, точно такой же. Кафтаны их черны. Дворничиха подбирает и кладет в свое железное лукошко замерзшую ворону с перебитым крылом. Милиционер – под носом бесчувственная сопля. Еврей-снабженец в бедном пиджачишке поверх фуфайки и в бобровой шапке – Палосич – выглянул и спрятался. А через минуту со двора выкатил крытый брезентом грузовик. В марте какое-то черноокое племя начнет продавать мимозу. Вдоль поребрика медленно катится картофелина. И я – проплываю среди всего этого в такси с рукописью на коленях. Прелесть, что за утро.

Журнал «Большевичка» расположился в старинном доме на членистоногом московском бульваре. Это был старый антилитературный журнал, несколько раз менявший свое название, – в последний раз в сорок восьмом году, когда состругали всю редакцию. В отдельные периоды его существования антихудожественные публикации подменялись публикациями ахудожественными, и тогда считалось, что журнал вступил в полосу расцвета. В настоящий момент он как раз находился на переходной стадии между этими двумя своими состояниями.

В кабинет главного редактора можно было проникнуть двумя путями: через приемную, украшенную надписью «Секретарь главного редактора ГР. ПОМЕНЯЙТЕ» – поменяйте ударение с «я» на первое «е», и все будет в порядке, – и через другую, соседнюю с ней комнату с табличкой «Ответственный секретарь редакции ГР. ГОРЕЛОВ». Принимая во внимание всю ответственность предстоящего шага, я предпочел воспользоваться второй дверью. Тщедушный человечек в синих нарукавниках, выслушав меня, молча поднялся из-за стола и просунул голову в низкую дверь в глубокой нише. Затем с той же невозмутимостью вернулся на свое место, но дверь оставил открытой. Я вошел.

Ах, какой это был бедный сиротка! Ах, какие слезные вздохи обрушились на меня, едва только я переступил порог кабинета Екатерины Петровны.

– Сейчас, одну минуточку, словечко секретарше... Гражина, я занята! – и к другой двери: – Горелыч, меня нет! Так что, так что, мой дорогой бедный друг! Садитесь же! – Она схватила меня за руку, подвела к кожаному дивану, уселась сама и усадила меня. Это была типичная, хоть и прибарахлившаяся, партийная дама, сентиментальная и в молодости, надо полагать, крепко сбитая.

– Екатерина Петровна, – начал я, – всю эту ночь я не спал. – Кивает. – И к утру у меня созрел замысел рассказа, – кивать перестала, – который был мною тут же перенесен на бумагу... Я работал как одержимый, вот... – Моя легонько постучал пальцем по рукописи, которую моя на манер старинной грамоты свернул в трубку. Немая сцена. По завершении ее Екатерина Петровна выдавливает: – Да... что вы говорите. – Но отступить ей совершенно невозможно. Моя уже протягивал рукопись – так бывает, когда опрометчиво даешь на курорте свой адрес какому-нибудь колхидцу, а тот, глядишь, приезжает: – Моя хотэл Москва видэд, принимай госд.

Взяла Екатерина Петровна рукопись, пересела за стол, поправила очки и стала читать. На второй минуте она спросила:

– Вы когда-нибудь раньше печатались? – Вопрос традиционно лестный для автора, который, впрочем, слишком наивен, чтобы понять его истинное назначение.

– Нет... то есть один раз, миниатюру, в университетской газете...

Екатерина Петровна продолжает читать. Иногда по ходу чтения она восклицает: «Это мы оставим» или: «Ну, уж это, положим...»

Что значит «оставим» – испугался я. Да я не позволю изменить ни одного словечка! Я уже раз смалодушничал, дал искромсать свой рассказ. Хватит. Никаких изменений в тексте. Так и скажу: или – или.

Между тем она кончила читать и молчала. Не знаю, о чем уж она там думала, но только когда она извлекла из рукава огромный, величиной с косынку, платок и сморкнулась в него – Василиса Премудрая – я испытал к ней даже нечто вроде признательности.

– Ну вот, старая дура, вспомнила я вашего папу... вы с ним так похожи. – Она зацепилась за зубы губами, словно продела резинку – так туго, что белый хрящик выступил на носу. – Ну, хорошо, – сказала она, как бы пробуждаясь от недостойного ее звания сна. – Я прочитала ваш рассказ, что я вам могу сказать... – Я гордо взметнул голову. – Он мог бы получиться неплохо. Да. Можно смело сказать, что вы продолжаете купринскую традицию в русской прозе. Традицию оч-чень честную, оч-чень хорошую. Временами ваш язык становится на редкость образным, на редкость сильным. Много находок. Например, где вы пишете про лошадь, как там у вас... на морозе лошадь туго хлопала селезенкой... «Туго хлопала селезенкой» – это великолепно. Так и хочется, чтобы ее вел под уздцы красноармеец... Ну ладно, от вас никто не требует писать о красноармейцах, о красноармейцах, какими я их помню и знаю. Но скажите, что побудило вас, молодого человека, внука революции, без всякой видимой причины – и невидимой тоже! (красный дух ее распялялся) поместить своих героев, то есть своего героя в абсолютно чуждую и ему и вам социальную среду? Вы посмотрите, что вы делаете, – берете и переносите действие рассказа в бог знает какие времена, даете ему поповское название и в таком виде предлагаете в советское издательство. Вы что, не чувствуете во всем этом фальши... какой-то... – она запнулась.

Воспользовавшись этим, я подошел к столу и положил руку на рукопись. Сердце в груди отчаянно билось. Терять было нечего все равно, воспоминание об ангеле, посетившем меня ночью, истерлось из памяти не вполне. И я сказал:

– Екатерина Петровна, по всей видимости, произошла ошибка. Я шел не в издательство, советское или несоветское, как будто существуют еще какие-то издательства. Я шел к вам – женщине, которая, мне казалось, способна понять мое состояние. Участие, проявленное вами вчера, ваша чуткость, понимание того, что больше всего нужно человеку в такую минуту (шмыгнул носом)... Такое не забывается. Поэтому когда ночью, как при вспышке молнии, я увидел этот рассказ, весь целиком, то сразу подумал: она – поймет. Слепший от горя отец – это как если б я взглянул на себя в зеркало, где все наоборот... А повсюду папины вещи, его блокнот... Это было какое-то наваждение. Мне ничего не пришлось сочинять. И мысль: успеть записать и скорее к ней. Она – поймет. Что ж, вы преподали мне хороший урок. Гипсовый горнист, и тот вправе рассчитывать на большее. Только я не верю вам... такой. Я видел слезы на ваших глазах, когда вы это читали. И вдруг все исчезло. Вы решили, что перед вами идеологический диверсант, который – о ужас! – человеческое горе выносит за рамки производственных, социальных и прочих отношений. Конечно, я должен был назначить Слепцова директором завода, чей сын погиб при пуске в строй новых мощностей, детская смертность – это нетипично. А хоронить его директор приехал в родную деревню. Слуга превращается в личного шофера, сочельник – в Первое мая... О! Для меня самое малейшее изменение в этом тексте явилось бы предательством чувств, предательством отца и всего, пережитого этой ночью. Есть же в жизни хоть что-то, что построено на чувстве, куда вносить расчет низко, подло.

Я взял со стола листы движением человека, собравшегося уходить.

– Пойдите же! – воскликнула Екатерина Петровна, ловя мою руку через весь стол. – Вы взволнованы, вы должны успокоиться. Возможно, я была неправа в чем-то, возможно, не так с вами говорила. Давайте еще раз все спокойно обдумаем, давайте ваш рассказ. – Она взяла верхнюю страницу, последнюю в тексте, и стала ее перечитывать. – Ну вот, у вас тут и бог, да еще с большой буквы. Честное слово, где это вас так учили... – Но за этим ворчаньем чувствовалось – и я вдруг понял это, к своей безмерной радости, – что я победил. Она еще о чем-то заикнулась – речь, видите ли, хромает: «расправилки» («Так в детском саду могут говорить, писатель должен знать предмет, о котором пишет, вас же юннаты на смех поднимут...»), и тут как хлопнет по столу двумя ладонями сразу: – Ну, хорошо, посмотрим на это с другой стороны. Общая идея: смерть отступает, жизнь оказывается сильнее. При этом никакой поповщины. Жизнь как категория чисто биологическая. Мыза? Помещик? Это можно трактовать как попытку в первую очередь выявить общенациональное в характере героя... Обратно же: желание заставить героя действовать в классической для русской литературы среде. Чехов, Куприн. Воскресают перед взором полотна передвижников. Хорошо, ладно, мы это берем. В конце концов... Кстати, – спросила она, уже держа в пальцах нижний первый лист, – вы хотите, чтобы ваша фамилия была изменена, как у вас здесь, в рукописи?

– Да, это непременно. Строго говоря, это нельзя считать изменением фамилии, а скорее уточнением национальной принадлежности.

– Нет, ради бога, это ваше право. По-моему, ваш папа даже рассказывал, что его так в детском доме по ошибке записали – без окончания... Горелыч!

В дверь просунулась голова, угодливо склоненная набок.

– Горелыч, посмотрите, вот это, – ткнула пальцем в мой рассказ, – идет во второй номер. Гакова и Кин немножко потесним... Да, познакомьтесь, наш новый автор, Владимир Набоков.

IV

История, которую я хотел рассказать, подходит к концу. Второй номер «Большевички» вышел в срок, и пятого февраля я уже видел его на прилавках книжных магазинов. Рассказ «Рождество» занимал шестнадцатую, семнадцатую и половину восемнадцатой страницы. Генерал-майор авиации Гаков («История одной тренировки») и Цецилия Кин со своим «Сном Пассионарии» расположились по обе стороны от него, как два шафера.

Вечером того же дня в булочной ко мне подошел человек и проговорил быстрым шепотом:

– Поздравляю. Вы совершили невозможное. Это великий день.

Он сразу же убежал, только пожал мне руку; собственно, как такового пожатия не получилось: он не попал в мою ладонь, а я, от неожиданности, схватил его за кисть, потянув за нарукавник, почему-то не снятый им после работы и торчавший из рукава пальто.

Изъятие второго номера «Большевички» из магазинов и библиотек началось только через пять дней, когда большая часть тиража уже разошлась по рукам. Я хотел удрать в Ригу, но не успел и вынужден был испить всю уготованную мне чашу до дна. Впрочем, меня пощадили, лишь велели убираться из Москвы куда глаза глядят.

Устименко выложила на стол свой партбилет. («Простите, Екатерина Петровна», – сказал я ей во время нашей очной ставки. – «Я бы таких вешала», – ответила Екатерина Петровна).

Спустя несколько месяцев в Риге, в роддоме на Московской улице, родился один ребеночек. Мы зарегистрировали наш брак с его матерью и живем в мире

и любви. Ни одна душа на свете, включая ищеек из ГБ, не подозревает, кем на самом деле доводится мне этот маленький.

Раз, уже совсем недавно, гуляя с ним по Межа-парку, я повстречал Яна Бабаяна-Эскердо со своим маленьким бабаянчиком. Мы разговорились.

– А знаешь, Ян, кто это – Набоков, из-за которого меня постигла кара богов? – спросил я.

С секунду подумав, Ян сказал: – Конечно. Набоков – это псевдоним знаменитого писателя Сирина, убитого в двадцатые годы в Берлине русскими фашистами.

Май 1977

Иерусалим

РАССКАЗЫ

ГРУШЕВАЯ АЛЛЕЯ

Кажется, что во всем городе — грушепад. Да что в городе — на всем белом свете. Уже тысячи диких плодов устилают серую истоптанную землю по обе стороны старой аллеи, а солнечный град все идет, не переставая. И все новые сорванцы то там, то здесь несмышлеными цыплятами бросаются в ноги прохожим и без счета гибнут под каблуками, под колесами хозяйственных сумок, велосипедов.

Вот, ковыляя, тащит за собой тележку с привычной поклажей почтальонша Федотовна. Тележка тоже ковыляет, то одним, то другим боком наезжая на панданцы, и кажется, будто она исподтишка передразнивает свою старую хозяйку.

Впрочем, Федотовна незлобива и непамятлива на безобидные проказы. Местные прогульщики уроков, пользуясь этим, иногда звонят на доставку позабавиться:

— Скажите, это почтовый офис?

— Охвис, — с достоинством отвечает Федотовна.

Пацаны, переглядываясь, прыскают со смеху.

— А какая техника у вас есть для отправки корреспонденции?

Пауза.

— Ну етот... хвакс! — следует, наконец, мужественное признание.

Нынче настроение у Федотовны приподнятое. Поутру приметливая старушенция углядела на каких-то задворках выброшенный на помойку старый буфет. Окрестные алконавты помогли ей отбуксировать находку до ближних кустов, и теперь она надеется сделать на ней свой маленький гешефт. Неужто какому-нибудь хорошему человеку не пригодится на дачу этакий красавец? И всего-то рубликов за триста... ну хотя б за двести? У Федотовны и расписано уже, на что она потратит нежданный приварок. Первым делом ограду на Кирюшиной могилке надобно подровнять-подкрасить. А что останется — конвертирует она в жидкую валюту по хорошему «курсу» (Федотовна знает одно такое местечко) и потом будет рассчитываться ею с рукастыми соседскими мужиками: вот утوغ давно пора починить да из обуви к осени кое-что подлатать...

А навстречу Федотовне шагает, помахивая пакетиком, беспечная юная дева восемнадцати лет от роду. Это местная путанка Анжела (не путать с Анжеликой!) по прозвищу Лука, которое уж точно ни с каким другим не спутаешь. Прозвище досталось ей в честь одного дружественного лидера. Нет-нет, они никогда не встречались. Все дело в поредевшей от химии ее соломенной челке, которой приходится распорядиться теперь весьма экономно.

Анжела-Лука спешит в больницу к землячке Светланке. Та отлеживается в палате для венерических и вот уже третий день просит килограмм молочных сосисЕК. Светланке вообще-то грех хныкать: палата на четверых уж получше их с Анжелой комнатенки на восемь душ, не считая «мамкиной» овчарки. Сама-то хозяйка «точки» поселилась отдельно, поэтому барбосину приходится еще и выгуливать. И вот сегодня, блин, как раз ее, Анжелкина очередь...

Глаза у девушки блестят, шаг, хоть и бодрый, уже не вполне тверд. И торопится она, так как знает: вот-вот начнет ее неудержимо клонить ко сну. Но пролетят два-три часа — и будто не было бутылка беленькой, которой угостили ее в летней кафешке знакомые кавказцы. А там можно и на эту чертову работу.

Сама Анжела когда-то больше всего на свете любила бабушкину кулебяку, а теперь обожает шашлыки да все эти фастфудовские салаты, щедро заправленные майонезом. А еще нравится ей в свободные дни выходить вечерами к автобусной остановке и, сидя на лавочке, глазеть на проезжающие автомобили, особенно, конечно, на иномарки. Между прочим, начинала она в этих краях, но потом менты вдруг стали гонять не понарошку, и вся их «точка», все без малого тридцать девчонок, как рыба, ушли туда, где поспокойнее — в сторону области.

Как и многие девушки ее профессии, мечтает Анжела поскорее вырваться из оков сексуального рабства. И, конечно, самой стать «мамкой». Иначе, говорит она Светланке, пропаду. И пока повышает квалификацию под началом своего персонального сутенера Славика. Это когда они наезжают к себе в Новоульяновск за молоденьким пополнением, которое Анжела вербует под Славиковым присмотром на местных дискотеках. Когда-то так нашли и ее...

А это что за компания, будто с сусальной рождественской открытки? Два Саши, он и она, юные супруги, вывели на прогулку своего малыша, еще такого крохотного, что он похож на пупса. Ребята — студенты, дети «новых русских», но у родителей Саши-ее бизнес покруче. Поэтому, как утверждают злые языки, Саша-он уступил просьбе тестя и взял фамилию своих новых родственников. Был Преображенским — стал Шмавовядкиным. И маленький Николаша, когда родился, тоже стал Шмавовядкиным.

Вообще-то Николашины родители тоже чем-то похожи на пупсов, но сегодня у обоих — покрасневшие глаза и шмыгающие, припухшие носы. Они не простужены, нет. Просто только что, оживленно беседуя за обедом, супруги обменялись аргументами в виде содержимого своих газовых баллончиков. О чем был спор? О чем, о чем... Ясное дело, о бабле. Сколько нужно современному уважающему себя человеку для счастья и так ли уж все-все предпринял Саша-муж, чтобы этому человеку не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

А вот, наконец, и главный герой нашего рассказа — человек с собачьим поводком. Мы не видим его лица, потому что он как-то рассеянно задумчив и в эти минуты будто что-то разглядывает у себя под ногами. Из-за этого он кажется похожим на нахолившегося воробья, которых множество здесь, на роскошном грушевом пиру.

На днях человеку с поводком исполнилось сорок семь. Или сорок девять? Мы знаем, что у него серые глаза и жилка на виске. Еще он худ и часто небрит. По профессии этот человек — художник, кажется, музейный декоратор, в последнее время перебивающийся случайными заработками. Сам он свою деятельность характеризует просто и емко: «каляка—маляка». Так говорят дети, так говорила и его дочка, когда была маленькой. Теперь она уже давно взрослая и живет в далеком городе Лос-Анджелесе. Или в Лас-Вегасе — он и сам толком не знает.

Еще он говорит о себе так: «Я — промежуточный человек». Говорит, будто извиняясь: что, мол, с этим поделаешь? Промежуточный — потому что для жизни в том, старом времени родился слишком поздно, а чтоб как следует пожить в нынешнем — состарился слишком рано. Не эта ли превратность судьбы так занимает его мысли?

Если Художник (будем так его называть) кому-то и доверяет их, то только собаке Айке. Ушастая Айка терпеливо переносит вместе с хозяином все тяготы жизни. На спинке у нее — шелковая тесемка колечком с надписью «Игрушка мягко набивная для детей старше 3-х лет». Еще недавно у Художника была такая же живая Айка, но она осталась в его другой жизни, и то уже совсем другая история.

Его ежедневный маршрут всегда неизменен. Он ведет мимо магазина «Спорт», затем сворачивает с проспекта в переулочек и через грушевую аллею выводит пря-

миком к главному корпусу больницы. Потом уходит вдоль больничного забора направо, к дворику детского онкологического института; тут наш герой, погруженный в свои нешуточные раздумья, огибает кусты сирени и поворачивает восвояси.

На площадке перед институтом всегда безлюдно, вокруг лишь пыльный бурьян да фонари, зажигающиеся к вечеру через одного. Здесь тупик. Огромные трейлеры, стремясь сократить путь, часто сворачивают сюда, покупаясь на видимость солидной дороги, а она вдруг упирается в ворота автостоянки. И, как мухи, бьющиеся меж оконными рамами о стекло, они потом долго и неуклюже разворачиваются на крохотном пятачке обратно.

Напротив института, за высоченным забором из массивных бетонных плит — промзона. Там наше знаменитое авиа-КБ, ангары и прочие бесчисленные казематы из серого силикатного кирпича и все того же бетона. Правда, узреть во всем его великолепии этот заповедник эпохи сумрачного производственного монументализма можно лишь с крыш соседних зданий.

Именно отсюда, из дверей здешней проходной, каждый вечер с понедельника по пятницу, ровно в пять, минута в минуту, выплескивается в переулок и устремляется по узкому коридору к грушевой аллее, а затем по ней — к метро, колонна немолодых, неброско одетых людей с бледными, чуть одутловатыми лицами. Такие лица — может, от сырости, а еще от однообразной, небогатой витаминами пищи — он помнил, были у детей бараков заштатного украинского городка, с которыми ему довелось играть в детстве. Эта ассоциация с прошлым усиливалась зимой, когда происходящее напоминало кадры черно-белой кинохроники. Кажется, так брели по дорогам войны колонны пленных — неважно, наших ли, немцев — молча, отрешенно глядя прямо перед собой.

В каких-нибудь трехстах метрах бурлил, гудел клаксонами, искрился рекламными огнями центральный городской проспект, но и здесь никому не оказывалось дела до этих обретших плоть музейных манекенов, сосредоточенно осуществляющих свой безмолвный марш и исчезающих в жерле ближайшего подземного перехода у магазинчика под вывеской «Интим».

Странные, почти мистические реминисценции возникли у Художника, оказавшегося на пути этой процессии, когда однажды он не посторонился, как обычно, а, замешкавшись, позволил толпе обтечь себя с обеих сторон. Он ощутил как будто неясное прикосновение к щеке... еще уловил какое-то смутно узнаваемое движение, схваченное боковым зрением... услышал шепот, слов которого было не разобрать...

И это было, как случайно сошедшаяся комбинация цифр, отворившая скрипучую дверку в самые потаенные уголки памяти. Он увидел себя пятилетнего, в душной многочасовой очереди у хлебного прилавка... Потом вновь себя же, но уже на фотографии — набычившегося стриженного под полубокс мальчугана в матросском костюмчике за руку с мамой, и затейливую надпись в уголке: «Сочи. Ривьера. 1963».

А потом нащупал под языком — что бы вы думали? — кремовую розочку от лямбда, ту самую, из вафельного стаканчика за 19 копеек. И ощутил ее давным-давно забытый вкус.

И тут он сделал открытие, от которого у него даже немного закружилась голова: что эта странноватая процессия — на самом деле лишь фантом, возникающий ниоткуда и впадающий в никуда. Что это один из тех образов, что существуют только в нашем воображении — образ бесконечно струящегося человеческого бытия, не подвластного времени. Как детский паровозик, который движется по кругу, то исчезая в тоннеле, то возникая вновь, то удаляясь, то возвращаясь, он создает иллюзию континуума, непрерываемости всего, что на самом деле имеет свое начало и свой конец. Столь необходимую каждому из нас иллюзию того, что понятия «навсегда» не существует... Что наши самые непоправимые ошибки —

обратимы, а все лучшее, все самое светлое, что было в нашей жизни, все обязательно повторится — конечно, в измененных обстоятельствах, пусть даже совсем в иных лицах, красках, звуках... Что и теперь створка в торце последнего вагона, проплывающего мимо, вот-вот распахнется. И тогда... тогда...

А лягающие засовы памяти продолжали отворяться. И ему увиделся пионерский лагерь. На улице дождь, капли, разбивающиеся об асфальт, оставляют следы размером с блюдце, как бывает только на юге. В клубе вожатые, пионеры с влажными волосами, выстроившись паровозиком, отплясывают летку-енку. Мимо проносится ее хвост, кто-то легонько толкает его в спину, но он стесняется, медлит, и вот уже хохочущий хоровод уходит дальше без него...

Он вдруг почувствовал страстное желание задержать в памяти этот кадр и подчинился, еще не понимая — зачем. Ведь он уже не помнил ничьих имен, ни тем более лиц. И все же с этим последним воспоминанием было связано что-то важное, что-то, может быть, самое главное. И, наконец, он понял, что именно: ему захотелось увидеть среди этих не узнаваемых им счастливых лиц свою маленькую дочку, «каляку-маляку», в меховой шапочке на пуговке под щечкой, которую он бережно снимал с нее, приводя каждое утро в детский сад. Еще свою красивую загорелую маму — точь-в-точь такую же, какой она осталась на той пожелтевшей курортной фотографии. И даже где-нибудь поблизости — радостно виляющую хвостом свою непоседу Айку в забавном комбинезончике и кепочке с козырьком, которые она с такой неохотой давала надевать на себя в дождь, потому что на улице над ней, бывало, потешались бестактные прохожие.

Ему вспоминались лица тех, кто оставил пусть даже мимолетный след в его жизни, и оказалось, что каждому находится место в этой безмятежной, сказочно благополучной стране. «Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать...»

Конечно, они тоже были где-то здесь: и белобрысая Анжелка, которая, проголодавшись, только что отправила за щеку неслабый кус своей любимой бабулиной кулебяки, и раскрасневшаяся девушка Маруся, статная, в новом ситцевом платье и голубенькой косынке, которая так идет к ее глазам, и никому еще не приходит в голову называть ее Федотовной, и склонившийся над ее ушком улыбочивый старлей, который скоро увезет ее далеко-далеко... А где-то неподалеку под звуки аккордеона уснул на руках своих счастливых родителей юный Николаша Преображенский. «...Как тебе не стыдно спать... смешная енка вас приглашает тан-це-вать...»

* * *

... — Значит, так, гражданочка, вы нам сейчас повторите все, что рассказали в отделении. Вот сюда мне смотрите, прямо в камеру. Только встаньте во-от так, бочком, чтоб микрофон не задувало. Поближе к сержанту. Можете сесть вот на лавочку. Ну, поехали... Новак Мария Федотовна, 1932 года рождения, проживающая по Песчаному переулку, дом 43-а, квартира 14, опрашивается сотрудником детективного агентства «Гриф» по заявлению гражданки Шмелевой Л. Г. о розыске ее бывшего супруга. Это вы сообщили в милицию о находке вещей гражданина Шмелева?

— Ага, я это... сообщила...

— Вы узнаете эти вещи? Пакет полиэтиленовый с надписью «Вега», игрушка мягкая в виде собаки, три рисунка карандашных и паспорт на имя Шмелева А. Д., завернутые в газету «Перекресток». Вы нашли это здесь, на скамейке?

— От туточки, под лавкой...

— Вы опознали этого человека по фотографии в паспорте? Вы уверены, что знаете этого гражданина? Когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Нет-нет, микрофон сержант будет держать...

— Тухламон усе его звали...

— Тутанхамон. Это мы уже с вами выясняли.

— Ага, Тутанхамон. Жил он в тридцать третьем доме, это как раз мой участок. На пятом, нет, на шестом этаже. Там такие коридоры длиннющие, как в гостиницах, и все с закутками...

— С холлами?

— Ага, с холлами. От он в такой закутке и жил, в коробке картонной. И, как спал, накрывался тоже картонкой.

— Когда вы его видели в последний раз? Подождите, пусть машина проедет...

— Да уж недели три, как не видала. А тут гляжу — вещи вроде его, сумку-то я сразу распознала...

— Что вы можете еще о нем рассказать? Чем гражданин Шмелев А. Д., известный вам как Тутанхамон, занимался, на какие средства существовал? Были ли у него знакомые, у кого он мог поселиться?

— Не, про знакомых не знаю. Анжелка, шалава тут была местная, сказывала, что Тухламон как-то подошел к ним, в переходе-то. Пьяньский был. Смотрел-смотрел, а потом и попросил ее: поговори со мной. Девки смеяться стали: «Какой мужчинка!» Анжелка ему тоже сперва отказала: говорит, я на работе. А он ей: «Я тебе колечко золотое подарю». Она ему: «Ладно, токмо колечко-то вперед». Ну, посидели они, поговорили, а чего там — не ведаю.

Я так думаю, что, окромя того колечка, ничего-то у него не было. А на что жил? Бутылки, знаю, собирал. Да уж все как-то оно по-дурацки, прости господи, не умел он этого. Ходил-бродил там, где бутылки-то этих отродясь не бывало, все по пустырям каким-то. Но по помойкам не побирался. И не попрошайничал. Я ему хлебушка, бывалоча, принесу, другой чего даст — так и жил.

От эту собаку мягкую он за батарею прятал, когда уходил. Шмавовдякин Сашка из сто седьмой квартиры спрашивал его: это ваш пес ночью стучит лапой? Но собаки живой у Тухламона точно не было, я-то знала бы. А Тухламон ему отвечает: «Извини, у нее блохи».

Бывалоча, бормотал чегой-то во сне, а чего — не разберешь. Я, как проходила мимо, он все про время спрашивал. Каждый раз. Я удивлялась, а потом думаю: мне от дохтур лекарства прописал по часам принимать, може, и ему так.

На тот Новый год, сказывали: чуть пожар не устроил. Ветки елочные откудать принес, свечку зажег. Да, видно, задремал. А от свечки-то бумажка занялась, та, что с дочкиным-то портретом, а там уж и елка начала дымить... А вобщем смирный был, в подъезде, как другие, не гадил. За это жильцы-то его и терпели, не гоняли...

— Ладно, Федотовна, спасибо. Все, сержант, конец съемке, сворачиваемся.

Если объявится ваш Навуходоносор — дайте знать. Но интуиция подсказывает мне, что уже не объявится. Так что гражданка Шмелева Эл Гэ скоро сможет спокойно продавать свою квартирку...

Милицейский узик заурчал и медленно покотился по аллее. Федотовна жестом женщины, которой уже все равно, что о ней подумают окружающие, расправила сзади старенькое пальтишко и, подхватив свою неразлучную спутницу тележку, двинулась в противоположную сторону.

Порыв ветра закрутил редкие бурые листья и погнал их мимо опустевших по осени лавочек, мимо островков давно очищенной от падалицы пожухлой травы...

КАК Я СТАЛ ВЕЛИКАНОМ

— Это линия прямой связи с Президентом? Я хочу знать: когда наконец наступит другая жизнь? Да не в стране! Лично у меня. Ну при чем тут зарплата? Вы там, в Кремле, я извиняюсь, совсем тормозите, что ли? Ведь известно, что человек

проживает на самом деле несколько жизней... Слыхали: «...в сле-едающей жи-изни я стану кошкой, кошкой, ла-ла...»? Ну вот, бросили трубку...

Я только хотел сказать, что ради следующей жизни готов стать и кошкой, и Жучкой, а если уж других вариантов нет, то даже непосредственно Репкой. Главное — что я точно не стану снова собой нынешним.

А меня нынешнего можно запросто встретить у «Горячего куриного великана». Знаете эту фаст-фудовскую кафешку на Тверской? У входа здесь всегда разгуливает такая большая кура — вроде как у Чаплина в «Золотой лихорадке». «Мущина, угостите даму котлеткой...» — в общем, обычное зазывалово. Так это я и есть. За-рабатываю на хлеб насущный для своих пяти голодных ртов, включая тещу и таксу.

Господи, ну что, если я действительно устал все время быть одним и тем же? Я устал каждое утро просыпаться Гошей и нестись вприпрыжку одной и той же дорогой к метро. Я устал жаться с несчастной маленькой собачкой на крохотном островке истоптанной земли посреди мостовых. Устал подгадывать семейный отдых к отключению горячей воды, а еще помнить о четвергах, когда я должен выносить это проклятое мусорное ведро. По ночам, начиная с понедельника, мне кажется, я слышу доносящиеся с кухни стоны: это зывают о сострадании кочерыжки моих неудовлетворенных амбиций, скорлупа моих так и не вылупившихся талантов и страстей...

Бог с ним, с ведром. Главное, конечно, в том, что в этой жизни я по большому счету облажался. Признаю. Не знаю, может, у меня и в самом деле куриные мозги. А может, виной всему дурацкая привычка не жить по-человечески, а только косить от всего на свете? В школе — от контрольных, в институте — от курсовых, от практики, и там, и здесь — от физкультуры, от общественных поручений, от субботников... В психушке я косил от армии, потом, разобравшись, — в армии от психушки. Не раз косил от загса, от потенциальных алиментов... В конце концов я так вошел в роль, что виртуозно откосил и ото всего остального, что могло бы составить одну вполне благополучную человеческую жизнь...

В результате к тридцати семи годам из некогда нормального парня получился недомерок, пигмей, этакий куриный Кинг-Конг.

Не удивительно, что современники утратили к моей персоне всякий интерес. Милиция всегда грубо игнорирует меня на предмет проверки документов, хотя я бываю и небрит, и пиво, случается, дую из горла в людных местах. Контролеры в общественном транспорте, деликатно отворачиваясь, тоже не задают лишних вопросов. Человечество смотрит сквозь меня, будто через стекло, и ему до фонаря, что сегодня, к примеру, я наконец подстригся или, в кои-то веки, подарил себе, любимому, новый мобильник...

Но ведь я есть! — хочется воскликнуть мне. Но ушей окружающих достигает одно лишь рекламно-жизнерадостное кудахтанье...

Домочадцы — и те, едва переступая порог, бросаются мимо: кто к холодильнику, кто к телевизору. Даже собака, чуть прикрикнешь на нее, — тут же, обиженно отводя глаза, несет в зубах ботинок: свободен, мол. Косит под дурочку, якобы не понимает, что к чему.

— Лахудра! — в сердцах кричу я. — За свои гнусные намеки останешься сегодня без ужина!

— Гошенька, это ты мне? — выглядывает из кухни глуховатая теща.

— Ну что вы, мама, как вы только могли такое подумать?! Впрочем, вы так храпели сегодня...

Что в жизни человека есть зрелость? — размышляю я после позднего ужина, опуская натруженные ноги в тазик с горячей водой, заботливо приготовленный тещей. — Неужто лишь количество переваренного хавчика, как это называет мой Антошка? Неужто вся разница между мной и тринадцатилетним сыном — 2137 выданных на-гора ведер с пищевыми отходами да еще 14452 выгула собаки?

«Девушка, уступите дядечке место в автобусе: я все-таки съел на семнадцать тысяч блинчиков с мясом больше вашего...» Подумать только: позади семнадцать тысяч обожаемых мною блинчиков, которые я до сих пор готов лопать три раза в день, — и ничего не сделано для бессмертия!

Я говорю обо всем этом теще, которая внимает, кивая, каждому моему слову. Но тут обнаруживается, что старушка давно дремлет, и это у нее просто трясется голова...

Прочел тут в журнале: затянувшаяся депрессия, мол, — первая предвестница того, что нынешняя жизнь человека исчерпана и что на смену ей грядет новая. Но мое прежнее «я» не просто успело почить в бозе — оно уже мумифицировалось, а депрессуха все никак не проходит.

Чтобы хоть немного встряхнуться, принимаюсь украдкой разглядывать посетителей своего фаст-фуда, попутчиков в метро и просто прохожих. Примеряю к ним свою осиротевшую телесную оболочку, прикидываю, чьей жизнью мог бы воспользоваться. Понимаю, конечно, сколь фатально все мы, в сущности, похожи, но все же, все же...

Обнаруживаю, что после таких экспериментов возвращаешься домой, в тишину, как оглушенный. И в твоём усталом мозгу преломляются сотни голосов, чьих-то гримас, взглядов, ухмылок, запахов, движений, звуков. Они не запоминаются осознанно, но отлагаются в сознании, как невидимые отпечатки пальцев. От них хочется почистить поры памяти, как перья.

Захватанный, залапанный этим миром, ты почти физически ощущаешь на себе частицы биоматериалов себе подобных: чьи-то выпавшие волосы, фрагменты слюны, вылетевшей в разговорах за спиной, маслянистый налет поручней и перил от сотен, тысяч рук...

Вот, думаю, дожил. Впору звонить в службу спасения: «Помогите: я не люблю людей!»

А назавтра случается нечто. «Пап, ты чего так странно стал смотреть?» — вдруг спрашивает утром мой старший «бройлер». «Что значит “странно”?» — настораживаюсь я. «Ну, не знаю... Не прямо, а как-то боком...» И он показывает. Бог мой, это же точь-в-точь взгляд моей хохлатки с Тверской: куры действительно ведь смотрят одной стороной головы! Вот уж батя вошел в роль...

И тут меня осеняет: а ведь я уже живу своей следующей жизнью. И эта жизнь оказывается явно не человеческой. Что называется, накаркал...

И сразу выстраиваются в одну цепочку все странности, которых я почему-то упорно не замечал все последнее время. И моя новая привычка будто что-то разглядывать у себя под ногами, («Не грибы собираешь!» — одергивала меня жена, заставляя во время прогулок искать глазами окна не ниже третьего этажа.) И дочкино наблюдение, что я вышагиваю, как цапля (а выходит, то была даже не цапля...). И то, как недавно потешались в бухгалтерии над моим почерком...

Я даже припомнил день, когда у меня ни с того ни с сего резко поднялась температура, также сама по себе быстро сошедшая на нет. И об этой температурной свече как о переломном моменте между прежней и новой жизнью тоже, кстати, говорилось в той журнальной статейке.

Возможно, все это лишь игра моего воображения, и на самом деле я просто устал. Стало быть, надо менять работу, а это значит, что мы с вами теперь можем так и не встретиться, и вы никогда не узнаете, чем же закончилась моя история...

Но знаете что? Если когда-нибудь в вашей тарелке окажется сочащийся прозрачным янтарным жиром, покрытый румяной корочкой пахучий, аппетитный горячий куриный великан — прежде чем вонзить свою вилку в нежную плоть, сделайте маленькую паузу ... вспомните обо мне. А вспомнив, в знак солидарности бросьте искоса один-единственный взгляд на мир так, как это делала хохлатка с Тверской...

Спасибо. И приятного аппетита.

А ГДЕ БАБУЛЯ?

Осознав, что любимца не воскресить, она взревела, как раненый зверь

Часа в два пополудни дверной звонок бабушки Карповны напомнил о себе булькающим фальцетом. Казалось, будто кто-то полощет простуженное горло.

Забравшись на крохотный табурет, для этих целей специально приспособленный, старушка прильнула к глазку. На площадке топтались две тетки в шикарных шубах.

— И кой-та? И чевои-та? — певуче отозвалась Карповна.

— Из собеса мы, бабуля, — засюсюкала тетка, что постарше. — Вам звонили с утра. Получите социальную карту и распишитесь...

Залязгали засовы, загремели затворы, и из-за приоткрывшейся двери показался сперва востренький носик, а затем и седая челка, выбивающаяся из-под платочка.

Формальности уладили быстро. Уходя, все та же фиксатая тетка, назвавшаяся Ларой Ивановной, напросилась помыть руки.

— Вот незадача, — заискивающе улыбаясь, обернулась она к хозяйке. — Кран не открывается...

— Как это? — удивилась Карповна. — А ну, милая, дай-ка я...

С краном-то было все в порядке. А вот дверь ванной почему-то вдруг оказалась запертой снаружи на задвижку, следом погас и свет.

А еще через минуту, включив на кухне «ящик» погромче, гости в четыре руки уже шмонали квартиру в поисках бабушкиных «гробовых».

Первым делом, как водится, обследовали кухню, затем кладовку. Бак с грязным бельем. Платяной шкаф. Подкладку старого пальтеца в прихожей. Нигде ничего.

Наконец, сокровища нашлись. Они оказались обернуты в чистую бельевую тряпицу, тряпица — в слегка пожелтевшую газетку рекламных объявлений, а уж газетный комок хозяйка запихнула в свой старый ботик — из тех, что надевали в дождь в дни ее юности.

Ботик же бабушка Карповна почему-то хранила у себя под подушкой.

Покидая квартиру, мошенницы прислушались к звукам в ванной. Но телек на кухне орал так, что услышать еще что-либо было мудрено.

— Не окочурилась бы! — буркнула «Лара Ивановна» и, еле слышно отодвинув защелку, заглянула внутрь.

Ванная была пуста! Под потолком тетки обнаружили маленькое оконце, ведущее в туалет. Точнее, это было просто незастекленное отверстие, лишь символически задрапированное занавесочкой. Миниатюрная старушка явно сперва вскарабкалась на свою ископаемую стиральную машинку, а уж оттуда сумела протиснуться в узкий проем.

У мошенниц душа ушла в пятки. Им уже явственно представились засада в подъезде, ментовский наряд, заламывающий им руки, заплеванной холодный пол «обезьянника»...

Какова же была их радость обнаружить бабулю... приникшей к «ящику» на кухне. По первому каналу повторяли вчерашнюю серию «мыла», которую Карповна, задремав, пропустила, к своему горю. И теперь музыкальная заставка к фильму буквально подняла ее в воздух...

Покрутив пальцем у виска, гости хотели было удалиться. Но зловредная старушенция, похоже, что-то сотворила с дверью: один замок никак не желал поддаваться.

Провозившись с ним минут десять, тетки ворвались на кухню и потребовали от Карповны выпустить их на свободу. Хозяйка, вперившая горячий взгляд в экран, ответила им столь же решительным отказом. Развязка в фильме неумолимо приближалась: дон Хуанито, отец Сильвии, вот-вот должен был застукать влюбленных,

и тогда... На глазах Карповны уже заблаговременно показались слезы... В общем, теткам велено было ждать.

Та «собесовка», что помоложе, подскочив к телеку, возмущенно ткнула кнопку «выкл». Карповна, вскочив, тут же восстановила статус-кво. Молодوخа повторила выпад. Карповна снова ответила «вкл». В завязавшейся затем схватке стороны попросту уронили допотопный бабушкин «Рекорд» на пол. Голубой глаз мигнул присутствующим на прощанье и погас.

Карповна поначалу оцепенела, но уже в следующее мгновение бросилась на грудь своему сердешному другу, пытаясь вдохнуть в него жизнь. Она причитала над ним, как солдатка, на глазах у которой подстрелили единственного кормильца.

«Собесовки»-бесовки наблюдали эту сцену, хихикая. Эх, лучше бы они помолчали. Осознав, что любимца не воскресить, Карповна взревела, как раненый зверь.

Первое, что попало бабушке под руку — холимый и лелеемый ею дотопле лимон в горшочке. Ухватив растение за стебель, она с размаху обрушила горшок на голову молодухи. Раздался треск, и на пол посыпались осколки. Нет, треснул не череп, но удар оказался все же весьма неожиданным. Отсюда и сердечный приступ, с которым крало позднее доставят в реанимацию.

Фиксатой «Ларе Ивановне» тоже не повезло. Отшатнувшись, она потеряла равновесие и растянулась на полу, после чего с Карповной на плечах попыталась уползти в безопасное место. Не тут-то было. Своими цепкими пальцами бывшей доярки та что было силы ухватила ее... нет, всего лишь за нос, и слегка крутанула.

Тетка взвыла. А бабушке было и невдомек, что применила она приемчик рукопашного боя, весьма популярный в некоторых закрытых помещениях, например, в тюремных камерах.

Далее, орудя носом противницы, как коробкой передач, Карповна заставила незадачливую тетку «подвезти» ее до телефона и даже набрать «02».

Когда вслед за милицейским нарядом к дому подкатила вызванная Карповной же «скорая», оказалось, что одних носилок не хватит. Медикам пришлось вызывать подмогу.

А через несколько дней двое сержантов в милицейских погонах торжественно внесли в квартирку Карповны ценный подарок, которым награждали бабушку за задержание опасных преступниц. Узнав, что именно ей вручают, Карповна притянула милицейского начальника своими цепкими пальцами и расцеловала его в бриллистые щеки.

АНТОНИНА И ЕЁ ПУПЫРИ

...А один чиновник даже доверил ей свое детское кредо: «Слушаться старших и копить деньги»

У Анютиной соседки по палате Антонины Федоровны до больницы было обычное занятие: она жалела и подкармливала пупырей.

Вы подумали, что это такие забавные зверьки, вроде кроликов или хомячков? Вот и Анютка удивилась, что не слышала о них раньше. А всякий раз, когда эта широкоскулая девчушка из вологодской глубинки чему-то удивлялась, она приподымала свои соболиные бровки и восклицала: «Вока!», что было, видимо, чем-то между «Эка!» и «Вот как?»

Но оказалось, что пупыри — это люди. Нет, не бомжи. Скорее что-то вроде больших гномов. Любят лакомства, особенно домашненькое, очень добрые, привязчивые. Легко идут на контакт, невозможно доверчивые, а едят — так просто с руки.

Началось все с того, что Антонине Федоровне не давали полновесную пенсию. Что-то там в документах оказалось напутано. Пришлось бывшей учительнице на-
«Зарубежные записки» №9/2007

чальных классов отправляться по всем этим чиновничьим кабинетам, по этому жуткому кругу от одного акакия акакиевича к другому.

Ни черта, конечно, она не добилась. То есть убалтывать-то ее убалтывали, а дело не сдвигалось ни на йоту. Но тут Антонина Федоровна поймала себя на том, что ей все равно хочется ходить по этим казенным комнатам. И бог с ней, с пенсией. Потому как, может, даже важнее для одинокой пожилой женщины оказалось само участливое человеческое внимание.

Попробуйте-ка в большом городе заговорить о своих бедах с каким-нибудь прохожим. А чиновник — он не отвернется. Работа у него такая. А уж если прине-сешь с собой чего вкусенького — и вовсе растает.

Поначалу эти визиты привносили хоть какое-то разнообразие в жизнь Антонины Федоровны, казавшуюся такой пустой после выхода на пенсию. Ни кошечку, ни даже цветок в горшочке завести она не решалась, так как в любое время приходилось ей быть готовой снова и снова ложиться в больницу.

Пупыри же были в этом смысле непрехотливы, ибо находились, образно говоря, на самопрокорме. И только ближе к праздникам Антонина Федоровна становилась к плите и, налепив домашних пирожков да ватрушек, отправлялась в путь.

Управа, собес, ЖЭК, пенсионный фонд, гороно... Со временем этих самых пупырей набралось у нее аж восемь душ. «Теть Тонь, а чего ты их пупырями зовешь?» — полюбопытствовала однажды Анютка. «А бог его знает, дочка, — немного легкомысленно отвечала пожилая женщина. — Как-то так на сердце легло...»

Не сразу, но пришла Антонина к удивительному наблюдению, что все эти чиновники по жизни не очень счастливые люди. И все оттого, что лишены они нашего бескорыстного отношения. А что черствые они бывают или алчные, так это сами мы их и испортили. Хотя Антонина Федоровна точно знала: в большинстве своем все равно они более чуткие, чем остальные.

В последние деньки, когда Антонина вставать уже почти перестала, все переживала она, что пупыри ее останутся на свете одни-одинешеньки. Уж неведомо, как эти люди узнали о ее недуге, только стали они то по одному, то по двое-трое приходить к их старому больничному корпусу, прозванному в народе Капитолием. Они стояли внизу под окнами и махали руками, что-то крича. Но форточку доктор Лев Геннадьевич, похожий на седую цаплю, открывать не разрешал, а без этого слышно с улицы ничего не было.

Антонина прогоняла пупырей жестами, но они не уходили и дотемна только пританцовывали между сугробами.

— Это кто, Федоровна? — спрашивали сестры, поглядывая на улицу у Антонины из-за плеча.

— Это мои друзья, — с гордостью отвечала она, и измученное лицо ее впервые за многие дни освещалось улыбкой.

Анюта заметила, что чаще других приходил высокий полноватый мужчина лет пятидесяти в пальто с каракулевым воротником и такой же шапке пирожком. Это был Дмитрий Емельянович из управы. Только Антонине Федоровне он под большим секретом доверил свое главное жизненное кредо, сформулированное еще в одиннадцать лет: «Слушаться старших и копить деньги».

Дмитрий Емельянович оказался очень смешной: все рисовал какие-то узоры на снегу, корчил рожи. Даже пытался танцевать. Антонина Федоровна ничего не понимала, но тоже махала ему в ответ. Иногда он украдкой отворачивался и смахивал невидимую слезу. Анюта поняла, что он все знал.

Старая учительница постеснялась признаться Анютке, что пупырями, как называли на местном наречии целлулоидных голышей, этих самых замечательных барби ее предвоенного детства, она любовно звала своих птенцов, свой самый первый выпуск.

Спустя много-много лет, общаясь уже с пупырями нынешними, она прочтет у писателя Шекли историю о том, как граждане некой придуманной страны получили возможность лишать неугодных чиновников жизни. Эта сказка почему-то заставит ее разволноваться.

К этому времени Антонина Федоровна уже будет знать, что детство и юность не уходят от человека бесследно, что они продолжают сосуществовать с его зрелостью, а затем и старостью. И Антонина, каким-то своим особым внутренним зрением, будет с каждым днем все ближе узнавать в этих застегнутых на все пуговицы манекенах своих прежних малышей — любознательных, ласковых, непоседливых. Она отчетливо увидит их тонкие шейки, их горящие глаза, их руки, тянущиеся с парт, услышит их звонкие голоса, будто и сегодня разносящиеся по коридорам окраинной деревянной школки, где она начинала...

В ее последнюю ночь Аня слышала, как Антонина Федоровна, прикрывшись одеялом, что-то бормотала, всхлипывая, девушка разобрала только: «Простите... простите меня...» Под утро она ушла — так же несуетно, как и жила эти последние годы. В рукавчике ее любимой вязаной кофты потом нашли записку, которую она давно уже накарябала затупившимся карандашом: «АНЮТКА ВОЗМИ МОИХ ПУПЫРЕЙ». А дарственную на свою квартирку в старой хрущобе, как оказалось, она оформила еще раньше...

ЦАРСКИЙ ЖЕСТ

ОТВЕТНЫЕ КОЛОКОЛА

Молния,
как венка на лице,
дрогнула,
и гром — не гром, а снайпер —
грохнул
сквозь оптический прицел
капель.
Но и лес,
согнувшись до земли,
потемнел от ярости
и ловко
начал тучи старые пилить,
словно раздражённая ножовка!
Там, где, ненавидя шум и гам,
веточка по-тютчевски молчала,
там
ветка закричала!
Сразу звуки дикие пришли,
сразу, ураганом атакован,
с треском отрываясь от земли,
лес
закувыркался,
будто клоун!
Тихий,
он себя провозглашал,
нежный,
угрожал он потасовкой.
И чем больше ливень оглушал,
тем сильнее лес визжал ножовкой.
А когда посыпались с небес
солнечные теплые опилки,
замер с наслаждением мокрый лес,
гнезда поправляя на затылке.

И уже березки, как детсад,
парами шагают по тропинке,
и у них сережечки висят,
точно рукавички на резинке.

СОСНЫ – КАК ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Сосны стоят, как зеленые тучи,
льющие наземь прямые стволы!
Ели приземисты. Ивы плакучи.
Сосны всегда высоки и светлы.

Нету у них ни сучка за душой:
лишь только ветка на крону взберется –
тут же уступит дорогу другой
и, потемнев, отпадет, как короста.

Сосны сжигают мосты за собой,
чтоб не попятиться, чтобы не сдать.
Сосны – не сосны, а Дмитрий Донской,
что перешел через реку сражаться!

Но в тишине, когда ночь разгорится,
хочется соснам по спящим ветвям
тайно на темную землю спуститься,
чтобы поплакать немножечко там.

Только ветвей не найти на стволе.
Сосны качаются с болью немой.
И опуститься не могут к земле,
да и подняться на небо не могут.

ЛИНЬ

Этот лить, этот ливень подводный,
этот женский ажурный чулок,
из залива мелькнувший свободно,
словно сделала заводь шажок!

Только снасти готовы. И точен
Осторожный заброс рыбака.
И как жабры твои кровоточат,
никогда не узнает река.

И полюбишь ты хриплые краны,
что прикажут, тебя оживив,
в форме ванны проплыть, в форме ванны –
без песка, без ракушек, без ив.

И когда тебя с грустью иль сдуру
в реку выплеснут, чтоб не пропал,
ты начнешь высекать, как скульптуры,
из реки за овалом – овал.

ПОЗДНИЙ ЗВОНОК

Словно пасмурный ээк, отпахавший
десятину свою за разбой,

как на страшную волю-паханшу
выхожу я на встречу с тобой.

Через десять годков позвонила...
Я свой срок — от звонка до звонка —
отмотал, получается? Мило.
Шило — в мыло. Я — тертый з/к.

Чтобы будущего не похабить,
я над прошлым возвел саркофаг.
За версту стал я чувствовать бабий
влажный запах, как запах собак.

Но звонок оглушающий пробил
и пробил зачехленный пробел,
и взметнувшейся воли Чернобыль
на чернику неволи осел.

Не пущайте меня за ворота,
вертухаи былого чутья.
Целься в пояс, конвойная рота,
чтобы в мозг не пошла малафья!..

Мне за ржавую, частой решеткой
йодной сетки на хриплой груди
так вольготно, так шатко, так кротко!
Что же машешь ты мне: «Выходи!»?

Как стерпеть, если сжился, что умер,
иль от сна затяжного затёк,
замозживший от нежности зуммер,
оживляющий поздний звонок?!

БИТВА ДВУХ ЗАПАХОВ

Стою против ветра, чтоб запах духов отнесло!
И если бы мог видеть запахи твой ноздреватый супруг,
спросил бы с прищуром: «Зачем в небесах тяжело
оранжевый шар баскетбольный летит, словно птица на юг?»

А мне его баба нужна была, но для чего?
Чтоб чем-то загрызть, хоть с грехом пополам, предыдущий свой
грех.
Ну что его баба? Так-эдак, мускатный орех.
Какая там Гретхен?! Глушилка, искусственный мех,
помеха кривая, но самая, может, из всех
кривая, что так исказила чело.

Я запахом запах, как пламя внезапное курткую, сшиб.
Вдруг мент остановит с волшебною трубкой: а ну,
дыхни-ка, и я подставным ароматом дыхну,
где хвоя и хна — я польстился на хвою и хну! —

но прежней возлюбленной не раскрывается шифр:
тут в Турции нужно настурции стырить в большую луну,
в Моравии — горсть муравьев, а в Словении — сливу одну
и спиртом залить, обронив туда розовый шип.

Два запаха женских — два рыцаря в длинных плащах,
пращи раскрутив, проскакали галопом по мне
и бьются друг с дружкой насмерть на тонких мечях.
Пусть бьются. Пусть насмерть. Мне побоку. Я — в стороне.

* * *

Отворю ли окно на лесок,
что в похмелье тумана вздыхает,
иль вдохну в себя целый цветок —
как красиво! А не спасает.

«По реке, отходящей ко сну,
как пощечина, лещ ударяет...»
Напишу. Перечту. Зачеркну.
Как красиво! А не спасает.

Выходи на помост, красота,
если друг мой на грани обрыва
набухающей тучею рта
прогремел мне вчера: «Как красиво!»

Но цветёт, отстрадавши, земля
красотою такую несметной,
что ее упрекнуть-то нельзя
никакою запиской предсмертной.

Я и сам не пойму, отчего
посреди просветленного мира
угасает влюбленная лира,
двух красот нарушая родство?

Как земли не найти на земле,
так меня не ищите со мною.
Если был я всю жизнь не в себе —
это значит, что был я с тобою.

А где мне предначертано быть —
тосковала лишь форма пустая.
Приезжай поскорей, дорогая,
меня с ложечки покормить.

ОТПЕВАНИЕ ПУГАЛА

Кашель друга, кусочек засохшего торта,
цвет и запах рубахи — оранжевый и травяной,
муравьиный и щучий при близком вдыхании, твой,
то есть мой, то есть это не вскрытая криком аорта

с ясной кровью, где солнце летит по кривой
вкруг Земли — не Земля. И ни Бога, ни черта —
три кита и кагора когорта,
и ты становилась женой,
дальше стерто...

Кашель друга, густой, красноярский, он — мостик скрипучий.
Я по жердочкам кашля, рябящим, березовым быстро пройду
на тот берег, где кашель, начавшийся в прошлом году,
переброшен в теперешний. Там в золотистом поту
я тону с дикой женщиной. Кашляя же, кореш мой, пуще!
Я в блаженстве, пока тебе не вмоготу.

А рубаху, в которой прощался, носить не могу.
Подарю ее пугалу. Пугалу будет в дугу.
Но уж торта остатки по голому полу катать
стали в свадебном визге добрейшие мыши без страха.
Кашель друга иссякнет. И с пугала снимет рубаху,
прополощет в трех водах и выжмет, и высушит мать.

ЦАРСКИЙ ЖЕСТ

Сегодня день такой,
что я прощаю всех.
Алмазною иглой
сорит он из-под стрех.
И нет медуз нежней,
чем нити паутин,
сковавших меж ветвей
лишь дождичек один.
И мне за то, что брань
я встретил, как зарю,
вдруг чмокнул кто-то длань,
как будто бы царю.
А посему — указ
слагаю, а не стих.
Итак, читайте:

«Аз,
кого мой гнев постиг,
кого упек в острог,
построенный в мозгу,
кого — в бараний рог,
на кол — и ни гугу,
кого крушил сплеча
без палицы-меча,
тому кафтан с плеча
дарую, хохоча!

Прощаю вас, цари,
за бред и недород
от Иоанна — и
на сотни лет вперед!
Не гневаюсь — за что? —

на бедное родство
от Кукольника — до
Неведомо Кого.
Как ворох голубей,
отпущены грехи
свергающим — взашей
с крылец мои стихи.
Чем жалую? Травой.
И хлебом в узелке.
И лесом над рекой.
И рыбою в реке.
И птицею в глуши.
И ягодой к тому ж.
А тех, кто без души, —
Деревней в тыщу душ.

Прощаю вас. А вы
Благодарите все
За это дух травы
В мигающей росе».

АДСКИЙ РАЙ

ПОВЕСТЬ

*И закрывши Его, ударили
Его по лицу и спрашивали
Его: прореки, кто ударил
Тебя?*

Евангелие от Луки,
22:64

Однажды, когда жить стало совсем невмоготу, я, по совету моего старшего приятеля, отправился вместе с ним в самое последнее место на всем белом свете — в Sozialamt, где выдают на пропитание нищим и дают кров бездомным.

По пути, когда я тщетно пытался собраться с мыслями, он учил:

— Ты должен им доказать, что у тебя ничего нет.

— А чего тут доказывать?.. Это же ясно.

— Нет, это надо доказать. В то же время надо также обязательно сказать, что это — временные трудности. Ты понял — временные! Потому что если это навсегда — то они откажут. В общем, знаешь, что говорить?

— Знаю. Всю правду. Это самое убедительное, что я могу им рассказать.

— Посмотрим, хуже не будет.

— Да уж куда хуже, — усмехнулся я, и крест потяжелел на моем плече.

Припарковав машину на крыше одного из торговых домов, он тщательно запер ее, пробормотав:

— Nun gehen wir! — (Будучи русским, он уже 25 лет жил в Германии и иногда вставлял в русскую речь немецкие слова.) — Теперь идем!

И мы пошли. Идти нам было сквозь три этажа, забитых людьми и товарами, но я всего этого не видел, обдумывая предстоящую встречу и вновь перебирая аргументы, каждый из которых был, к сожалению, правдой. Но какое все это могло иметь значение для чиновника из германского ведомства? Я был уверен, что все это впустую, что он скажет: «Да катитесь вы себе домой и решайте там свои проблемы!» — и будет прав.

— Нет, не так, — ответил приятель, когда я поделился с ним этой нехитрой мыслью. — В Германии это не так. Каждый, кто находится на ее территории, не имеет права бродяжничать и голодать. По Конституции так. И поэтому, если ты докажешь, что ситуация критическая, они помогут. Как-нибудь помогут. Что-нибудь дадут. По Конституции так.

— По Конституции? — искренне удивился я. Для меня Конституция всегда была лишь книжечкой красного цвета с серпом и молотом в обрамлении колосков, не более того.

— Так точно.

А если я иностранец?..

— Все равно.

— Тогда толпы прибегут.

— Во-первых, уже бегут. Во-вторых, они, чиновники, смотрят на человека — кто он, чем он тут занимается, какая у него виза, почему у него проблемы и так далее. Это, конечно, все не так просто, потому что многое зависит от самого чиновника — какой он человек. Если хороший — пойдет навстречу, если сволочь — то откажет, а немецкие законы такие развесистые, что в них всегда можно найти и «да» и «нет» — смотря как, где и зачем искать. Но ты не бойся!.. Я поддержу тебя. О, я умею говорить с чиновниками!.. Притом не забывай — у тебя же контракт, ты работаешь тут официально. А жена с ребенком приехали к тебе, потому что, опять-таки по Конституции, семью нельзя разлучать, семья должна быть вместе. Что у твоей жены в паспорте стоит?.. Какой штампель? Familienzusammenführung? Воссоединение семьи? То-то! Ничего, все будет хорошо. Ты только начни, я уж помогу. Ведь надо помогать друг другу. Мне тоже много, очень много помогали. Я знаю, что это такое. Мы знаем. Когда мы с женой приехали, я уже через месяц учился, а потом, когда кончил университет, сразу получил место в налоговой инспекции...

«Левий Матфей, сборщик податей...» С такими мыслями тащился я по первому этажу, через парфюмерию, отражаясь в зеркалах и овеиваясь сладкими, как мирра, и тошнотворными запахами. Я физически ощущал тяжесть креста, тянуло согнуться и поползти.

—...твое счастье, что я уже на пенсии, а то не было бы времени ходить. Вон, прямо, видишь то здание? Это там, — указал мой проводник.

Здание было большое и белое, и от этого стало особенно муторно на душе.

У лифтов молчаливые люди. Толстая женщина, старичок в панаме, парочка желтолицых луковок и один сплошь зататуированный молодой человек, у которого от глазниц по лбу, по скулам и дальше, по шее, расходилась синяя татуировка. Видно, он весь был покрыт ею. Он курил, остальные старались не смотреть на него, хотя, может быть, он как раз таки рассчитывал на обратное, когда уродовал себя, превращаясь из божьего создания в чертову куклу.

Вскоре мы уже ехали в лифте и слышали, как в тишине желтолицая луковка говорит что-то на ушко своей спутнице, а та деревянно хлопает своими непроницаемыми китайскими глазами.

Миновав подъем на Лобное место, мы оказались в коридоре, где возле каждой двери висели таблички с буквами алфавита. Когда мы подошли к нужной нам двери, я прочел: «Негг Шван».

— Это он, господин Лебедь. Я вчера с ним по телефону разговаривал. С Богом! — сказал приятель, а я размеренно стукнул три раза в дверь, как стучат гробом о притолоку, когда выносят в последний путь.

— Войдите!

Голгофа выглядела буднично: шкафы, компьютеры, письменный стол с безделушками, фото по стенам, а за столом — внимательный человек с безукоризненным пробором. В открытые двери справа и слева виднелись еще столы и были слышны голоса.

Не знаю, чувствовал ли Он стыд, когда с Него стаскивали одежду, прежде чем водрузить на крест, но у меня возникло ощущение, что я у врача, где надо сейчас обнажать свои язвы перед молоденькими студентами-практикантами.

— Добрый день, это я беспокоил вас вчера по телефону по поводу нашей встречи, — сказал приятель, приглаживая бобрлик.

— Добрый день, садитесь, слушаю.

— Вот это по вопросу моего друга, — он указал на меня. — Он работает в Академии, он художник...

Г-н Лебедь протянул мне руку. Я представился.

— Расскажите, пожалуйста, в чем дело.

— Уже скоро пять лет, как я живу и работаю по контракту в Германии. Но вся проблема в том, что как почасовик и иностранец я ограничен в часах...

Г-н Лебедь едва заметно кивнул.

— Конечно, всегда были проблемы с деньгами, но раньше я как-то справлялся сам — иногда частные уроки, иногда продавал картины...

Тут приятель с почтением в голосе произнес:

— Сам бургомистр открывал выставку его работ!.. Он очень, очень хорошо рисует. И он никогда никого не беспокоил раньше...

Г-н Лебедь шевельнул бровью, давая понять, что замечание зафиксировано. Я продолжал:

— Но теперь приехала семья, и стало трудно. Пришлось снимать еще комнату, новые расходы, ребенок...

(— Временные расходы, у кого не бывает, — вставил приятель.)

—...И теперь я даже не знаю, что и делать... — искренне признался я, чувствуя солоноватый вкус во рту. Наполовину я уже был на кресте.

— Его жена тоже подрабатывает, — опять вставил приятель, — я нашел ей кое-что через Красный Крест, там — вы, конечно, знаете, — можно зарабатывать до пятисот марок без разрешения на работу. Но вы представьте: она врач со стажем, а должна делать такую тяжелую работу...

Г-н Лебедь шевельнул другой бровью.

— Вот, скоро будет выставка моих работ в ратуше, — утирая лоб, продолжил я, вытаскивая из портфеля брошюрку с программой. — Может, что-нибудь продается.

— Г-н Лебедь, я только хочу сказать, что я давно знаком с этой семьей и вижу, что сейчас им нужна небольшая поддержка. На время. Временная поддержка.

Г-н Лебедь поднял обе брови.

— Может, лучше показать бумаги? — спросил я.

— Покажите. Только вначале паспорт.

Он внимательно изучил визы, причем я подсказывал:

— Видите, я всегда продлеваю на год... А вот договор из Академии, на основании которого продлеваются визы, — протянул я бумагу.

Он прочел договор.

— Вот справка из бухгалтерии.

Он прочел и справку. В это время из другой комнаты появился какой-то тип, встал у стола и принялся слушать, просматривая вслед за г-ном Лебедем бумаги.

— Медицинскую страховку он сам платит, за квартиру тоже, за услуги, за все, а что он получает?.. Вы же знаете, какие дорогие сейчас квартиры!.. Вот видите!.. Но вы, я уверен, во всем разберетесь, вы лучше знаете законы! — юлил приятель.

— Еще несколько работ продал в прошлом году, — вспомнил я, — а сейчас что-то не продается... Вот квитанция из банка, на текущем счету — 1 марка 49 пфеннигов...

— Так бывает, ничего... — утер мне смертный пот Левий Матфей.

Г-н Лебедь внимательно прочел квитанцию, а стоящий у стола человек внезапно попросил паспорт жены. Взглянув в него, он сказал:

— Ничего сделать не можем.

— Почему? — напрягся приятель.

— По гостевым визам социальная помощь не полагается, — поднес он вместо воды уксус.

Г-н Лебедь молчал.

— Да вы посмотрите, что в визе написано! — приподнялся со стула приятель. — Familienzusammenführung! Воссоединение семьи! Это совсем не гостевая виза!

— А если так — то почему у нее виза только на три месяца? — не унимался человек.

— Потому что так всем дают, а тут надо продлевать дальше, — ответил я через силу, чувствуя, что развязка близка.

— Хм, — покачал тот головой, взял паспорта и ушел, а г-н Лебедь собрал все бумаги и, повернувшись к маленькому ксероксу, начал снимать копии.

В комнате стояло молчание.

— У вас есть налоговая карточка? — спросил г-н Лебедь, не оборачиваясь.

— Откуда? Вы же видели справки, сколько он получает? — поспешно ответил за меня приятель. — Какие с этого налоги?.. Чтобы умереть — много, чтобы жить — мало, вот какое положение. Но вы, я уверен, разберетесь. Ведь не может же человек нищенствовать, голодать и бродяжничать!.. Ведь это даже по Конституции так!

Тут г-н Лебедь повернулся и впервые в открытую посмотрел на него, непонятно покачав головой:

— Конституцию мы знаем...

В этот момент вошел другой, положил паспорт на стол и развел руками:

— Не знаю.

— Надо подумать, — сказал г-н Лебедь. — Вы не возражаете, если я запишу ваш рассказ?

— В каком смысле? — опешил я, но приятель поспешил пояснить:

— Ты должен написать заявление, но г-н Лебедь так любезен, что хочет помочь тебе.

— А, конечно!..

Набросав что-то на листе, г-н Лебедь развернул бумагу ко мне:

— Подпишитесь!

Я прочел. В десяти фразах было сжато обрисовано мое положение. Я подписался.

— Надо подумать, — повторил г-н Лебедь. — Приходите через неделю. Мы думаем.

— Огромное спасибо, мы очень, очень благодарны, всего хорошего, до свидания, — стал прощаться приятель. — Auf Wiedersehen! До свидания! Всего доброго, всего самого наилучшего!

И мы пошли.

Спуск с Лобного места был легче подъема. Идя по ступенькам с седьмого этажа, как с седьмого неба, я чувствовал себя свободно. Но голос моего спутника вернул меня на землю:

— Это хорошо, что они оставили бумаги. Если бы хотели отказать — то отказали бы сразу, не тянули бы.

— Второй тип хотел.

— Да, но я его отбрил! — приосанился приятель. — Ты понял теперь, что значит эта формулировка — воссоединение семьи?.. Это очень, очень важно. Это сыграло свою роль, поверь! Это для немцев святое!

Так шли мы к машине, и запахи парфюмерии показались мне теперь душистыми, как ладан, и я даже решил на минутку свернуть в отдел электроники, чтобы полюбоваться на черно-мерцающий АКАI, на котором так хорошо слушать «Доорз», когда натягиваешь холст на подрамник и готовишь краски.

Через три дня, в среду утром, раздался телефонный звонок:

— Доброе утро! Говорит Лебедь! С кем я говорю?.. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, кухня у вас отдельная или есть соседи?..

— Отдельная.

— Большое спасибо, больше вопросов нет. Приходите в пятницу утром, мы вас ждем. До свидания! — И он повесил трубку.

Я тотчас же перезвонил приятелю. Тот удовлетворенно хмыкнул:

— Это отлично.

— Почему?

— Потому, что если б они хотели отказать — то зачем им было бы узнавать, какая у тебя кухня?.. Klar?.. Logisch?.. Ясно, логично? Подождем до пятницы.

2

В пятницу мне стукнуло сорок. Стараясь не думать о традиционных в таких случаях вопросах, я в одиночку отправился в Sozialamt. Бездумно радуясь солнцу и забыв о том, что все порядочные люди в моем возрасте или лежат в могиле, или твердо стоят на ногах, шел я к белому зданию. Крестной ноши не было и в помине.

Около лифта — молчаливая группка людей. Наверняка этот лифт, в отличие от других собратьев, слышал больше вздохов, чем смеха. Я занял свою четверть кубометра и поехал наверх, пристально разглядывая гордое слово *THYSSEN* на серебряной табличке, и рядом цифру — **№ 1 907 686**

«Это надо же!..» — подумал я, и вдруг представилось: тысячи кабинок разбросаны по пустыне: льдистая сталь на желтом песке, под ярким небом. И на каждой кабине — блик солнца!.. Объект почище Эйфелевой или Рейхстага в фольге... Перфоманс, прямая передача из Сахары, «Смерть в песках», все без подвоха, live. Кабинки набиты людьми и разбросаны в раскаленных песках, люди в агонии умирают внутри, царапая красные от жара стенки, а полоумный художник, автор перфоманса, мечется среди кабинок, тщетно пытаясь открыть стальные дверцы и ужасаясь своему замыслу. Но не тут-то было — сталь крепка, броня надежна!.. В кабинках микрофоны и телекамеры, в галерее — динамики и мониторы. Можно пить вино с красивыми женщинами и наблюдать за акцией-агонией, мысленно радуясь, что не тебе мучаться в горящих песках. И цель перфоманса достигнута.

Когда я вошел, г-н Лебедь сидел за столом. Справа и слева от него, как в Троице, стояли молодая женщина и тот тип, что был в прошлый раз. Они что-то обсуждали и при моем появлении замолкли.

— Садитесь! — пригласил г-н Лебедь. — Мы рассмотрели ваше дело. И решили дать вам вот это. — Он пододвинул невзрачный листок серой бумаги. С одной стороны шел текст, с другой клубились столбики цифр.

— Что это? — взял я бумагу. Перевернул, увидел новые цифры, с которыми всегда был не в ладах.

— Давайте, я объясню. — И г-н Лебедь, взяв листок, начал миролюбиво указывать карандашом на цифры: — Вам — 519 марок. Жене — 415. Сыну — 467. За квартиру — 550, итого на руки выходит 1 485. Вот, распишитесь.

— Огромное спасибо, вы очень помогли, — в замешательстве поблагодарил я. Положив ручку, я не знал, что делать дальше.

Двое из-за спины г-на Лебеда наблюдали за мной.

— Обычно деньги получают на пятом этаже, чеком, до каждого третьего числа, по этой бумаге, — сказал он дальше.

— Как это — до каждого?.. Разве это не все?.. — удивился я.

— Как это все?.. — удивился, в свою очередь, он. — Это же все ежемесячно. Мо-nat-lich! — подчеркнул он по складам. — Плюс отдельно проезд во всех транспортах, медицинская страховка, лечение, курорты, деньги на одежду и т.д. — все перенимает государство. Поздравляю вас!

Отупев, я сидел вполоборота. Подобного я не ожидал. Постепенно до меня начало доходить: «Ежемесячно!..»

— И... до... когда все это?.. — пробормотал я в растерянности.

— Пока вы в Германии.

— Полторы тысячи? В месяц? Но это же спасение! — подумал я вслух, когда, наконец, до меня окончательно дошел смысл происходящего. Я вертел листок, глазами своим не веря. Это же выход из тупика!

Женщина улыбнулась и вдруг стала похожа на светлого ангела, а другой тип — на доброго архангела.

— Я рад, очень рад, — склонил голову с ровным пробором г-н Лебедь. Он-то уж точно был Бог Отец. — Можете теперь работать. Мне понравились ваши картины, хоть я и видел немного и только в снимках, которые вы показывали тогда. Если уж кому и помогать, так таким, как вы... Работайте спокойно!

— Да, да, конечно, а что же еще?.. — горячо подтвердил я. — И первая картина — ваша!

— Согласен! — улыбнулся г-н Лебедь. — Только занесите, пожалуйста, поскорее справку из школы сына, копии счетов за квартиру и договор из Академии, чтобы мы могли оформить бумаги. Кстати, когда у вас истекает виза?

— Через месяц. Но я продлю ее, это не проблема.

— Ну и отлично. А этот листок не потеряйте, он важен, по нему вы будете получать деньги.

— Нет, нет, ни за что не потеряю, — заверил я, бережно складывая невзрачный листок, который казался сейчас важнее всего на свете.

Заметив это, ангел улыбнулся, суровый архангел осклабился, а Бог Отец корректно кивнул:

— Всего доброго!

Ошарашенный, не дожидаясь лифта, я поднимался по лестнице так легко, словно шел под гору. Будоражили картины жизни. Значит, не надо больше бояться конвертов с гербами. Не надо с ужасом ожидать начала месяца, робко входить в банк или мысленно пересчитывать мелочь перед кассой. Не нужно давить ногами тубики, чтобы извлечь остатки краски. Можно не коситься с опаской на ценники в магазинах и не менять подрамники на обеды, а кисти — на ужины: купишь одно — нет другого, съешь тут — останешься голодным там.

Возле двери со скромной дощечкой **Kasse** топталась черная до синевы негритянка с огромным задом. Она не решалась постучать. Какой-то тощий тип, явный морфинист, полулежал в кресле с дымящейся сигаретой в зубах. Больше в коридоре никого не было. Я жестом спросил негритянку, ждет ли она. Она неопределенно качнула курчавой головой, белки глаз вспыхнули и погасли. Постучал. Касса!..

После короткого «да» я очутился в комнате. За стойкой — девушка. Я подал заветный листок. Она молча прочла его и попросила паспорт. Его не было.

— Вы в первый раз? — спросила она внимательнее.

— В первый.

— Надо иметь паспорт, — внушительно заметила она.

— Буду иметь. Но вот медицинская карточка. Можете мне поверить. Кстати, сегодня мой день рождения. Видите, там, в листке, стоит. Я не обманываю.

Она качнула головой и, выписав чек, просунула его вместе с листком под стекло:

— Поздравляю! И желаю всего хорошего! В следующий раз не забудьте паспорт!

— Спасибо, не забуду, — с легким сердцем ответил я, даже не думая о том, что принимать поздравления тут, в этом месте — не самое счастливое, что может быть в сорок лет у нормального человека. Но в эмиграции, к сожалению, свое время и свой отсчет.

— Деньги можете получить в любой сберкассе, — улыбнулась она на прощание. Эта информация почему-то была особо приятна.

В коридоре я вновь встретился с негритянкой.

«И как это некоторые люди могут не любить негров?.. Ведь они такие же, как мы!..» — от избытка чувств думалось мне, хотя на самом деле я уже мечтал о

другом: краски, холсты, рамы — можно, наконец, что-то делать, выйти из простоя. Жизнь пытается доконать, добить художника, а он борется с ней своим особым оружием. И можно даже одерживать большие победы, хотя бывает, что никто, кроме тебя, их не замечает вовсе.

В лифте я ехал с двумя старушками в платках. Таких старушек тут все называют *babuschka* и знают, что они из казахстанской бесконечной степи, куда их заслал великий Йозеф Сталин на беду нынешним немцам. Та, что посуше, потемнее и поморщинистее, шептала другой по-русски:

— Вот, а раньше-то эта Валя в колхозе городского типа жила, в ассенизации работала, вот...

— Это навоз по полям кидать или дерьмо из ям качать? — уточнила другая.

— Навоз кидать. А теперь вот сюда приехала, в Дюссельдорфе с дочерью и сыном. Им на проспекте квартиру дали, а дочь чегой-то недовольна, шумно очень, говорит, другую квартиру теперь ищут...

— А фамилии ихние как? Може, я знаю?

— То ли Вольфы, то ли Гольфы.

— Нет, не слыхала, — поджала губы *babuschka*, исподтишка зыркнув по мне быстрым взглядом.

— И где это еще колхозы городского типа остались? — весело спросил я, представляя себе бабу в сапогах, по колению в навозе, которая теперь гуляет по дюссельдорфским проспектам и чем-то еще недовольна.

Одна ойкнула, а другая храбро ответила:

— А вот под Акмолой. Дома большие, и клуб есть.

— Передайте Вале большой привет.

— Как же!.. — недоверчиво поджала губы старушка.

Между *babuschka*'ми сверкнуло — *THYSSEN*.

«О Тиссен!.. — подумал я. — Великий Тиссен, друг Порше и Опеля, брат Сименса и Круппа!.. Двигатель цивилизации, оплот прогресса!.. Ты все вынес на своих стальных могучих плечах!.. Возил кайзеров и фюреров, канцлеров и гитлеров!.. Был со своей родиной и в горе, и в радости!.. Отстоял в Нюрнберге и пробил Стену!.. Проложил рельсы и воздвиг вышки, протянул провода и пустил ток, чтобы всем было светло и тепло!.. Даже этой бабушке в чепце!.. Даже какой-то Вале-ассенизатору!.. И даже мне, грешному!.. Ты щедр и широк!.. Хвала тебе, великий и терпеливый!..»

Внезапно лифт заурчал, задрожал и остановился. Я нутром почувствовал вибрацию стен. Старушки притаились.

— Сейчас поедет! — храбро заверила *babuschka*, та, что посуше. — Видать, не ту кнопку нажали где-то...

Вторая кивнула:

— Бывает. Народу-то сколько!..

И правда — лифт, постояв как бы в задумчивости, пошел дальше. А внизу — та же тихая толпа: тип в татуировке, луковые маковки китайцев, три толстые негритянки, явные сестры той, что наверху, женщина с коляской и тощий морфинист, и блеклая девица с синей розой на голом плече. Лифт покорно вобрал всех, с кряхтением закрылся, громыкнул чем-то и безропотно пошел вверх.

Надо ли говорить, как весел был я?.. Камень отвален, и можно выйти из пещеры в шум человеческого прибое, из темноты — на яркий свет, окунуться в кипяток огня. Черно-белые стены пещер холодны, а свет жгуч и горяч.

И можно оглянуться на холст, который застенчиво спрятался у стены. Потрогать его руками. Потом забыть, потом опять вспомнить, взглянуться в его пустоту, откуда предстоит извлечь очень нужное, даже необходимое нечто, которое пока видишь только ты один, а потом увидят все, хотя это и нужно лишь тебе одному.

Отвернуть холст к стене. Попытаться забыть о нем, пусть стоит себе, а потом вдруг не выдержать и опять нырнуть в его девственное нутро — тут можно нежиться, как Господь в облаках, где каждая капелька вод ведома только Ему одному.

Приятель, узнав новость, торжествовал. Он помогал покупать холсты и краски, собирать справки. Сын радовался новым джинсам, жена переводила дух, а сам я почувствовал картину. Это всегда наступало не вдруг, не внезапно. Загодя (как эпилептик) я уже знал, что скоро смогу, наконец, ощутить тот восхищенный ужас, который охватывает каждого художника, когда тот смотрит на пустой холст, зная, что этот кусок бессловесной ткани можно оживить, дать ему быть и говорить. И музыкант сладостно замирает перед первым звуком. И скульптор ошарашено смотрит на глыбу. И царь в истоме озирает первый камень нового града. И писатель млеет над пахучим листом белой бумаги. Так, наверное, всякий маньяк с восхищением ужасается еще не содеянному.

И за всеми этими хлопотами я забыл о житейской мудрости, что цыплят по осени считают, а сейчас только начало апреля, и рано еще трубить победу и вопить «гоп», пока ничего еще не перепрыгнув, тем более, что всем известно: бедному жениться — ночь коротка.

3

Когда все необходимые справки и копии были налицо, я решил побыстрее отнести их моему спасителю. Был четверг, около трех пополудни, но я твердо помнил, что по четвергам все ведомства открыты допоздна, и счел нужным тотчас же исполнить задуманное.

По дороге я корил себя за лень: «Идти-не иди!.. Человек тебе помогает, а ты еще размышляешь!.. Он же просил занести поскорее!.. Ленивая, неблагодарная тварь!..»

Постучал.

— Да! — коротко донеслось изнутри.

Когда я вошел, то сразу увидел, что возле г-н Лебеда, с краю его стола, сидит, ссутулившись и склонив плешивую голову, Herr Krebs, г-н Рак из ведомства по иностранцам — именно он обычно продлевал мне визы.

Мы ошарашено уставились друг на друга.

— Вы знакомы? — спросил г-н Лебедь.

— Да, я у... у господина... получаю визы... — оторопело ответил я, от полной неожиданности забыв его фамилию, но тут же попытался независимо осведомиться: — А вы что, теперь здесь будете работать?..

— Г-н Рак стажирруется у нас, — ответил за него г-н Лебедь, а Рак все смотрел на меня через очки своими водянистыми глазами.

О нем говорили, что он очень любит по многу раз гонять за разными справками красивых иностранок от пятнадцати до сорока пяти лет, всякий раз наслаждаясь их растерянностью, горячими мольбами и слезливыми просьбами и плотоядно осматривая жертву, которой некуда деться без визы. Спасибо тебе, Господи, что не сделал меня женщиной!.. Нелегко, должно быть, ощущать себя не человеком, а куском мяса, какими-то губо-сисько-ляжками, куда всякий гад стремится внедрить свою похоть.

— А что вы тут делаете? — наконец, спросил он, сильно упирая на «вы».

— Принес документы, — бодро ответил я, выкладывая бумаги.

— Он с марта получает социальную помощь, — пояснил г-н Лебедь.

— Вот как... Как же это так?.. — неприязненно блеснул очками г-н Рак.

Я беспечно пожал плечами:

— Приехала семья, стало трудно жить...

— Что семья приехала — я знаю, — значительно прищурился он. — А вот кто пригласил семью?

— Академия.

Г-н Рак зловеще хмыкнул, не глядя на меня:

— Академия?.. — И замолк.

— Я приду к вам через две недели, — добавил я.

Он неопределенно кивнул плечью:

— Милости просим.

Г-н Лебедь молча наблюдал за нами. Отдав ему бумаги, я спросил, не надо ли еще чего. Он ответил, что мой телефон у него имеется.

Спускался я по лестнице с противным чувством, как будто только что повстречал какого-то вредного гада.

«И что ему, проклятому, надо тут, в это время?.. Он же должен быть у себя?.. Они ведь тоже по четвергам работают до шести?.. «Стажировка», — сказал Лебедь. Сомнительно... Да он просто сидел и ждал меня!..» — осенило вдруг. Но тут же я осознал, что этого никак не может быть, потому что я сам не знал, понесу документы сегодня или завтра. Не мог же он там целыми днями сидеть?.. Да и зачем такое подстраивать?.. Все ведь и так в их полной власти, к чему еще хитрить и напрягаться?.. Надо только выждать, а потом брать жертву в самом узком месте, где двоим не разойтись. Это — как вылет в аэропорту: велика страна, а приходит миг, когда твой багаж ползет сквозь «телевизор», твое лицо сличается с паспортом, в твои карманы тычется щуп, а сам ты шагаешь в узкие ворота спецконтроля, навстречу охране, ждущей сигнала, чтобы наброситься, обыскать, распотрошить, арестовать, отправить в тюрьму, распять, наконец!..

Приятель, когда я сообщил ему об этой встрече, пожал плечами:

— Ну и что тут такого?.. Чиновники ходят по ведомствам. Может, и стажировка. Ты говорил когда-то, что у тебя с этим Раком хорошие отношения?

Отношения складывались неровно, раз даже был конфликт — он никак не хотел вписывать сына в мой паспорт. Но я, по доброй привычке, понес ему коньяк, пару сувениров и счел отношения завязанными, хотя приятель и предупреждал, что в Германии чиновников лучше не подмазывать и улещивать, а пугать начальством и жалобами — лучше действует:

— Место тут дороже денег, оно само — деньги и безбедная жизнь до старости. Вдруг ты прав — тогда начальник будет недоволен. А коньяк и сувениры любой и сам себе купить может. И учти еще: если чиновник видит, что ты пришел с подарком, он обязательно думает, что у тебя что-то не в порядке, с чего бы это тогда тебе нести?.. Он начинает копать, что-нибудь всегда находит, и тогда ты коньяком уже не отделаешься!..

— Тебе с немецким паспортом легко говорить — пугай начальством!.. А я?.. Какие у меня права?.. Кого я могу напугать?.. Да притом у нас всегда было принято идти с бутылкой или конфетами, прав ты или виноват!

— Так это там, в Совке, а тут не так. Ладно, abwarten, подождем. Хуже не будет.

— Это точно.

Но все равно — сколько я ни внушал себе, что причин и поводов для паники нет, неприятные мысли не оставляли меня. Беспокойство нарастало. Я загодя купил марочный коньяк и сувенир хорошей работы. Потом не выдержал и решил позвонить г-ну Раку, узнать, когда приходиться.

— Когда угодно, в любое мое рабочее время, — был ответ.

Вечером я начал картину и несколько дней провел, как сомнамбула. Я решил писать Голгофу, не подозревая, что голгоф бывает множество.

Вначале я покрыл холст голубым небом и желтой землей, жирными обильными мазками. Дал им высохнуть. Собрал на улице песок, насыпал его бугорками на холст, на желтую землю, залил прозрачным клеем и в это месиво всадил три креста, сбитых из старой рамы.

Вокруг крестов поместил раковины-охрану, с шипами и иглами, как и подобает римлянам. Ниже разбросал битую розоватую пемзу и среди этих валунов — народ из винтов, болтов, гаек и зерна.

На небо кинул пряди шерсти, раздвинув их на манер девичьей челки — «и разорвалась завеса надвое...» Добавил темной краски в эти мягкие облака, а в угол холста всадил яркий осколок зеркала — солнце.

Все это опять обильно залил прозрачным клеем и отложил сохнуть. Потом можно будет красками дописать рельеф, хотя с некоторых пор мне стало казаться, что предметы правдивее краски и не нуждаются в ней. И жизнь не только лучший рассказчик и фантазер, но и главный художник. И вряд ли желтая краска химзавода может быть сочнее желтизны спелого зерна или зеленая — ярче изумруда.

День, когда я пошел продлевать визы, начался плохо с утра: я уронил будильник и наступил спросонья на телефон. У дверей ожидали два плохих письма. На улице встретился сосед, который любезно сообщил, что им послано в полицию уведомление, что у нас бывает слишком шумно, а он, как и все порядочные люди, ложится спать в десять часов. На остановке ни с того ни с сего раскрылся портфель и все бумаги вывалились наружу; собирать их пришлось под любопытными взглядами прохожих зевак. В автобусе оказался контролер, около самого ведомства тусклая кошка перебежала мне дорогу, хотя бродячих кошек я тут не встречал. А зал ожидания оказался забит сербо/хорвато/боснийцами, так что шум, гам и дым стояли коромыслом.

Я взял номерок. Наверняка 13.

Через некоторое время металлический голос вызвал меня. Я поплелся к нужному окошку, стараясь ступать как можно тише.

Здороваясь, г-н Рак как-то странно, с сожалением поморщился.

— Вот паспорта, вот письмо из Академии, вот счет из банка, вот медицинская страховка, — выложил я бумаги.

Он взял их, мельком проглядел и оловянно уставился на счет из банка.

— Ого, у вас целых полторы тысячи! — усмехнулся он.— Sozialamt перечислил?.. Ясно... Странно, очень странно, — после значительного бумажного шелеста произнес он и удобнее уселся в кресле. — Значит, Академия приглашает вашу семью?.. Это очень хорошо. И одновременно она не обеспечивает вас минимумом, перекладывает это на плечи государства?.. А вот это уже плохо. Очень плохо... — повторил он. — И вы бежите в Sozialamt. Как это понять? Если Академия не может вас обеспечить — то пусть уж и не приглашала бы, а?.. — И он торжествующе бубавился в меня.

Я проглотил язык. Вопрос предельно ясен и логичен: виз не будет, если Академия не обеспечивает должный заработок, а она не обеспечивает, потому что я ограничен в часах, да к тому же работать еще где-нибудь, кроме Академии, мне строго запрещено. И нехитрый вывод напрашивается сам собой. Без предупреждения меня начали прибавать к кресту вниз головой.

А г-н Рак, забрав бумаги и паспорта, с ворчаньем ушел меж столов за таинственную перегородку, где начал клацать железными ящиками, шуршать бумагой и хлопать печатями. Пока его не было, в голове у меня плавали какие-то темные амёбы, одна чернее другой. И замкнутый круг с неизбежным выходом вон чудился мне...

Потом он вернулся.

— Г-н Рак, я не знал, что это... проблемы... Если так — то так, я, конечно, ничего не хочу... — начал косноязычно объясняться я.

— А на что вы будете жить, позвольте узнать? — спросил он, стоя и сверху рассматривая меня.

— Да мы можем жить и без помощи... — попытался заверять я.

— Э, нет, так не пойдет. Бродяжничать и голодать мы вам не позволим. Закон не позволит, — торжественно уточнил он. — Закон выше нас. Нет, так не пойдет. Как же это вы можете жить, если пошли в Sozialamt?.. Как это понять?.. Значит, вы там вдали?.. Обманывали?.. Я видел там вашу папку, читал ваше заявление. Там все сказано ясно и точно — денег нет, жить не на что, помогите. В этой ситуации Германия не может содержать целую семью без всякого статуса. Это тоже вам, надеюсь, ясно?.. Наше государство — не богадельня и не приют для безработных, тем более, что своих предостаточно, с ними бы разобраться...

— А Familienzusammenführung?.. — с трудом выговаривая громоздкое слово, ухватился я за соломинку, не понимая, что она может оказаться тяжелей свинца.

— А воссоединение семьи?..

Г-н Рак хищно блеснул очками.

— А Familienzusammenführung очень хорошая вещь, но произвести это объединение нужно не тут, а по месту постоянного жительства, там, где вы все прописаны, ясно?.. Да вся ваша работа тут — фикция, вы даже налогов не платите, насколько я осведомлен...

— Потому что получаю мало, — сник я, понимая, что и этот аргумент только ухудшит положение.

— Я не виноват. Не я вас приглашал. По нашим законам вам не положено находиться на территории Германии, — не меня выражения лица и чеканя слова, произнес он и внушительно качнул плешивой головой. — Этот вопрос я сам, без начальства, решить никак не могу. Сейчас начальника нет, он в отпуске, приходите потом. — Он помолчал и неопределенно махнул рукой. — Вот, тут визы на месяц, а там видно будет. Безобразие!..

И он, бросив паспорта, в которых серели какие-то жалкие бумажки, вызвал в микрофон следующий номер, не слушая моих просьб рассказать ему «всё» и не замечая взглядов в сторону пакета, где угадывались контуры бутылки:

— Потом, у начальника это «все» расскажете, чего два раза беспокоиться. Да и что там рассказывать?.. И так все ясно. А это уберите, а то я сейчас в полицию позвоню!..

Ничего не оставалось, как выйти. Все klar und logisch. Ясно и логично. Доводы вески и справедливы, а факты — тяжелей камней и тверже гранита.

В ошарашенном состоянии, ничего не видя и не слыша, оказался я у г-на Лебеда, который без особого удивления выслушал мой сбивчивый рассказ и ответил:

— Я считаю, что вам полагается помощь. Это мое мнение. Наше. Но ведомство по иностранцам выше нас. И вопросы виз решают он. Он — над нами, понимаете? — И Лебедь возвел глаза вверх.

— Но, все-таки, вы же знали, чем это грозит, почему же вы не предупредили меня?..

— Предупредить?.. О чем?.. Мы считаем, что вам полагается помощь. Мы делаем свое дело, а они — свое, — развел он руками. — Я хотел вам помочь. По нашим законам вам полагается помощь. И мы ее дали. А по их законам, по законам иностранного права, виз вам, очевидно, не полагается, и поэтому они не дают их вам. А зачем вам социальная помощь, когда нет виз?.. Вот и все. Они над нами. Они над всеми. Все зависит от них. Они выше всех.

— Но как же это так?..

— Вот так. И я ничего не могу тут поделывать, факты сильнее нас, — поднял он плечи, в третий раз отрекаясь от меня.

И тут до меня дошло, что еще долго и мучительно будут прибивать к горячему кресту, поить уксусом, ломать колени и плевать в лицо. И крестная эта мука будет куда дольше предыдущей, ибо сказать, что у тебя ничего нет, куда легче, чем доказать обратное.

4

Перед Пасхой люди ходят по магазинам, греются на первом солнце, рады весне. Я сидел дома. Никуда не тянуло, ничего не хотелось, ничто не радовало. От свинцовых мыслей и оцепенелой одури спасал только начатый холст — лишь этот кусок грубой материи еще не предал меня, еще не гнал по пыльной дороге, где зеваки, горланя, швыряют в тебя щебнем и финиками, бешеные женщины царапают и визжат, а охрана то и дело поддает бичами. И только один человек, сборщик податей, верный Левий Матфей, догадался утереть пот с Твоего лица. И вот уже толпа вокруг, повсюду, и где-то впереди брезжит белое пятно Синедриона, сидят обмотанные лентами саддукеи, колышутся перья на шлемах солдатни, блестят пряжки богачей, а дальше смутно видны два креста — третий Ты сам должен до-тащить до места.

Когда я ставил холст лицом к стене, он обиженно надувался, как наказанный ребенок, это было видно по его горестной скособоченности. Тогда я поворачивал его к себе, и он, по-собачьи тычась в руки сырыми красками, начинал вбирать в себя весь гнет моих мыслей, и казалось, что земля на нем возмущенно вскипает, камни тяжелеют, облака шевелятся, небо дрожит, а осколок зеркала — солнце — наращивает свой блеск. Мне становилось легче, холсту — тяжелее, но он, словно понимая, что без этого нельзя, что только так он может ожить, прийти в мир, вбирал в себя весь ужас жизни, не протестуя, не артачась и не ропща. Вся живопись — это только история душ художников. Чем душа мощней — тем большей энергией напитан холст, тем жизнь картины дольше.

Два креста уже всажены в песок. Вокруг щерятся темные раковины с шипами. На шипы я насажал игл от шприцов. Раковины приняли боевой вид, как и подобает охране. Соорудил из проводов две фигурки и прицепил их к крестам, прибив для верности мелкими гвоздями. А вот третий крест не давал покоя: я то укреплял его на холсте, то снимал. Наконец, убрал совсем. Вот он лежит на полу, пустой. Я не раз перешагивал через него, каждый раз думая, что это грех, и все ленясь перенести в другое место.

Пришел приятель.

— Ты думал, я брошу тебя?.. Нет, ты плохо меня знаешь!.. Я друзей не бросаю в беде!.. Я буду драться до конца. Если этот Рак говорит, что у тебя нет прожиточного минимума, то надо сделать так, чтобы он появился.

Спрашивать его о том, что неужели он, с его опытом жизни, не знал о возможных последствиях походов в Sozialamt, мне не хотелось. Вздохнув и побросав кисти, я устало спросил:

— Как же это сделать?.. У Лебеда я доказывал, что прожиточного минимума нет, а тут — что есть?..

— Ну и что, не было — появился! Мы же сказали Лебедею — временные трудности. А сейчас опять все хорошо. Klar, logisch?..

— А сколько это — прожиточный минимум?

— Я думаю, примерно столько, сколько дал тебе Лебедь. Думай, что можно показать. Денег должно быть до полутора тысяч. Ты говорил, тебе платят в Ака-

демии два раза в год, гонорарами. Сколько это получится, если разбить всё на 12 месяцев?..

— Около 700 марок.

— Так мало? — искренне удивился он. Я пожал плечами. — Ладно, дальше, картины, сколько ты продал их за последнее время?

— Пять или шесть.

— За сколько?

— Около 4 тысяч все вместе.

— Квитанции есть?

— Можно найти. Я знаю, у кого работы.

— Знаешь, попроси покупателей датировать этим годом. Лучше разложить на год — больше получится в месяц. О, я считать умею!.. Так, 4 000 делим на 12... Хм, получается очень странная цифра — 333,33333... Ну ладно, плюсуем 333 к 700 гонорарным. 1033. Мало. Еще нужно.

— Может, организовать письмо от родственников жены, что они нам помогают, ежемесячно присылают столько-то марок? — пришла мне в голову идея.

— Отлично! — одобрил приятель. — Помощь от частных лиц акцептируется. Близкие родственники?.. Здешние?..

— Да, живут в Швейцарии.

— Это неплохо. А присылают что-нибудь?

— Нет.

— Может быть, они могли бы написать больше — тысячу, например?

— Не думаю, они боязливы. В пределах еще соврут, выше — побоятся, я знаю их, это же еще все с налогами связано. Лучше попросить, чтобы они написали 300.

— Или 350. Или даже 380 — немцы любят точные цифры. А если этот проклятый Рак что-нибудь скажет, то ответить, что раньше тоже присылали, потом перестали (пошутить: «Вы же знаете, какие швейцарцы скупердяи!» — это немцы любят), а теперь, узнав о временных трудностях, опять начали присылать. Klar?.. Logisch!.. Еще бы немного наскрести — и порядок.

— А ты напиши справку, что берешь у меня уроки русского!.. — осенило меня. — В месяц — восемь уроков, за урок — 35 марок, вот и выйдет что-то около трехсот. Язык ты знаешь, доказать обратное никто не сможет. Раньше не брал уроков — а теперь берешь. Klar?..

— Logisch!..

— И правда, приходи заниматься, никогда не вредно.

— С удовольствием, — обрадовался он. — Теперь пересчитаем: 700 гонорарные + 333 картинные + 350 от родственников + 280 уроки = 1663. Все, сумма есть!.. Остальное — детали. А в разговоре с ними во всем вини меня, что я повел тебя в Sozialamt, ты не хотел, да это так и было. Ясно?.. Я их не боюсь!..

— Да ты уж конечно, — завистливо сказал я.

Он сел писать справку, а я позвонил родичам жены, объяснил им, в чем дело, и попросил прислать на красивом бланке с печатями нужную бумагу. Подумав, они согласились. Осталось найти покупателей картин. Это было сложнее, но возможно. Надо было еще поговорить в Академии на тот случай, если противный Рак начнет туда звонить, что вполне можно было от него ожидать. Этого разговора я опасался, думая, что всей этой историей подвожу человека, сделавшего мне столько хорошего. Но разговор прошел просто и легко. Мой профессор сказал, что с такими вещами он уже сталкивался, и объяснил, что Ausländeramt следует негласным указаниям — урезать, где можно, вот и все. Главное — не тревожить государство. Потом он заверил меня, что если будет запрос, то будет и ответ, и что для художников, кстати, есть особые визы, только об этом мало кто знает, и если понадобится, то можно и узнать — он-то Ausländeramt'a не боится!.. Это

придало мне бодрости: конечно, Ausländeramt силен, но есть и другие силы (земные и небесные), на которые можно положиться, а там — что Бог даст.

Собрав все справки и квитанции, я начал звонить г-ну Раку, но трубку не брали. Потом выяснилось, что он болен.

Дело шло к Пасхе. Наконец, я дозвонился. Поздравив его со Светлым праздником, я попробовал еще раз:

— Может быть, мы могли бы решить мои обстоятельства между собой, сами?.. Ведь никакого криминала нет, вы же видите, просто я не знал законов и сунулся не туда, куда следует. Были временные трудности, теперь их нет, все хорошо. Я попросил родственников помочь мне. У меня есть все бумаги...

— Быстро же вы их собрали!.. — язвительно усмехнулся он.

— Как вы просили. Может, все-таки встретимся, выпьем пива, поговорим?..

— Пива я не пью. Да и разговаривать нам не о чем, — отрезал он.

— Вы же видите, все чисто, я так или иначе собирался вам все рассказать, — продолжал я заклинять его. — Даже если бы мы случайно не встретились в Sozialamt'e, я бы и так вам всё рассказал...

— Мы бы и так всё узнали, — вставил он.

— Тем более. Вы же знаете, что я не разбойник, не бандит и не курдский террорист. Я художник, вреда людям не приношу, учу детей рисованию. Уже столько лет вы продлеваете мне визу, и всегда все было в порядке, но тут я просто испугался временных трудностей, впал в панику и пошел туда, куда *иносранцам* ходить не полагается. — (Я специально сказал *Scheissausländer*, чтобы ему стало приятно). — А теперь я все понял. Больше не буду.

Он ответил:

— Нет, дело уже у начальника. Приходите в пятницу, утром, часов в девять. Я тоже буду там, — вдруг добавил он, и что-то в его голосе меня ободрило, хотя его присутствие ничего хорошего не сулило, даже наоборот.

— Вы уже послали запрос в Академию? — спросил я.

— Это не имеет значения. Извините, меня ждут. Поговорим в пятницу.

И он повесил трубку.

После этого разговора я поплелся к г-ну Лебедю. Он так же браво сидел за столом. Двери в смежные комнаты были закрыты.

После пожеланий счастливой Пасхи и хорошего послепасхального отдыха, я сообщил:

— Я должен отказаться от помощи. Нормальная виза дороже денег. Я справлюсь. Как писать заявление?..

Он повел головой с безупречным пробором:

— Пишите просто — отказываюсь от помощи, и все. — Он принялся расставлять возле лампы игрушечных солдатиков. — Но я еще раз должен сказать вам, что, по нашему мнению, вы на данном этапе имеете право на временную помощь. Мы приняли решение, за которое отвечаем. У нас свои критерии отбора, но у Ausländeramt'a свои. И если вы так твердо решили отказаться, то пишите... — Он пожал плечами.

— Что же мне делать?.. Мне, *иносранцу*, бороться с Ausländeramt'ом?.. Как?.. Вы же понимаете, чем это чревато?.. Вы же сами сказали, что они наверху, даже выше вас, а уж выше меня — и подавно!

— Понимаю. Все понимаю. Поэтому идите сейчас в кассу и возьмите деньги за этот месяц, чтоб у вас было немного воздуха, — сказал он. — А заявление оформим задним числом.

Мне стало приятно его участие:

— Спасибо.

Потом я посетовал на слепой случай, который свел нас с Раком у него в кабинете. Г-н Лебедь поднял одну бровь, но промолчал.

— А правда, что вы все равно послали бы информацию в Ausländeramt?.. — спросил я, как будто это сейчас могло иметь какое-нибудь значение.

— Все связано компьютерной сетью, — уклончиво ответил он. — Дело времени. Но знаете, может, это и к лучшему, что вы всего два раза получили деньги. Они должны это учесть.

— Учесть? — насторожился я. — А что, вы думаете, они могут не дать визы?..

Лебедь поднял другую бровь:

— Всё можно ожидать.

— Этого еще не хватало!.. Значит, вышлют?..

Лебедь молча пожал плечами (за которыми сейчас мне уже не виделось белых крыльев — если и было что-то белое, то в балахоне и с косой).

— Почему же вы не говорите людям сразу, чем все это грозит?.. — обиженно сказал я.

Г-н Лебедь криво поморщился:

— Что же, по-вашему, я должен был вам сказать — вот вам деньги, но знайте, что вас будет преследовать Ausländeramt?..

— Почему бы и нет?.. Пусть лучше человек сразу узнает, что к чему, чем вот так, как со мной... Так же намного честнее.

— У нас не детский сад, у нас демократия. Как я могу лезть в чужие дела?.. Я не имею на это права. И притом я от всей души хотел помочь вам. Мне нравятся ваши работы. У меня дядя тоже художником был, я знаю, как это бывает... — вдруг добавил он. — Я хотел помочь.

Я промолчал, но подумал опустошенно: что это за помощь, когда одной рукой тебе дают хлеб, а другой заносят меч?..

В лифте я уныло рассматривал гордую табличку THYSSEN. Сейчас она казалась мне зловещей и холодной, и я со злобой пнул железную стену, а потом грубо пробился сквозь толпу у лифта, где маячили луковки китайцев, какие-то худые женщины с крикливыми детьми и тип с татуировкой на испитом лице — фиолетовый паук заткал лоб и щеки синей паутиной.

Я брел по оживленной улице, но ничего не видел вокруг. В уме рисовался начальник Ausländeramt'a. Я плохо себе представлял, каким он может быть, но был твердо убежден, что ничего хорошего ожидать не следует. Проносились образы наших начальников — замкнутые, холеные, угрюмые, полные желчного величия и жесткой власти. Шутки с ними плохи. И не было никаких оснований предполагать, что этот начальник всех *иносранцев* будет лучше или добрее. Да и месткомов-профкомов тут нет, чтобы жаловаться. Вышвырнут, как котенка — и дело с концом.

Так думал я, готовя плечо для ноши, с которой предстояло тащиться дальше туда, где белое яйцо Синедриона уже треснуло, распалось, только лиц пока еще не видно. Решение принято и обжалованию не подлежит. На земле, во всяком случае.

А ночью пришли два демона-голоса. Один, высокий, черный, худой и зобатый, мысленно спросил у меня:

— [Ну, скоро домой?]

Другой, низкий, толстый, синий и ушастый, молча осматривал холсты, прядая ушами.

— [Судьба решает, не ты!] — отважился ответить я, хотя холодный пот прошибал меня насквозь.

Ушастый пошевелился — это ему не понравилось — визгливым фальцетом взвизгнул:

— [А что дальше?]

— [Оставьте меня в покое! Вы же знаете, у меня есть защита от вас!] — ответил я. Нельзя молчать, надо возражать. Эти голоса уже не раз наведывались ко мне.

— [Ишь ты, смелый какой!] — пробурчал зобатый, а ушастик, косясь на холсты, махнул лапой и стал частить:

— [Я тебя знаю, я тебя помню, я тебя запомню!]

— [Я тебя тоже!] — твердо ответил я. Обязательно надо настаивать на своем, иначе они одолеют.

— [Ах так? Тогда мы останемся!] — низко проговорил ушастый. — [Мы еще побудем! Побудем у тебя!]

— [Не побудете, твари!] — подумал я. С ними надо говорить грубо и нагло.

Меня бил озноб. При свете уличного фонаря я видел их темные морды. Они шушукались, готовясь к чему-то.

Тогда я схватил крест и поднял его. Тьма на холсте всколыхнулась. Стали отчетливо видны складки Лысой горы. Камни. Головы. Трещины земли. Иглы охраны налились лиловым. Слышен ропот толпы. Где-то горестно взревел осел. Низкопротяжно ответил верблюд. Истерично закудахтала птица.

Я с размаха всадил крест в кучу пемзы на холсте. Свет от креста пополз клубами, точно желтый газ. И все начало растворяться в нем. Я юркнул под одеяло.

Лежа с головой под одеялом, я ждал. Потом, когда я мысленно спросил:

— [Ну, вы довольны, твари?] — ответом мне была чистая тишина, не подвластная ни огню, ни тьме, а только грохоту и грому.

Проснувшись под утро, я вспомнил, что ту, первую фразу, которую произнес зобатый демон-голос («Скоро домой?»), я слышал как-то от местного старика-таксиста, которому, как оказалось, эти слова сказал сам Сталин, Йозеф Виссарио-нови-тшшъ, — о Gott, выговорить бы! — когда обходил ряды пленных, после войны строивших здание МИДа в Москве. Среди них был и молодой тогда таксист, он успел подержать винтовку месяца два и попал в плен, скитался по лагерям, оказался в столице.

«Вот эту руку пожал, вот эту!.. — горячился старик и с восхищением тряс морщинистой пятерней, забывая о правилах движения. — Утром нас собрали, приказали срочно помыться, почиститься, одеться как надо, потому что должен был прибыть на инспекцию сам генералиссимус геноссе Сталин. О, как мы боялись!.. А русские — еще больше, чем мы!.. «Чашка-ложка, давай-давай, чиста-чиста, начальник, ёб твоя мать, хлеб, соль, кушать» — это я хорошо помню по-русски!.. Все бегали по зоне, как будто им перцем задницу натерли!.. Наконец, приехал Сталин, обошел ряды и пожал мне — одному мне из всех! — руку, вот эту руку!.. — опять затряс он кистью. — А потом сказал: «Хорошо поработали, товарищи! Что, скоро домой?..» О!.. О!.. Это был великий день!.. И это был великий человек!.. Я всегда шучу — самыми счастливыми годами моей жизни был русский плен: там я ел борщ и хлеб, много не работал и даже иногда ходил в гости к русской женщине, Наташе, — чего еще человеку надо?..»

Утро в пятницу было сумрачное, сырое. Туман ходил слоями. Мы с приятелем молча доехали до Ausländeramt'a. Я вылез, как из тюремного воронка. С лязгом захлопнулись двери.

— Nun gehen wir! Идем! — сказал приятель нарочито бодро.

Мы сели в зале ожидания. Вокруг в гробовой тишине, как будто рядом тяжелобольной или покойник, сидели негры, китайцы, арабы, персы, албанцы. Молча встречали и провожали глазами тех, кто выходил из-за зловещей двери: завидовали тем, кто визу получал, и сочувствовали выходящим без визы.

Потом мы подошли к окошку, где виднелась плешь г-на Рака. Он допрашивал толстую негритянку. Мне вдруг показалось, что это та самая, которую я раз уже видел у кассы в Sozialamt'e.

Тут я встретился глазами с г-ном Раком.

— А, вы пришли... — сказал он так, словно мы могли не прийти, и, бросив свою жертву, ссутулившись, встал. — Пойдемте!

Лавируя между столами, мы пошли за ним и оказались в небольшой уютной комнате. За столом сидел молодой улыбчивый круглолицый человек. Он приветливо поздоровался и указал на кресла возле стола.

Г-н Рак с папкой в руках склонился в сторону начальника:

— Вот... — начал он.

— Я... — тоже начал я.

Одновременно заговорив, мы так же разом замолкли и растерянно взглянули друг на друга. Это было смешно. Приятель засмеялся. Улыбнулся и начальник. Рак сделал кислую мину.

— Пожалуйста, рассказывайте, — сказал он мне.

Я был краток:

— Пять лет я работаю тут, и никогда не было никаких проблем. Но в связи с приездом семьи возникли временные трудности, временные...

— Это бывает у всех, — вставил приятель.

—...я запаниковал и по совету моего товарища обратился не по адресу, в Sozialamt. Спросите у него! — указал я на приятеля.

— Да, это моя вина, — поспешил заверить тот, — моя ошибка, mea culpa, как говорят, я его повел, он не хотел идти, ему было неудобно. Он же художник, сам бургомистр его выставку открывал, он очень хорошо рисует, с художниками бывает такое — застой или музы нет...

Начальник кивнул на монитор. Г-н Рак, согнувшись, набрал нужный номер. Они принялись всматриваться в мигающий экран. Время от времени г-н Рак на что-то указывал, начальник кивал. Потом он оторвался от экрана:

— Все правильно. И чего же вы хотите?

— Я?.. Мы?.. Ничего, кроме виз, чтобы жить и работать дальше, — ответил я и положил на стол паспорта, из которых торчали временные справки.

Начальник посмотрел на Рака. Тот возмущенно оскалился:

— Как это?.. Как это они могут жить, если в Sozialamt побежали?..

— Ошибочный адрес и временные затруднения, и больше ничего, — поспешно парировал я. — С кем не бывает?.. Вот, тут у меня бумаги: проданные картины, частные уроки, помощь от родственников... — указал я на мешок.

— Г-н Рак, можно есть хлеб с маслом, а можно и без него. Тут просто случилось недоразумение, да еще по моей вине, я увидел, что у человека временные трудности и решил сходить с ним в Sozialamt, так, просто спросить, а они вдруг дали: сказали — он хороший художник, пусть сидит и рисует, поможем, а потом он отдаст. Это я повел его туда, он вовсе не хотел идти. Он всего один раз взял там деньги, если надо — отдадим, я лично отдам, и все. Я сказал ему — пойдем, зайдем, спросим, а он не хотел, стыдился даже... У художников бывает такое, когда не продается, не рисуется...

Видя, что Рак возмущенно выпучил глаза и что-то хочет сказать, я упредил его:

— Тот минимум, который нужен семье, есть, это я могу доказать. — И вытащил из мешка бумаги. — Действительно, это просто досадное недоразумение.

Начальник в этот момент кончил изучать паспорта, мельком, но цепко проглядел бумаги, вздохнул и сказал:

— Сделаем так: вы откажетесь от социальной помощи, а я дам вашей жене разрешение на работу. Пусть работает.

Все поражено замолкли. Рак уставился на начальника, а я ощутил, как ангелы спешно извлекают гвозди из прибитых ладоней, подносят воду, утирают смертный пот и смазывают раны.

— Как?.. Разрешение на работу? Arbeitserlaubnis?.. — переспросил приятель, пнув меня под столом ногой.

— От помощи я уже отказался, можете спросить у г-на Лебеда, — опешил я, не совсем понимая, что происходит. — А... визы?..

— А визы и разрешение г-н Рак выдаст вам, как только вы принесете бумагу из Sozialamt'a об отказе. Он все оформит.

— Ну, тогда по обычаю, с праздником всех! — ошалело полез я в мешок, извлек оттуда сувенирный кинжал и положил его поверх бумаг. — От чистого сердца!

— О, красиво! — оценил начальник.

Он осторожно извлек кинжал и стал его осматривать. Г-н Рак, видя это, тоже близоруко вытянул свою плешивую грифью башку и начал трогать ножны скрюченными пальцами:

— О, gut! Sehr gut!

— А это коньяк, — поставил я перед ним заветную бутылку. По коробке было видно, что коньяк хороший. — Прошу вас, сувенир, на праздник!

— О, gut! — взялся он за картон.

Все заулыбались. Пасха спасла.

— Огромное спасибо, всего доброго, всего наилучшего, не будем вас больше задерживать! Nun gehen wir! — поднялся приятель.

Мы попрощались с начальником и пошли обратно, сквозь столы и компьютеры, к выходу. Г-н Рак, не забыв своего коньяка, шагал рядом и говорил:

— Сейчас я вам дам визы на год, идите на биржу труда, в Arbeitsamt, становитесь на учет и ищите работу для жены. — Он выглядел подобревшим.

Миновав арабов-персов, которые с собачьим любопытством посмотрели на нас, мы спустились по лестнице. Приятель подмигнул:

— Это больше, чем я мог ожидать. Ты понимаешь, что случилось?

— Не совсем.

— А то, что он дал твоей жене возможность работать!.. Теперь она сможет работать!.. Люди годами добиваются этого, а он взял — и дал!..

Мы бодро вышли наружу. Мне как-то не верилось, что всё так скоро и удачно закончилось. На улице мне показалось, что стало светлее и птицы загомонили громче, очевидно, вспомнив, что пришла весна и Христос воскрес.

— Воистину воскрес! — вслух сказал я, перекрестился и троекратно поцеловался с Левием Матфеем.

Дома был праздник. Жена воодушевленно мечтала о будущем, сын строил свои планы, а мы отправились в магазин, где и закупили реек, из которых допоздна мастерили рамы. Вспоминали начальника, какое у него хорошее лицо и как он быстро и мудро все решил, не мучил, как противный Рак, а сразу все понял и расставил по местам.

— Сразу видно — хороший человек, — говорил приятель. — А как Рак перед ним изгибался!.. Умный начальник!.. Люди годами ждут Arbeitserlaubnis'a, а он — взял и дал. Недаром говорят, что Ausländeramt выше всех!..

— И правильно, так и должно быть, — горячо поддерживал я его (когда крест сброшен, говорить легко и просто).

— Конечно. А то представляешь, сколько всяких проходимцев сюда приползет? — говорил приятель. — Если всем разрешение на работу давать, то что же это будет?.. Безработица и так высокая, немцам работы не хватает, это же ясно. Демократия — демократией, порядок должен быть, Ordnung muß sein! — для убедительности добавил он.

А я пораженно вспоминал улыбчивого начальника — как он не похож на наших угрюмых обезьян в костюмах, вершивших под Лениным свои неправые суды!.. «Вот что значит демократия!» — говорил я себе, нанося клей на углы рам и сбивая их длинными гвоздями. Всё будто ожило во мне, и стал дорог каждый звук и цвет нашего прекрасного мира.

Мы решили не откладывать дел в долгий ящик и вскоре отправились на биржу труда, в Arbeitsamt. По дороге я несколько раз с умилением открывал паспорта и смотрел на визы.

И вот мы в белом кубе. Здание светлое и большое, окна во весь этаж, цветы, холлы, кресла, прозрачные двери и бесшумные лифты (и тут трудится великий THYSSEN, честь и хвала ему, неутомимому!). О таких дворцах из стекла и алюминия грезил Фурье и мечтал Сен-Симон. Назывался дворец коротко и властно: Arbeitsamt! Хвала труду!

Мы с благоговением приблизились к стойке и подобострастно спросили, куда нам следует идти.

Возле нужной двери на табличке стояло: «Dr. Hecht».

— Вот тебе и раз — Dr. Hecht, д-р Щука! — удивился приятель. — Лебедь рак да щука, есть, кажется, такая басня? — А мне вдруг стало холодно, как будто где-то открылась щель и потянуло могилкой, ибо мораль сей басни была мне хорошо известна. Я поёжился и через силу постучал.

— Прошу!

Очень ухоженный человек вежливо выслушал нас, посмотрел на отметку в паспорте жены, вздохнул и вернул паспорт:

— Могу я полюбопытствовать — какая у вас виза?

— У меня? — переспросил я.

— Да, у вас. Бессрочная?

— Нет, обычная, годовая, — я подал ему мой паспорт.

Он бегло взглянул в него, потом взял с полки брошюру ядовито-красного цвета и, отчеркнув какой-то абзац, повернул ее ко мне, попутно объясняя:

— Мне очень жаль, но ничего не получится. Если бы вы имели бессрочную визу, то еще можно было бы попытаться, но раз у вас не бессрочная, а простая виза, то подать заявку на получение разрешения на работу ваша жена может только через год.

— Как это — подать заявку? — удивился приятель. — Разве в паспорте нет разрешения на работу?

— О, нет! — торжественно сказал д-р Щука. — Это всего лишь снятие запрета. Вот, прочтите, что тут в штампе: «Arbeitsaufnahme nur mit gültiger Arbeiterlaubnis gestattet» Это — только снятие запрета. До разрешения еще далеко! Только через год, раньше — никак! — Он развел холеными руками. — Закон, ничего не могу сделать. Искренне сожалею. Очень жаль.

— Значит, только через год она может подать заявку? — ошарашено спросил я.

— Да. Для этого вы должны найти работодателя, который согласился бы взять вашу жену на работу. — (Не глядя, он достал еще одну брошюру, теперь ядовито-зеленого цвета, и положил ее передо мной.) — Работодатель должен заполнить анкету и прислать ее нам. И только тогда дело может быть принято к рассмотрению.

— А от чего зависит исход дела? — спросил приятель.

— От многого, — философски развел руками д-р Щука. — От состояния на рынке труда — в первую очередь мы предоставляем работу немцам, потом гражданам ЕС, а уж потом — всем остальным. От процентов безработицы. От количества заявок. От уровня занятости. Словом, от многого.

— Значит, не исключен и отрицательный ответ?

— Разумеется. Кстати, позвольте спросить, какая профессия у вашей жены?
— Она врач.

Д-р Щука с искренним сожалением посмотрел на меня:

— О, это, конечно, прекрасная профессия, но она очень осложняет дело. Очень. Без апробации врачи не принимаются, это раз. Как иностранка она должна получить подтверждение своего диплома, его дает минздрав, а там свои правила, некоторые дипломы признаются, но большинство отвергается. Это два. Потом надо иметь строго определенное число лет учебы, это три. Для подтверждения диплома надо сдавать экзамен — это четыре. И еще другое...

— А медсестрой? — спросил я.

— Врач не имеет права работать медсестрой. Притом для этого спецкурсы надо окончить, трехлетние.

— А в приют для престарелых? — спросил приятель.

— Кем, санитаркой?.. Для этого тоже нужны курсы. А без них — только помощником санитары, а это — самая тяжелая работа, и то шансов мало, 12% безработицы в этой сфере.

— А они там что, всего этого не знали? — спросил я, не находя слов и мотая головой куда-то в сторону.

— Каждый делает свое дело, — умыл д-р Щука руки за всех сразу. — Всюду свои законы.

— Да... — качал головой приятель.

— Приходите через год, раньше ничего сделать нельзя.

Онемело озираясь, я собираю бумаги в мешок.

А ночью приснился сон, как я хожу по базару и предлагаю купить мою отрубленную голову. Я несу ее в руках на рваной газете, ощущаю ее трепетное тепло, кровь сочится сквозь рваную и мокрую бумагу, веки еще вздрагивают, губы держатся, лоб идет морщинами. Все с брезгливостью отворачиваются в стороны, а мне стыдно и обидно за ничтожность моего, никому не нужного, товара. И только встреченные в толпе старые знакомцы, демоны-голоса, смеются надо мной: зобатый с издевкой вопрошает, сколько стоит моя тухлятина, а ушастый приговаривает:

— [Тут ничего твоего не надо, я тебе говорил!] — тянется к голове, трогает лапой закрытые глаза, слизывает кровь со лба и когтем царапает мертвое ухо.

Когда я пришел к начальнику Ausländeramt'a, он сидел один и просматривал бумаги. Поздоровавшись и сев напротив, я рассказал ему о посещении д-ра Щуки. Он выслушал молча, потом сказал:

— По нашим законам вашей жене полагается разрешение на работу. Но я не могу его дать, я могу только снять запрет, что я и сделал. Разрешение дают они, по своим законам по труду. Они — над нами! — указал он пальцем в потолок. — Если они не дают разрешения — мы ничего сделать не можем. Arbeitsamt — выше всех. Слышали, наверное, анекдот: американец, француз и немец попали на Луну, американец первым делом построил бар, француз — публичный дом, а немец?..

— Тюрьму?.. — предположил я.

— Нет, Arbeitsamt!

Мы посмеялись.

— Попробуйте с ними договориться, — посерьезнел начальник. — Больше ничем помочь не могу, моя власть кончается там, где начинается их.

Его прямота подкупала. Я от души пожал его руку, подумав, что надо будет все-таки ради интереса спросить у д-ра Щуки, есть ли на свете что-нибудь выше Arbeitsamt'a?.. Может, Gottesamt?.. Ведомство по богу, божье ведомство? Или Teufelskreis, чертов замкнутый круг?

Открытый эпилог

И вот прошел год. Прибавилось седых волос, морщин на щеках, дыр в карманах, шрамов на сердце. Но пять готовых холстов стояли в затылок друг другу. Как взвесить все это?.. На каких весах?.. И есть ли такие весы?.. И стоит ли взвешивать?.. Ведь красота ни веса, ни цвета, ни запаха не имеет. Она так же неуловима, как и герои великих книг: кто знает, где сейчас Иван Карамазов? что поделявает Печорин? чем занят Фауст? как дела у Ромео и Джульетты? Они всегда живее всех живых, хоть и мертвее мертвых, потому что мертвые когда-то ходили по земле, а эти путешествуют только в умах людей.

Опять подходит Пасха. Визы истекают. Я один отправляюсь в Ausländeramt.

Г-на Рака там уже нет. Как выясняется, он перешел в более теплое местечко — в Sozialamt. Теперь стали ясны слова Лебедея: «Он стажирруется у нас». Конечно, уж там-то, в юдоли скорби, он развернется вовсю, будет сосать кровь из своих жертв долго, обстоятельно и вдумчиво. Впрочем, его, как известно, интересуют только женщины от 15 до 45.

На его месте сидит молодой стилига с серьгой в ухе и с крестом на шее. Он жует резинку и что-то пришептывает в телефонную трубку, вороша игрушки на столе — весь обязательный чиновничий набор. Игрушки у стилиги повсюду: на мониторе, на компьютере, на шкафу, качаются на лампе, свисают с полочек. Просто ясли, детский сад.

«Хорошо, что новый», — думаю я, подавая ему паспорта и письмо из Академии. Не вставая, он отъезжает на кресле за ширму, роется в лязгающих ящиках, привозит папки и начинает просматривать их. И, казалось, уже готов захлопнуть их и приступить к своим обязанностям, как вдруг взгляд его спотыкается о какую-то строчку. Он вчитывается в нее, потом хищно смотрит на меня:

— А где справки о ваших доходах?

— Какие справки? — переспрашиваю я его, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Никаких справок у меня нет.

— А что делает ваша жена?.. Она работает?..

— Разве вы не знаете, что она только через год может подать заявку на работу? — усмехаюсь я. — Как же она может работать?..

— Если у вас нет стабильного дохода, если жена не работает, то и визы вы не получите. Вот так! — раздулись у него ноздри. — Ничего не знаю. Мне нужны справки о том, сколько у вас месячного дохода, без этого никаких виз не будет, — повторяет он, а я чувствую, как на мое плечо со всего размаху грохается крест. — Без них я не дам никаких виз, а то вы, чего доброго, опять за социальной помощью побежите...

И тут я понимаю, что в моем деле стоит что-нибудь вроде «Проверять вечно» или «Держать под контролем», что я в самом черном списке.

— Я не принес справки с собой, я не знал, что это нужно, — бормочу я.

— Столько лет тут живете — и простых вещей не знаете? — насмешливо смотрит он на меня. — Соберите и приходите после Пасхи. Будем разговаривать у начальника. Без него этот вопрос я решить никак не могу. Я плетусь вон.

МАЙКУДА

РАССКАЗ

В ту зиму на льду Енисея Климка Околелов произнёс столько бранных слов, сколько уже не скажет за всю оставшуюся жизнь.

Ненасытные нерпы калечили рыб, застрявших в ячее. Выкусывали гортани. Траченный товар рыбзавод брал по пять копеек за килограмм, и везти его за пятнадцать километров в посёлок было себе дороже. Климкин хозяин ненец Андрейка оставлял нестандартную рыбу на снегу. Он нашёл Климку в декабре в Дудинке, на холодной скамейке речного вокзала. Ему нужен был непьющий работник. Климке — солидный работодатель. Они поладили. Климка нанялся на четыре месяца.

Устный договор предполагал абсолютное повиновение Андрейке на реке и у него в доме. А также немедленный расстрел за попытку прелюбодеяния с его женой. Ему было обещано килограмм чёрной икры в месяц, оленье мясо и белорыбицы «от пуза». Картошку — по праздникам. стакан водки в Новый год. И два процента от выручки при окончательном расчёте. Не новичок на реке, Климка расспросил о лимитах вылова, грузовом транспорте, рыболовной оснастке и сделал вывод, что уже в марте для него наступят щадящие времена. О нашествии морского зверя он не подозревал.

Сети проверяли один раз в два дня. Среди ночи пили чай. Выводили из пристройки снегоход с длинными грузовыми нартами. На нартах крепили высокий короб и ехали на реку. Андрейка предпочитает за рулём сидеть одиночно. В «случае чего» никто не помешает ему «катапультироваться» на лёд. Климка с Андрейкиной молодой женой Майкой, по паспорту Майкудой, располагаются на меховой постели внутри короба. Сверху на них брошены оленье шкуры. Андрейка требует, чтоб Климкины руки всегда лежали на бортах, а головы, его и Майкина, возвышались над пологом. Климка и Майка беспрекословно выполняют требования ревнивца и объясняются друг с другом при помощи глаз и ног. Майка даёт знать, что она принята в дом Андрейки на тех же условиях, что и Климка, жаждет свободы и до смерти боится мужа. Климка сочувствует ей.

Холод зверский. Снег высушен морозом. Противно скрипит под полозьями. Будто движутся они по пенопласту. Климкино лицо в куржаке и сосульках. Он перестал ощущать встречный ветер. Испуганные глаза Майки сигнализируют тревогу. Щека терять будешь, предупреждает она.

Спрятаться под шкуры Климка не может. Встаёт. Разворачивается спиной к Майке. И вывернутой овчинной рукавицей оживляет омертвевшие места.

Андрейка видит движение в коробе. Радуетса Климкиным мучениям. Понимает — сейчас работнику не до флирта.

— Твой мороженный глаз хорошо видит? — злорадствует он, — мой хорошо балок видит. Скоро чай будешь пить. Иди под шкуру — долго живой будешь, — великодушно разрешает он.

Повторять не надо. Климка ложится на дно короба, заползает под оленье пологость и, в отместку за злорадство хозяина, прячет лицо в волчий малахай Майки. Тёплые пальчики находят его щёку.

Передвижной балочек над смотровой лункой (майной) хорошо утеплён. По каркасу набит мех. Мех накрыт брезентом. Вдоль длинной стены широкий дощатый настил. На нём подушка и шкуры. У двери на гвоздях рыбацкий инструмент, за настилом, на полке — примус, посуда и рыбацкая печка-капельница. Вытяжная труба высоко поднята над балком. Её-то за несколько километров и усмотрел позвериному зоркий хозяин. Пола нет. Вместо него — хорошо утоптаный снег. «Майна» в центре балочка. Прогонный канат сети привязан к мощной угловой стойке балка.

Два дня пурги не было. Убраться вокруг балка для Климки минутное дело. Пока он зачищает и расширяет лунку от наросшего льда, Андрейка с Майкой готовят завтрак. Шумит примус.

Теперь внутри рыбацкого убежища тепло и светло. Работают без шуб и рукавиц. Андрейка вытащил из-под нар обитый белой тканью щит. Укрепил его торчком над лункой. Включил магнитофон, завёрнутый в белую тряпку. Сам спрятался за щитом с острой. Громко звучат вальсы. Климке с Майкой не видно, что происходит в воде. Но, судя по Андрейке, любители вальсов уже заняли свои места «в партере». Охотник напрягается. Поднял острогу. И что есть силы колет кого-то в воде. Шумный всплеск, стон.. и крик отчаяния, похожий на свист. — Маут! — вопит хозяин.

Климка отбрасывает щит в сторону. Падает на лёд. Набрасывает ременную удавку на голову нерпы. Втроём поднимают её из воды. Андрейка бьёт животное обухом топора. Чёрные, влажные, умирающие от боли и страха глаза нерпы гаснут и закрываются. Тушу вешают на крюк, специально устроенный под потолочной конструкцией. Андрейка делает надрез на горле зверя. Майка уже наготове с кастрюлькой. Посуда быстро наполняется. Андрейка подсаливает кровь. Жадно пьёт через край. Предлагает Климке. Того тошнит. Майка не сводит глаз с мужа. Наконец наступает её черёд. Пьёт жадно. Так пьют в жару воду из ведра у колодца. Широкое скуластое лицо измазано кровью. Она вожделенно причмокивает. Закрывшись кастрюлькой и подмигивает Климке. Чем не кадр для кинофильма о вампирах! Утолив жажду, Андрейка с Майкой свежуют зверя.

Бедная любительница вальсов! На какую неожиданную наживку тебя подловили человеки. А нас разве не подлавливают? Нам подобные! Не на вальсы. На марши. На сказочки о национальном и религиозном превосходстве. На басни о красивой жизни. О солдатском братстве. Кто-то наживался на искусно раздуваемой ненависти. А кто-то истекал кровью, как эта нерпа. Но по-прежнему мы спешим туда, где играют марши.

После завтрака проверяют сеть. Майка уходит за две сотни метров от балочка. Будет слабить натяжной канат. Климке доверена простая операция. Поднять сеть из воды. Вес немалый. Сотня грузил-кирпичей. Полтонны рыбы! Водоросли и облепившие нитку рачки не в счёт. Каждым наклоном-разгибом Климка поднимает сеть на треть метра. Четыре-пять таких движений, и они набрасываются на улов. Выпутывают рыбу. Не кусанную нерпой складывают в угол. «Порченую» вышвыривают в открытую дверь. Великолепные толстые муксуны, нельмы, чири и омули будут лежать в снегу до весеннего паводка. Ржаветь, вымораживаться — и со льдом уплывут в океан. Только отдельные, полутораметровые нельмы, хотя и растерзанные зверем, достаиваются Андрейкиного внимания. И остаются в балке.

Рыбу выбрали. Встряхивают сеть. Климка лопатой выгребаёт из-под неё миниатюрных чудовищ. Их несколько видов. Рогатых рыбок с шипами на голове и спине и выпученными розовыми глазами Андрейка называет дедушками. Широких и плоских рачков с наростами, похожими на бородавки, — бабушками. Бабушки, по его мнению, — полезные создания.

— Таких в брюхе рыб много валяется, их в воду бросай, — приказывает он.

А бесполезных дедушек вываливают на мороз.

С каждым проверенным участком сеть становится легче и дело идёт быстрее. Спустя четыре часа в балок возвращается Майка. Грузят рыбу. Короб полон. Ещё больше рыбы осталось на снегу. С таким уловом «Бурану» всех не вывезти. Кто-то один должен остаться в балке. Или идти в посёлок пешком. У Андрейки решение давно готово.

— Мужики рыбу сдавать будут. Высоко носить. Баба спать будет. Пойдёт домой сегодня придёт. Не сдохнет.

Холодный склад, куда сдают улов, по размерам равен двухподъездному двухэтажному дому. Рыба в складе навалена под крышу, её здесь сотни тонн. На рыбе лежит трап. По нему надо подняться с тяжёлыми носилками до последних ступенек и вывалить груз в общий бурт. Нельму взвешивают отдельно. Огромные рыбины стоят у стены рядом с весами, как доски. Наконец Андрейке выдали квитанцию — дело сделано. Можно расслабиться. Климке не даёт покоя брошенная на снег рыба. У него есть предложения. Андрейка пренебрежительно выслушивает, отвечает нехотя, сквозь зубы. Он в грош не ставит рассуждения дилетанта.

Филе? Пять копеек! Тёшку коптить? Завод сам коптит — пять копеек! Фарш? Через мясорубку? — стакан в руке хозяина замирает. Пристально смотрит на Климку. Набросил шубу. Выбежал на мороз. Возвращается нескоро. Природой заложенные в его характер сдержанность и вкрадчивость теперь не могут скрыть обуявшего Андрейку торжества. Он добр, как никогда. Предлагает выпить. Вне графика.

— Хорошо придумал, — хвалит работника, — башка ум, как котёл уху, хорошо варит. купишь в городе мясорубку — в интернате такую видел — шибко богатые будем.

Климка не без гордости сознаёт, что его идея приобретает черты реальности. Но надорванная на «майне» спина и сожжённые на морозе щёки напоминают, что Андрейка не тот рубаха-парень, каким теперь представляется.

Сегодня хозяева заработали пятьсот рублей, ему заплатят — десять! И смущения у хозяина ни в одном глазу. Поэтому он отвечает уклончиво, хотя и обещающе.

— За балык и икру приятели чёрта смастерят.

— Сколечко надо?

— Дело не в «сколечко», — осаживает Климка Андрейку, — я рискую. С икрой поймают — посадят. На заводе с мясорубкой задержат — посадят. Икру и деньги в тюрьму не возьмёшь.

— Одну ночь Майкиным мужем будешь? Климка крутит пальцем у виска. — Крыша, братан, поехала?

Действительно, он не хочет спать с Майкой. После всего увиденного на реке, это всё равно, что спать с медведицей.

Андрейка доволен его отказом. Допивает из бутылки остаток.

— Деньги не берёшь. Майку не берёшь — что берёшь?

— Две тысячи беру.

— Шибко много.

Климка пожимает плечами:

— Твои проблемы!

Уступать он не намерен. Глаза хозяина закрыты. Но вдруг вскочил. Сел на кровати.

— В клуб иди... жену ищи... Скоро шибко богатым будешь. Большой горе мяса хозяин будешь. Твоей башке хорошо думать надо. Моей башке крепко спать надо.

— За Майкой не едем? — удивляется Климка. — Одна на реке...

— Нерпа есть... рыба есть... Кровь пила — не сдохнет.

Два дня Андрейка на реку не едет. Капканы не смотрит. Бродит по соседям. Климка с Майкой весь день наедине. Куда его ревность делась? Но и Майка другой стала. Андрейку жалеет. Климку ругает. Зачем русский Андрейке о мясорубке сказал? Денег нигде нет. «Буран» хочет продать.

Без «Бурана» — зачем мясорубка? Вчера мамонта продавал. Совсем мало денег дают. Климка насторожился. Шутит Майка? Или большая гора мяса — это и есть мамонт?

Женщина замечает его интерес и вдохновляется. Всё, что связано с мамонтом, — главные события её жизни.

— Лето было — купец двадцать тысяч бросал. Андрейка говорил — мало! Теперь две тысячи брать будет. Люди говорят — денег нет... долг давай бери... магазин долг понимает...

— Если хозяйева не сговорились, — думает Климка, — в Калуге корова две тысячи стоит. Дом дострою. В навигацию кости вывезу. Соберу чудовище перед домом. И, как в Москве, вывеску нарисую: кафе «У мамонта». Все деньги мои будут! Скорее бы пришёл Андрейка!

— Мамонта продаёшь?

— Продаю.

— Сколько просили?

— Две тысячи

— Я тебе мясорубку — ты мне мамонта?

Андрейка улыбается, тянет руку.

— Мясорубка будет — мамонт будет.

— Товар где?

— Снег будешь бросать?

Климка утвердительно машет головой.

— Завтра едем...

По реке едут недолго. Въехали в Андрейкины охотничьи угодья. На бесконечную холмистую долину. Под одним из холмов Андрейка лопатой очертил круг.

— Здесь, однако

Через час Климка, как в колодце.

Снегу нет конца и края. Неужели разыграли? Наконец, лопата звякнула. Бивень! Климка заработал, как снегоочиститель. Конец бивня плоский. Срезан пилой.

— Такой мамонт мне не нужен, — кричит Климка.

Андрейка улыбается, как фокусник после удачного трюка.

— Купец тысячу давал. Я рог пилил. В Волочанку летал. Майку покупал. Этот мамонт худой. Маленький. Тебе большой продам, дедушку, айда ещё копать!..

Наверху дует. Мокрого Климку колотит. Быстрее бы в короб, под шкуры. Но снова снег и большая лопата в обледеневших рукавицах. Чёрт бы побрал и хозяйна, и его мамонта! Влип хуже, чем с рыбой, — думает Климка. К счастью, здесь холмик, и снег не такой глубокий, как в первой могиле. Часа не прошло — дорылся до сухой травы.

— Никакого мамонта нет, — орёт взбешённый Климка.

— Чеши трава лопатой, — советует Андрейка.

Климка щупает подножье осторожными ударами. Под ногами труба, замороженная в землю. Скребёт лёд пальцами — кость. Доисторический великан лежит на боку.

Спустя несколько дней Климка с ведёрком икры и мешком вяленой рыбы входит в цех Норильского механического завода.

Через семь лет, в 96-м голодном, в Норильске у рыбного магазина Климка стал в небывало длинную очередь. Из тундры привезли дешёвый рыбный фарш

в килограммовых брикетах. Зарплату на комбинате задерживали, и при общем безденежье этот товар для многих был истинным спасением. Фарша Климке не хватило, но с продавцом он покалякал.

— Из Сорокина товар?

— Был там? — удивился продавец.

— Андрейкина продукция?

— Его.

— Как он?

— Брюхатый и богатый.

— Когда-то мне мамонта продал за мясорубку.

Продавец улыбнулся:

— Слышал про это. Корпус титановый...

— Шнек и ножи никелированные, — добавил Климка.

— Точно. На ней и кручено. Говорят: продал, а землю трогать не разрешил.

— Зла не держу. Чем бы народ сейчас кормился? Сам он как? Дети есть?

— Дочки. Беленькие, в маманю.

— Беленькие?

— Клавка русская. Он у неё как грузчик. Она торговлю крутит.

— А Майка? Майкуда по паспорту?

— Такой женщины не знаю.

По этому случаю он достал из-под брезента два припрятанных брикета.

— Долг за мясорубку!..

Они посмеялись над прошлым.

SALVE

SALVE

По времени опять зима,
Которой нет еще в природе, —
Тебе не приложить ума,
Куда твой ум тебя заводит,
Тебе, а стало быть, и мне,
А стало быть, и всем попятный
Заказан путь, зато вполне
Качнется маятник обратно,
И всякая живая тварь
Осоловеет от наитий —
О царь природы, Календарь,
Ты для кого теперь спаситель?
Внемлите, смертные: зима
На этот раз прошла не мимо —
За окнами, как есть, сама
Природа явлена без грима.
И с точки зрения небес
Я соучастник и свидетель
Того, как Древний Рим воскрес
И начинается с междометий.

ПРЕЧИСТАЯ БАЛЛАДА

Он был обладатель приза
За лучшую роль-анфас,
Ее звали Мона Лиза,
Как мало кого из нас.

И вплоть до ее финала —
Таков уж ее финал —
Она его тайно знала,
А он ее знать не знал.

Он умер спустя три года,
Став людям еще родней,
Кумир всех слоев народа,
Чего не скажу о ней.

И если любовь от Бога,
Что впрямь исключает грязь, —

Не будем судить их строго
За столь непростую связь.

МИФ О ЦАРЕВНЕ

Без признаков распада
Лежит в гробу девица;
Тот, кто решит, что надо
Ему на ней жениться,
Обязан, выйдя к месту,
Где установлен гроб,
Поцеловать невесту
Желательно не в лоб,
На трудности не глядя
С позиций естества,
Не плюрализма ради
И не от скуки, а
Чтоб знали эти суки,
Кто, все-таки, герой —
Душе такие штуки
Нужней любви порой.

ЗДРАВИЦА (триптих)

... несть эллина, несть иудея...
Ап. Павел. Первый век н.э.

1.

У нас в Израиле культура
Эпохи короля Артура —
Сплошные темные века,
Которые покроеет слава,
Вся в духе англо-скандинава,
Вся будто свет из тупика.

2.

Я думаю так: вещества каждый атом
Живет, прирастая одним плагиатом,
И Родина наша вполне плагиат,
Как Штаты и каждый в отдельности штат,
Где эллина несть сообразно идее
Апостола Павла, а вот иудеи...

3.

И Ленин в октябре,
И вишня в шоколаде,

И бес в моем ребре —
Какого Бога ради?

Зачем, как старший брат
И света тайный признак,
Оптических утрат
Во сне мелькает призрак?

Из всех племен и рас
Мы самые плохие,
Но сдохнут прежде нас
Враждебные стихии.

И кто бы ни был прав,
А ты не прав, хоть тресни,
Физически будь здоров
В контексте данной песни!

РУССКИЙ РОМАН

От правды к правде льнет Григорий
Другим во вред, себе на горе —

Когда война, тогда на свете
Лишь постоянство — добродетель.

Грехи выматывают душу,
Но только крепче любит Ксюша,

Но только горек хлеб Иудин —
Себя поймешь, поймут ли люди?

И солнце черное в итоге
Земные высветит дороги —

От правой и неправой власти
До беспринципной бабьей страсти.

АМНЕЗИЯ

Хоть встречаемся реже,
Только сцена все та же,
И на сцене все те же,
Несмотря на пропажи.
Бунтовать бесполезно,
Корча, пусть даже лица, —
Тут ни вовсе исчезнуть,
Ни вовсе появиться,
Даже выпасть в осадок
Не сподобишься сам —
Если это порядок,

То законных сто грамм
Примешь с горя на этом,
Словно Леты на том,
Поменяешься светом
Со своим двойником,
Разучив упражненье,
Непременно дойдешь
До синдрома забвенья,
Чем и станешь хорош,
Точно муха на торте,
Вся уже из него,
По ту сторону черт-те
Бог весть знает чего.

УТРО ПОМЕЩИКА

Сижу в своем имении,
От истин ротозея,
Как говорили древние:
«The truth is out there».
Играем в прятки – Бог и я,
Друг другом озадачены –
Vivat, конспирология,
Мои счета оплачены:
И словно таски женские,
Поляны философские,
Дизайны Достоевские,
Палаты склифосовские,
Где верю и не верю я
Без всякого Писания,
Что данная империя
Падет в одно касание.

ПРЕЛЮДИЯ

Может быть, я был послушен,
Ну а может, не вполне –
Возвращаю Богу душу
За ненужностью мне.

Что мне Ленин, что мне Сталин,
Что мне сам Наполеон –
Был отчасти я бездарен
И отчасти одарен.

Как дела? Похоже, глухо –
Вся игра короче блица –
Если правда смерть - старуха,
То, выходит, жизнь – девица.

Обе душу колобродят
И не ясно вместе с тем –

Первая ко всем приходит,
А вторая — не ко всем?

Я к старухе не ревную,
Я девицу не сужу —
Забываю жизнь иную.
Как на эту погляжу.

С ней раскланиваюсь мило,
Говорю ей: «Жизнь моя,
Мне неважно, сколько было
У тебя таких, как я.

Я готов подумать дважды,
Даже трижды, может быть,
Прежде, чем тебе однажды
Со старухой изменить.

Я тебя в Одессе встретил,
Помнишь, зимнею порой?..»
Отвечает: «Здравствуй, Петя,
До свиданья, дорогой».

ПЕТРУШКА

Я заболел болезнью кожи
и стал прозрачным, как стекло —
возможно, был предрасположен,
а может быть, не повезло.

Я потерял свой цвет, однако
отнюдь не запах, и за мной
друг человечества собака
идет, как преданный конвой.

Она породы нехорошей,
но все же волка ипостась,
а я и вовсе образ Божий,
о чем напоминает власть

души над телом. И порою
мы по-хозяйски, не спеша
идем по городу, нас трое:
собака, тело и душа.

КАК НИГДЕ

Не исходя от тоски
Или, допустим, от стресса,
Просто поедем в Лески —
Это почти что Одесса,

Это почти что тайга,
Только безлюдней и краше,
Раз в два-три года снега
Сходят на здешние пляжи,
И отвердев на песках,
Тают не слишком упрямо
Вплоть до последнего грамма —
Вы не бывали в Лесках?

ГУД БАЙ, АМЕРИКА!

РАССКАЗ

Обе ее дочери живут в Америке. Вполне счастливо и благополучно.

Во всяком случае, именно так все выглядело на фотографиях, которые старуха получала на Рождество и в день своего рождения.

В последний раз старуха видела своих девочек (сорока и сорока пяти лет нынче) шесть лет назад. Как раз перед их отъездом в ту самую Америку.

Теоретически — ее могла взять с собой Элла. Или Нелли.

Но у Элочки такое слабое здоровье, и она так долго не могла выйти замуж, все чего-то ждала, искала, ошибалась, пока наконец не встретила своего художника, очень капризного и своенравного, — нет, лучше уж не путаться под ногами.

Муж старшей, Нелли, хирург, терпеть не мог тещу. Хотя слова грубого никогда не сказал — воспитанный человек. И промолчал бы, уступив Нелли, — как пить дать. Да только Нелли совсем не улыбалась перспектива тащить престарелую мать в страну, в которой у самих еще все вилами по воде писано.

В общем, никто ничего не предложил.

Никому оказалась не нужна старуха за семьдесят в новой американской жизни, где предстоит землю грызть зубами, чтобы чего-то добиться. И не просто чего-то, а вполне прочного американского благополучия.

Продали родительский дом, выручив очень хорошую сумму, нашли опекуна для старухи (возни оказалось много, а куда деваться, если не уедешь, просто и быстро сдать родительницу на руки государству, — требуется ответственное лицо, в случае чего берущее на себя все хлопоты по организации похорон и оформлению соответствующих бумажек) — приличного, немолодого, бывшего профессора, сложили в два чемодана мамочкины пожитки, наняли грузовичок, погрузили комодик и сервантик из красного дерева, помахали ручками на прощание, обещались звонить и через полгода взять маму на побывку недельки на две.

Поначалу старуха ждала, часто плакала, стоя у окна. Волновалась, когда открывалась дверь или раздавался телефонный звонок. Дело кончалось скачущим вверх давлением, сердечными приступами и капельницами.

Ничего, обсуждали сироту-старуху медсестры, повывавшие на своем профессиональном веку такого, что скулы сводило, стерпится, привыкнет, а потом, глядишь, из ума выживет — тогда уж ей и вовсе пополам будет...

Медсестры оказались правы: года через полтора старуха плакать перестала, сердечные приступы закончились, а вместо «Спокойной ночи» весело отвечала персоналу: «Гуд бай, Америка!»

Медсестры вежливо улыбались, за дверью же крутили пальцем у виска.

Старуха почти до рассвета лежала без сна, а когда закрывала усталые глаза, из которых катились произвольные старческие слезы, видела своих девочек совсем еще маленькими и нежными. И любила их, и желала им здоровья и благополучия, как желает каждая мать своим детям, даже если эти дети последние паразиты.

В восемьдесят старуха перестала выходить на прогулки в парк, спускаться к завтракам, обедам и ужинам в ресторан на первый этаж, спокойно преодолевая двадцать ступенек вниз и столько же наверх — в свою комнату на втором этаже, окнами в лес.

Теперь она любовалась пейзажем, сидя в инвалидном кресле, поскольку ноги перестали держать легкое и сухое тело старухи.

В определенных часы приходила медсестра — узнать, не хочет ли старуха сходить по-маленькому или по-большому.

Хотя знала: спрашивать бесполезно.

Каждый раз оказывалось или слишком рано — памперс еще сухой, или слишком поздно — приходилось менять и трусы, и юбку, и колготки. Медсестры злились, а старухе хотелось плакать от стыда: странно, но она совсем не чувствовала необходимости пописать раз в два или в три часа, как должно быть, если верить медсестрам. Она вообще больше не чувствовала своего тела. Но разве можно понять это в тридцать, сорок или пятьдесят лет?!

Старуха не любила, когда медсестры появлялись в ее комнате. Ей хотелось остаться одной. Даже мокрой с головы до ног. Лишь бы никто не мешал.

Говорят, молодость коротка. Не успеешь оглянуться, как пройдет.

Коротка — это факт. И пройдет — оглянуться не успеешь.

Хорошо еще, что в старости остается достаточно много времени, чтобы успеть шаг за шагом, минуту за минутой, мгновение за мгновением вспомнить все случившееся до этой самой старости, когда кроме воспоминаний просто уже больше ничего действительно нет.

Старуха вынимала из комодика красного дерева большую коробку с фотографиями — главное ее сокровище, хотя в комодике имелись и другие: десяток старинных ожерелий из черного и розового жемчуга — доставшихся в наследство от бабушки, перстни с бриллиантами, подаренные мамой, бывшей замужем за процветающим адвокатом, и несчетное количество золотых и серебряных колец, изготовленных мужем.

Муж был ювелир. И не просто ремесленник какой — таких на свете пруд пруди, а — художник. И каждое колечко — как песня. Хоть сейчас в музей.

Нелли и Элла как-то заикнулись: что ж ты, мама, все одно носить тебе уже не придется колечек этих, поделила бы между нами, все-таки мы тебе дочери.

Вот помру, отрезала старуха, для девочек своих готовая, впрочем, жизнь пожертвовать, тогда и делите, до смерти все при мне останется — как память о вашем отце.

Искореженными и плохо гнущимися пальцами старуха перебирала снимки-воспоминания: вот она еще до замужества со своим возлюбленным.

Неужели это правда он? Этот красивый, черноволосый, обаятельный?

Неужели это ему она поставила в церкви свечу почти двадцать лет назад? И никак не могла поверить, что можно в шестьдесят с небольшим, ни разу не сходяв ни с одной жалобой к врачу, вдруг взять и умереть от рака.

Неужели это правда она?

В белом платье в парке на скамейке, вся в солнечных бликах, улыбается черноволосому молодому мужчине, надевшему ей на безымянный палец серебряное колечко. После парка они пошли гулять в поле. Шуршали кузнечики, невидимые в густой траве.

Жизнь назад, а она до сих пор помнит его нетерпеливые влюбленные руки, свою растрепавшуюся рыжую косу и испачканное зеленью травы платье. Единственное выходное платье. Он так расстроился, а она смеялась: просто тряпка, что жалеть? Есть вещи в мире подороже!

Неужели это правда ее девочки?

Десятилетняя Нелли с пятилетней Эллочкой у витрины магазина детских игрушек. Уже тогда можно было заметить суровинку в глазах старшей, оказавшейся способной, повзрослев, пройти по головам даже самых близких, лишь бы добиться своего. Уже тогда в беспомощности и болезненности младшей обнаруживалась сила, которой она не раз умело пользовалась впоследствии.

Неужели это правда они?

Она разглядывала их общий с мужем снимок — пятнадцатилетие семейной жизни. Глянцевая фотография размером двадцать на восемнадцать блестит на комодике: ей тогда исполнилось сорок пять, мужу — сорок шесть.

Старуха помнит, как после застолья, когда уже разошлись гости, а дети спали, они пошли в жарко натопленную баньку, выстроенную мужем за три всего месяца, как вдруг она застеснялась после пятнадцати-то лет семейной жизни его обжигающего взгляда, как залюбовалась загоревшими руками, как, прижавшись к нему, поняла — молодости осталось всего ничего, но еще есть время, чтобы ощутить всю оглушительную по силе горящую прелесть радости этой единственной жизни.

Старуха сидит в застиранной желтенькой кофточке у окна, потом начинает медленно кататься в инвалидной коляске по комнате из угла в угол, из стороны в сторону.

Заглядывает медсестра, ироничный взгляд ее красноречив: вот идиотка старая, состряпала физиономию, будто дело у нее какое важное.

Сама идиотка, думает старуха.

А дело у нее действительно есть. И притом — неотложное.

Старуха ищет свою смерть, но нигде не может найти ее.

Она открывает тяжелые дверцы платяного казенного шкафа, в котором лежат куцые подушки, желтые и зеленые памперсы. Желтые рассчитаны на день, зеленые — на ночь.

В шкафу ее нет.

В серванте тоже пусто — не считая нескольких ваз и чайного сервиза, купленного старухой перед самым переездом в дом для престарелых.

И в ванной комнате обнаруживается вполне ожидаемое: полотенца, сложенные в стопочку, матерчатые мочалки, тюбики с кремами и притирками для папирусной старческой кожи.

Старуха ищет свою смерть. Но нигде не может найти ее.

Даже за окном.

Там — серый промозглый день, черные ветви деревьев, остатки ноздреватого пористого снега между сизых корней розовых кустов.

Но и это — жизнь. Потому что придет весна.

Старуха снова вынимает коробку с фотографиями — может, смерть там, где воспоминания?

Почувствовав усталость, старуха подъехала совсем близко к кровати, перебрала легкое тело на матрас, застеленный белоснежным казенным бельем, опустила закружившуюся голову на подушку, а потом заснула.

И нашла ее.

Молодость глянецом блестела на комодике.

Дочери на похороны не приехали: что за глупости, тратить деньги и тащиться в такую даль только для того, чтобы бросить горстку земли на крышку гроба. Подумаешь — ритуал...

Старшая дочь факсом отправила опекуну хранившуюся в ее деловых бумагах опись всех украшений старухи, перевела деньги на покупку билета.

Вечером, после похорон, опекун вылетел в Америку и доставил наследникам все драгоценности в целостности и сохранности.

А вот фотографии профессору так и не удалось найти, хотя младшая дочь очень настойчиво просила привезти и не забыть — будет что показать американским друзьям. Американцы, как выяснилось, крайне почтительно относятся к родственным связям, так что фотографии из семейного альбома не помешают.

Но коробочка оказалась пустой.

Кому нужны фотографии постороннего человека?

И главное — кто и когда?

Случаев воровства в доме для престарелых еще не бывало.

Тактичный профессор насчет невероятности краж промолчал, имея в виду исчезнувшее с безымянного пальца старухи тоненькое серебряное колечко, а вот недоумение по поводу «кто позарится на фотографии» разделил с медсестрами целиком и полностью.

Это ж чужие воспоминания, кому они нужны?

И они действительно никому не нужны.

Поэтому старуха забрала их с собой.

СЕРАЯ ЗОНА

РОМАН¹

13

Совещание проходило на вилле Шмуэля в Кесарии. В одном из малых залов был сервирован стол на четверых. Присутствовали Алекс, Андрей и Рон. Настроение у всех было приподнятое. Перед началом делового разговора Шмуэль предложил «сделать лехаим» и пообещал, что это будет «что-то особенное». Он нажал кнопку, и в комнату бесшумно вошел слуга в белоснежном кителе, неся на подносе бутылку вина. Шмуэль осторожно взял ее в руки и благоговейно прочитал название: «Мутон Ротшильд урожая 1874 года». Он сделал многозначительную паузу и задал риторический вопрос: «Если кто-то из молодых людей уже пробовал это вино, пусть скажет, что это такое?» Желающих сказать не нашлось. Тогда Шмуэль торжественно провозгласил: «Открывайте, Яков». Яков вынул из шкафчика специальный штопор и, манипулируя им, как нейрохирург, осторожно извлек пробку. Шмуэль взял ее из рук Якова, понюхал и предложил сделать то же остальным. Закончив ритуал, он произнес в нарочитой манере местечкового еврея: «Яков, молодые люди не возражают сделать лехаим. Или вы не нальете им по рюмочке?»

Несмотря на окружавшую его непривычную роскошь, Алекс вдруг почувствовал себя очень уютно, по-домашнему. Шмуэль живо напоминал ему деда, местечкового балагулу². Те же словечки, те же интонации, тот же хитрый прищур глаз. Правда, дед никогда не пил «Мутон Ротшильд» и не угощал им знакомых. Он пил сливянку собственного приготовления, а по семейным праздникам предпочитал стакан водки. После чего делал шумный выдох и закусывал соленым огурцом. И еще дед загонял гвоздь в доску ударом кулака, обернутого седельной кожей. Последний раз он пустил его в ход перед расстрелом, когда одним ударом перебил немцу шейные позвонки...

Яков наполнил невысокие плоскодонные бокалы тончайшего стекла и бесшумно удалился.

– Маленькими глотками. Умоляю вас, маленькими глотками, – Шмуэль не переставал священнодействовать вокруг «Мутон Ротшильд». – Ну, лехаим.

Каждый немного отпил. Шмуэль обвел гостей ожидающим взглядом, как бы приглашая высказаться. Первым решился Андрей: «Хорошее вино, даже очень хорошее». Шмуэль возмущился: «И это все, что ты можешь сказать. Боже, с кем я имею дело. Это же музыка, Кол Нидре³. Ты просто ничего не понимаешь». Рон Берман поспешил исправить положение: «Ты прав, Шмуэль, это что-то особенное».

¹ Продолжение. Начало см. в № 8.

² Извозчика – идиш.

³ Песня-молитва, произносимая в Судный день.

– Ну, а что скажет профессор? – Шмуэль решил провести полный референдум.

– Ничего подобного раньше не пробовал, – честно признался Алекс, хотя по одному глотку и не мог сказать, что в этом напитке такого особенного. – Давайте допьем, тогда можно будет сказать более определенно.

Вино, действительно, было необычайно тонким, ароматным, но не опьяняющим. Такие старинные вина годились не для застолья, скорее это был инвестиционный атрибут богатого дома. Не спеша выпили всю бутылку, поели фрукты.

– Ну хорошо, – Шмуэль был разочарован и решил закончить ритуальную часть. – С одной жидкостью мы с грехом пополам разобрались. Здесь вы, конечно, не специалисты. Перейдем к другой, которую продают не литрами, а баррелями. Кстати, чтобы вы все-таки знали, что пили. Эта бутылка обошлась мне в восемь тысяч долларов на аукционе Сотсби... Мы слушаем тебя, Алекс.

Алекс подробно рассказал все, что произошло в Канаде, включая игру в кошки-мышки с «Игл Корпорэйшн». Особо отметил высокий профессионализм Габриэля и сказал, что хотел бы работать с ним и дальше. Потом разложил карту и показал на ней месторождение Камерон.

– Вот этот овал и есть конечный результат нашей работы. Длинная ось двадцать четыре километра, короткая – девять. Толщина нефтяного пласта от тридцати до сорока метров.

– Ну и сколько же этот огурец, или, по-твоему, овал, может стоить на рынке? – Шмуэль перешел к главному вопросу.

– При сегодняшней цене за баррель он стоит не меньше трехсот миллионов долларов, а скорее всего больше. Зависит от конъюнктуры и покупателя. Прошу иметь в виду, что это рыночная цена всего месторождения сразу. Стоимость самой нефти примерно в десять раз больше, но чтобы добыть ее, требуется не менее двадцати лет.

– Что значит – цена зависит от покупателя? – не понял Рон Берман.

– Есть компании, которые хотели бы проникнуть на канадский рынок. Они готовы заплатить больше, чем те, которые уже имеют там месторождения.

– Как будем продавать эту «недвижимость»? Я в своей жизни продавал и покупал почти все, но нефтяные месторождения не приходилось, – Шмуэль не скрывал, что это совершенно новый для него бизнес.

– Так же, как и любую другую собственность. Надо дать объявления в нефтяных журналах и деловых газетах. Указать, где находится месторождение и каковы запасы нефти. Но сначала нужно открыть офис в Гибралтаре и сообщить в объявлениях его адрес, телефон, факс и электронную почту. Вот примерно так нужно действовать, – Алекс изложил общий план.

– Кто тебе для этого нужен?

– От нас только Рон, Габриэль и еще кто-нибудь из людей Бен-Эзры по выбору Габриэля. Технический персонал подберем на месте.

– Хорошо, – подвел итог Шмуэль, – у меня возражений нет. Кто хочет что-то добавить?

– У меня такой вопрос. Покупателю ведь недостаточно посмотреть технические и юридические документы в Гибралтаре. Он должен увидеть и само месторождение, – заметил Андрей.

– Разумеется. После экспертизы документов в Гибралтаре мы с ним, вернее, с ними (как правило, это группа экспертов) полетим в Канаду, все посмотрим на месте, оформим сделку официально по законам провинции Альберта. Это обязательная часть процедуры купли-продажи.

– Ну что ж, в добрый час. Когда планируешь выезд? – спросил Шмуэль.

– Думаю, через неделю.

– Рон, у тебя все готово? – обратился Шмуэль к адвокату.

– Почти. Через неделю будет все, что требуется.

– О'кей, тогда я позвоню Бен-Эзре насчет Габриэля. Ну, давайте еще раз сделаем лехаим за успех.

Все выпили по бокалу сухого «Ярдена».

14

Для офиса «Дабл Эй» был снят старинный двухэтажный особняк в Буэна Виста, тихом южном районе Гибралтара. Наверху были кабинеты Алекса, Рона и общая приемная с двумя секретарями. Внизу – зал заседаний и комнаты Габриэля и Гидеона. Кроме того, имелись свободные помещения, которые можно было разделить временными перегородками и превратить в рабочие комнаты. Здание оборудовали системой наблюдения и сигнализации. Все было готово к началу рекламной кампании. Объявления о продаже Камерона были разосланы в несколько ведущих нефтяных журналов, а также в газеты «Уолл Стрит Джорнэл» и «Файнэншиэл Таймс».

Тем временем «Игл Корпорэйшн» и еще две компании, которые вели разведку на остальных блоках в районе трех озер, закончили сейсмические исследования и пробурили пять скважин – по одной на каждом блоке. Все они оказались сухими, без нефти. Такая тотальная неудача на фоне загадочного успеха «Дабл Эй» требовала детального геологического анализа и объяснения.

Билл Дэвис и Джек Тэйлор вынуждены были снова вернуться к этому вопросу. После скандала в Чикаго они приложили немало усилий, чтобы дистанцироваться от итальянской аферы, как она стала официально называться в компании. Во время расследования они старались держать «низкий профиль», и их репутация не пострадала. По молчаливому согласию они долгое время избегали касаться всего, что связано с «Дабл Эй», ибо именно от нее потянулись нити в Милан. И вот теперь они снова попытались разобраться в этой загадочной истории. И сделали это вдвоем, не привлекая никого больше.

– Итак, Джек, с чего начнем? – Дэвис перебросил мяч Тэйлору.

– Я бы хотел начать с того, чем закончил в тот раз, когда мы обсуждали этот вопрос с Флемингом. Как помните, Билл, я сказал тогда, что если я прав, то на пяти других блоках, включая наш, нефти нет. К сожалению, я оказался прав. И сейчас я более чем когда-либо убежден, что «Дабл Эй» работает прямым методом. Для меня до сих пор остается загадкой, что наш генерал натворил в Италии. На кого он там вышел? Или на кого его вывели? Это вообще темная история. И я бы хотел вернуться к ее истокам. Как вообще возник этот итальянский след? Насколько я помню, впервые намек насчет итальянцев прозвучал в вашем выступлении в Чикаго. Не так ли, Билл?

– Да, действительно, у меня возникло такое подозрение. Но потом, помните, его подтвердил Фрэйзер из «Независимых детективов». Так что Андерсона занесло в Италию не из-за меня, а скорее из-за Фрэйзера.

– Слушайте, Билл, поймите меня правильно. Мы с вами сейчас не как вы на комиссии. И если мы действительно хотим распутать этот клубок, то начинать надо сначала. Могу ли я все-таки спросить – как у вас возникло подозрение насчет итальянцев?

– Ну, во-первых, в Чикаго я сказал, что полной уверенности в том, что «Дабл Эй» итальянская компания, у меня нет. А что касается причин для подозрений, то, честно говоря, сейчас они не кажутся мне такими серьезными. Мне бы не хотелось уточнять. Знаете что, Джек, а не вернуться ли нам снова к записи, которую Фрэйзер сделал в Вермиллионе? Пусть ее прослушает кто-нибудь из наших итальянцев.

– Вы в чем-то сомневаетесь? Я не очень понимаю.

– Сейчас поймете.

Дэвис вызвал секретаря.

– Пригласите, пожалуйста, Сильвию Маленотти из финансового отдела.

Через несколько минут в кабинет вошла женщина лет сорока ярко выраженной средиземноморской внешности.

– Здравствуйте, Сильвия. Нам требуется ваша помощь. Экспертиза, я бы сказал. Вы сейчас прослушаете короткую магнитофонную запись. Там есть несколько слов по-итальянски. А потом я задам вам пару вопросов.

Дэвис вставил кассету и включил магнитофон. Сильвия внимательно слушала.

– Вы хотите спросить, мистер Дэвис, что такое «буона ноттэ»? Это «спокойной ночи».

– Спасибо, Сильвия. Еще один вопрос. Не могли бы вы сказать, судя по произношению, – это итальянцы или нет?

– Нет, мистер Дэвис, это не итальянцы. Тут нет сомнений. Интонация совершенно не итальянская.

– Спасибо, Сильвия. Вы нам очень помогли.

Когда Маленотти ушла, Дэвис обратился к Тэйлору.

– Ну, теперь вам понятно, Джек?

– Да, теперь понятно. Они обвели нас вокруг пальца. Здесь напрашиваются два вывода. Во-первых, они обнаружили «жучки» Фрэйзера. Такую возможность еще можно допустить. А во-вторых, впечатление такое, будто им было известно, что говорилось об итальянской версии на Совете директоров в Чикаго. И они решили отправить нас по этому следу. Иначе – зачем устраивать этот спектакль с «буона ноттэ»? Теперь у меня нет даже уверенности, что они вообще связаны с «Петролеум Италияно». Бедный Андерсон. Мне начинает казаться, что мы все – жертвы какой-то ловкой мистификации.

– Не знаю, Джек, не знаю. Мы что-то еще больше запутываемся. Уж не связаны ли с ними кто-то из Совета директоров? Теперь я бы ничему не удивился...

На следующий день Тэйлор зашел в кабинет Дэвиса. Он был заметно возбужден. В руках у него был свежий номер «Файнэнншиэл Таймс». Тэйлор раскрыл газету на странице объявлений и положил ее на стол перед Дэвисом. Текст в большой черной рамке был обведен красным карандашом.

– Что это значит, Джек? Они что – продают Камерон? – Дэвис не скрывал удивления.

– Ничего другого из этого не следует. Это не настоящая нефтяная компания. Они действуют по принципу «хватай и беги», в смысле – «открывай и продавай». Случайные люди в нашем бизнесе.

– Да, но как же тогда им удалось так ловко все повернуть на Камероне?

– Это другой вопрос. Я по-прежнему убежден, что у них есть «наводчик», который владеет методом прямого обнаружения. Я имею в виду, что здесь комбинация метода и больших денег. У них нет своей инфраструктуры – это ясно. Только метод и деньги. Поэтому они и сидят в Гибралтаре. С таким же успехом могли выбрать Каймановы острова или любой другой оффшорный угол.

– А как же ваша идея насчет того, что за ними стоит какая-то крупная корпорация?

– Теперь я в этом не уверен. В таком случае они не стали бы продавать Камерон.

– Знаете, о чем я сейчас подумал, Джек? Хотя Андерсон и попал в дерьмовую историю, но его слова о том, что существуют только два способа выжить, остаются в силе. Я имею в виду – или метод «Дабл Эй» будет работать на нас, или мы должны сделать так, чтобы ни метод, ни «Дабл Эй» не существовали. Проблема не исчезла. И если вы правы в том, что здесь действует не корпорация, а какой-то гениальный изобретатель-одиночка, то наша задача упрощается. Борьба с корпорацией трудно, купить ее невозможно. Ну а человека или нескольких всегда можно купить. Вопрос только в цене. Что вы на это скажете, Джек?

– Во-первых, Билл, я бы не стал пользоваться словами «гениальный изобретатель». Просто из суеверия – вспомните статью в «Сан». Возникает неприятная ассоциация.

При этих словах Дэвис рассмеялся. Не удержался и Тэйлор. Чувствовалось, что история с проктоскопом веселит их не в первый раз.

– Ну а во-вторых, – продолжал Тэйлор, – у нас действительно нет иного выхода. Надо во что бы то ни стало добраться до их лабораторной базы. Кто знает, где они будут работать в следующий раз или уже работают? Поэтому единственная возможность не упустить их из вида – это отправиться в Гибралтар, сделать заявку на торги и принять в них участие.

– Да, пожалуй, вы правы, Джек. Я сообщу президенту. А уж он будет решать – делать это своими силами или опять действовать через Чикаго.

15

Отклик на объявление о продаже Камерона был значительный. Алекс и Рон отобрали семь наиболее серьезных заявителей и послали им приглашения. Многие другие компании проявили определенный интерес, но хотели получить дополнительную информацию до начала торгов. Эти компании решено было включить в список на второй тур – на случай, если месторождение не будет продано.

Среди приглашенных был и канадский филиал «Игл Корпорэйшн». Совет директоров в Чикаго еще не оправился от шока, связанного с итальянской аферой, и поэтому отказался иметь дело с «Дабл Эй». Но против участия канадцев не возражал. Возглавлял группу Билл Дэвис. В нее входили эксперты по вопросам геологии, геофизики, экономики нефтяного рынка, юристы. Всего шесть человек. Аналогичные экспертные группы прибыли и от других компаний.

В назначенный день участники торгов собрались в небольшом конференц-зале офиса «Дабл Эй». Сессия началась с информации Рона Бермана о юридическом статусе месторождения. После этого Алекс дал его геологическую и техническую характеристику, сообщил сведения о запасах нефти, ее физических и химических параметрах. Затем Рон назвал стартовую цену месторождения – триста миллионов долларов. Каждая группа получила полный комплект юридических, геологических и технических документов. В их распоряжение были предоставлены удобно оборудованные рабочие комнаты, в которых они могли в течение недели изучать материалы.

Габриэль и Гидеон делали свою часть работы. Комната «Игл Корпорэйшн» была поставлена на прослушивание, и был записан разговор между Дэвисом и Тэйлором.

Дэвис: Похоже, что я ошибся. Этот мистер Франк не мелкая рыбешка, а чуть ли не глава всей конторы. К тому же хорошо разбирается в технике разведки.

Тэйлор: У меня такое же впечатление. Пока не совсем ясно, к какой части связки он принадлежит. Я имею в виду связку «метод-деньги». Логически рассуждая, если бы он был причастен к методу, то ему здесь не место. Аукцион – это дело специалистов по маркетингу и юристов. Но и на финансиста он не похож.

Дэвис: Да, пока мы ни на шаг не приблизились к разгадке. Интересно хотя бы узнать, из какой они страны. Со времени итальянской аферы Андерсона мы все еще топчемся на месте. Джек, а не поговорить ли вам с секретаршей? У вас это хорошо получается.

Через некоторое время Тэйлор зашел в приемную и попросил у Мерседес, молодой симпатичной служащей, машинку для заточки карандашей. Между ними завязался легкий разговор о разных пустяках, в том числе о погоде. Тэйлор как бы невзначай заметил: «Интересно, на родине вашего босса сейчас так же жарко?»

Мерседес ответила с милой улыбкой: «В Южной Африке? Не знаю, никогда там не была». Тэйлор вернулся и сообщил об этом Дэвису.

– Черт знает что, – прокомментировал Дэвис, – так мы можем гоняться за их лабораторией по всему миру. Потом еще окажется, что она вообще в России или Израиле, как в шпионских фильмах.

В последующие дни Дэвис и Тэйлор больше не возвращались к загадке «Дабл Эй». Другие эксперты обменивались лишь короткими замечаниями о качестве материалов, признавая его весьма высоким. Только однажды возник общий оживленный разговор, который касался отсутствия сейсмограмм. Но Дэвис быстро снизил его накал, сказав, что не стоит это обсуждать. «Они вообще не делали сейсмику, мы это давно знаем».

Через неделю состоялась вторая сессия, во время которой Алекс и Рон отвечали на вопросы. Наиболее острый вопрос поступил от «Игл Корпорэйшн» – почему в комплекте документов нет сейсмограмм? Ответ был подготовлен заранее. Алекс сказал, что, к сожалению, по техническим причинам сейсмограммы оказались такого низкого качества, что не было ни малейшей возможности использовать их для выбора точек бурения. В то же время сроки бурения были определены заранее жестким контрактом с буровой фирмой. Нарушение сроков грозило выплатой большой неустойки. Поэтому решили пойти на риск и бурить скважины без учета сейсмических данных. К счастью, удача сопутствовала компании, о чем свидетельствует открытое месторождение. Ответ, разумеется, не удовлетворил экспертов «Игл Корпорэйшн», но они промолчали. Остальные были удивлены, но объяснение приняли. В конце концов сейсмические исследования – это лишь промежуточный вспомогательный этап разведки, а ее главный конечный результат – само месторождение. Все понимали, что речь идет о покупке нефти, а не сейсмограмм. После окончания ответов на вопросы участникам были розданы конверты, в которых они должны были представить на следующий день свои предложения о цене, которую готовы заплатить.

В десять утра семь конвертов были вручены адвокату «Дабл Эй» Рону Берману. Он вскрыл их, ознакомился с предложениями и объявил: «Нефтяное месторождение Камерон приобретено компанией “Тикоку Петролеум”, Япония, предложившей за него триста пятьдесят миллионов долларов». После этого Рон поблагодарил всех участников за внимание и за время, которое они уделили аукциону. Он попросил мистера Хироши Нагата и его коллег остаться для оформления сделки и согласования плана поездки в Канаду.

16

Весь следующий год группа «Дабл Эй» занималась в основном своими финансовыми и организационными делами. Алекс и Андрей переехали в Кесарию, в большие комфортабельные дома, покупку которых помог оформить Рон Берман. В подвальном этаже дома Андрея было оборудовано специальное помещение, в котором установили прибор и все необходимое вспомогательное оборудование. В него вела массивная бронированная дверь, замаскированная под капитальную стену. Для непосвященных она была незаметна. Это обширное помещение, как и весь дом, было оборудовано системой наблюдения и сигнализации. Андрей собрал еще один прибор – точную копию первого. Он был установлен в таком же специальном помещении в доме Алекса. По существу, обе лаборатории дублировали одна другую. Но вторая считалась резервной. Рахель, физик по специальности, освоила методику анализа и работу на приборе.

В течение года они встречались со Шмуэлем всего несколько раз, время от времени перезванивались. О делах почти не говорили. При одной из встреч, когда он зашел ознакомиться с лабораториями, Шмуэль посмотрел на них со своим

обычным хитроватым прищуром и сказал: «Хотите знать, молодые люди, кого мы все трое сейчас напоминаем? Шайку грабителей, которые взяли крупный банк и легли на дно в надежде, что про них забудут. Это обычная философия налетчиков. Но в ней есть два изъяна. Во-первых, про них не забудут. Такие дела не имеют срока давности. А во-вторых, рано или поздно они сами дадут о себе знать, посмотрев где-нибудь другой банк. Это как наркотик». Все рассмеялись, признав, что в этой шутке что-то есть. Но больше они к ней не возвращались.

Однажды Шмуэль пригласил их приехать. На небольшом угловом столике в его кабинете стояла бутылка вина, три бокала и ваза с фруктами.

– Я пригласил вас, молодые люди, чтобы отметить скромный юбилей.

Алекс и Андрей удивленно переглянулись.

– Так я и знал. Вы заняты большими делами и не помните маленькие даты. Но старики помнят все. Сегодня ровно год, как компания «Тикоку Петролеум» купила свое первое нефтяное месторождение в Канаде. Предлагаю выпить по рюмочке за это знаменательное для нас и для японцев событие.

Шмуэль наполнил бокалы и все выпили.

– Но если вы полагаете, что дело закончится только этим, то ошибаетесь, – продолжал он. – Завтра вы вместе с женами приглашаетесь на борт «Звезды Кашмира». Мы выйдем в море и отметим эту дату так, как она того заслуживает.

Им уже приходилось участвовать в морских прогулках с неперменной рыбной ловлей на этой роскошной двухпалубной яхте. И каждый раз впечатление было незабываемым. Однажды они спросили Шмуэля – что означает это романтическое название? «Здесь нет романтики, – ответил он, – яхта названа в знак дружбы». И Шмуэль рассказал удивительную историю.

Он вырос в Галилее в многодетной крестьянской семье. Отец, родом из белорусского местечка, был фермером, тяжело работал на каменистой земле. Еды было в обрез. Два раза в неделю мать выпекала домашний хлеб. Это было самое большое лакомство – теплый душистый хлеб, прямо из печи. В первые два дня он был особенно вкусным, но потом постепенно черствел, и есть его уже не очень хотелось. Однако в семье было твердое правило – никто не получал свежий хлеб, пока не съедат предыдущую порцию. Поэтому дети прибежали к невинной хитрости – незаметно выбрасывали черствый хлеб, чтобы поскорее получить свежий. Часто отец находил его и после короткого дознания обнаруживал виновника. И тогда начинался долгий воспитательный разговор, который предварялся неизменной фразой: «Вот ты сейчас выбросил кусок хлеба. А в это время в Индии дети мечтают о нем и умирают от голода...» Шмуэль не знал, где находится Индия и почему у детей там нет хлеба. Но он возненавидел их.

В возрасте четырнадцати лет Шмуэль, вместе с группой школьников, был послан на две недели в Лондон для участия во встрече подростков из стран Британской империи. Детей поселили в двухместных комнатах, намеренно перемешав представителей разных народов. Когда Шмуэль вошел в выделенную ему комнату, там уже находился смуглый мальчик. Он приветливо улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы, протянул руку и сказал: «Меня зовут Радж, я из Индии». Шмуэль никогда раньше не видел индийцев. И прежде чем успел что-то сообщить, детские воспоминания вдруг нахлынули на него, и он выпалил: «Я ненавижу индийцев!» Радж замер от неожиданности, а затем чуть не в слезах выбежал из комнаты. Потом они стали большими друзьями и остаются ими всю жизнь. У них даже есть совместный бизнес в Австралии. Радж очень богатый человек, и его яхта называется «Звезда Галилеи». А родился он в Кашмире. Поэтому яхта Шмуэля называется «Звезда Кашмира». «Между прочим, – закончил Шмуэль эту любопытную историю, – Радж тоже участвует в наших делах, хотя и не знает об этом. Часть денег на разведку Камерона я перехватил у него. Под нормальный банковский процент, разумеется».

Погода стояла прекрасная. Это было лучшее время года в Израиле. Не жарко, легкий освежающий ветерок, на небе редкие перистые облака. «Звезда Кашмира» вышла в море на траверзе Герцлии. Когда отошли от берега миль на десять, Шмуэль пригласил мужчин спуститься на нижнюю палубу. Там в специальном вырезе на корме уже были приготовлены три спиннинга. Они сели в удобные глубокие кресла, и азарт рыболовов мгновенно овладел ими. «Идет охота на тунцов, идет охота...» – пропел Алекс фальцетом. Андрей быстро вырвался вперед – он вытаскивал этих крупных рыбин одну за другой. Алексу везло намного меньше. А Шмуэль, казалось, и не думал о рыбалке. Ему важен был сам процесс, сидение на корме и наблюдение за азартом своих гостей. «Интересно, – подумал Алекс, – у нас с Андреем и опыт одинаково небольшой, и умение примерно то же. Но у него клюет, а у меня почти нет. Вот яркий пример слепого везения, что бы там ни говорили». Его размышления прервал голос Шмуэля: «А не поговорить ли нам, молодые люди, о рыбалке другого рода. Как насчет банка?»

Алекс и Андрей поняли его с полуслова. Они улыбнулись и согласно кивнули.

– Вроде бы пора, – сказал Андрей.

– Возражений нет, – добавил Алекс, – надо только осмотреться и выбрать район получше. Чтобы улочка была безлюдная, фонари неяркие и полиции поблизости не густо.

– Ну, насчет района – это по твоей части. Но вот мне вчера звонил Радж. Он говорит, что в Австралии сейчас нефтяная разведка на подъеме. Упомянул штат Квинслэнд. Что ты об этом знаешь, Алекс? – спросил Шмуэль.

– Да, в Квинслэнде сейчас нефтяной бум. Там и в соседнем штате Южная Австралия открыты несколько больших месторождений. Район интересный. Но улочка эта уже далеко не безлюдная и освещена довольно ярко. Туда в последнее время ринулись многие крупные компании. И им даже приходится работать локтями. Это как тот ресторан, в который никто больше не ходит, так как там всегда полно народа. Однако посмотрим. Может быть, и нам на бедность что-то осталось.

– Ну что ж, возможно, старина Радж подал неплохую идею. Вот и ты ее поддерживаешь. Одна голова хороша, а две лучше, как говорят мутанты, – Шмуэль произнес эти слова со своим неподражаемым прищуром.

17

– Звонит мистер Эванс из «Альбион Энерджи», – услышал Дэвис голос секретаря. – Вас соединить?

– Да, да, соединяйте.

– Хэлло, Билл, как поживаешь? – послышался густой бас Эванса.

– Все в порядке, Ларри. Рад тебя слышать. Как ты?

– Не могу жаловаться. Много работы. Есть интересные открытия. Мы сейчас влезли в Квинслэнд. Очень любопытный район. Слушай, Билл, я тебе как раз звоню по этому поводу. Помнишь, при встрече ты мне говорил про «Дабл Эй»? Так вот, они теперь наши соседи в Австралии. Как только узнал об этом, сразу вспомнил тот разговор. Ты сказал, что они странные ребята, работают не по правилам. Признаюсь, я тогда не очень понял, что ты имел в виду. А сейчас все стало ясно. Они просто дилетанты. Взяли самый дохлый блок и уже тащат туда буровой станок. Даже сейсмику не сделали. Ты просил известить тебя, если что узнаю. Вот и сообщаю.

– Спасибо, Ларри. Огромное спасибо. Ты не представляешь, какую важную новость рассказал, – Дэвис с трудом перевел дыхание. – И знаешь что, Ларри, не торопись с выводами. Это не дилетанты. Это очень опасные люди. Очень.

– Билл, теперь я опять ничего не понимаю. Не мог бы ты объяснить, в чем все-таки дело?

– Это очень долгий разговор, Ларри. И очень серьезный. Нам надо встретиться. Ты не собираешься в ближайшее время в наши края или в Штаты?

– О'кей, Билл. О'кей. Ты меня просто заинтриговал. Через неделю я должен быть в Денвере. Подскочишь?

– Обязательно. Ну, до встречи, Ларри.

Через неделю они встретились в Денвере, в гостинице «Кембридж», и Билл Дэвис рассказал Ларри Эвансу все, что ему было известно о «Дабл Эй», – до мельчайших подробностей, включая итальянскую аферу и продажу месторождения Камерон японцам. Рассказ произвел на Эванса большое впечатление.

– Итак, – подвел итог Дэвис, – год о них ничего не было слышно. И вот они вынырнули в Австралии. Я не сомневаюсь, что результат будет такой же, как и в Альберте. По воле судьбы твоя и моя компания оказались в одинаковом положении. Я имею в виду соседство с «Дабл Эй». Поэтому мы можем считать себя в известном смысле партнерами. И как партнер предупреждаю тебя, Ларри, – не повторяйте наших ошибок. Мы приложили большие усилия, чтобы что-то узнать о них. Результат почти нулевой. Смешно, но мы даже не знаем, из какой они страны, где их лабораторная база. О том, что именно они определяют в почве, и говорить не приходится. Учти, они мастера путать следы. То устраивают этот спектакль с Италией, потом вдруг их секретарь в Гибралтаре сообщает, что ее босс живет в Южной Африке. Очередное вранье. Короче говоря, Ларри, мы откажались от дальнейших усилий. К тому же они убрались из Канады и теперь для нас недосыгаемы. Поэтому передаю проблему тебе. У «Альбион» больше возможностей, чем у «Игл». У вас, насколько я знаю, есть специальный отдел, который занимается нестандартными ситуациями. Вам и карты в руки. Расколите этот орешек. А в случае успеха не забудь старину Дэвиса.

– Спасибо, Билл. Все, что ты рассказал, чертовски интересно. Просто не верится, что после стольких неудач и афер это кому-то удалось. Достаточно вспомнить скандал с нюхающим самолётом «Элф-Аквитан» в начале восьмидесятых... Я немедленно сообщу президенту. Надеюсь, мы что-то придумаем.

Для базы «Дабл Эй» был выбран городок Лонгрич, в центре штата Квинслэнд. Скважина на блоке Уинтон бурилась в восьмидесяти километрах от этого места. Единственная достопримечательность городка состоит в том, что он находится точно на широте тропика Козерога. Поэтому его иногда называют «город тропика Козерога», подобно тому как Денвер называют «город одной мили», так как он расположен точно на этой высоте над уровнем моря. Соответственно и самая приличная гостиница в Лонгриче называется «Козерог». В ней и были сняты комнаты для Алекса, Габриэля и Гидеона.

Лонгрич – типичный провинциальный городок в австралийской глубинке. Почти все мужское население его занято в нефтяной промышленности, возникшей за последние годы. Вечера мужчины обычно проводят в пабах и бильярдных. А женщинам вообще нечем заняться, кроме домашней работы. Поэтому когда в местной газете появилось объявление о предстоящем открытии школы аэробики, это вызвало большой интерес, и желающих оказалось больше, чем она могла вместить. Интерес еще более усилился, когда газета опубликовала интервью с Юдит Добос, инструктором по аэробике и организатором школы. Юдит рассказала, что окончила физкультурный институт в Венгрии, аэробикой занимается шесть лет. Два года назад эмигрировала в Австралию и сейчас решила открыть собственную школу. С газетной фотографии на читателя смотрела красивая молодая женщина с большими черными глазами и короткой мальчишеской стрижкой. Вскоре Юдит Добос стала популярна в городе. На рекламных щитах были расклеены афиши с ее портретом, пропагандирующие аэробику. Одна из таких афиш красовалась и перед входом в «Козерог».

...Как-то вечером Алекс возвращался со скважины по пустынной дороге. Километрах в десяти от города он увидел на обочине старенькую «мазду» с поднятым капотом и стоявшую рядом женщину, растерянно взиравшую на двигатель. Он остановил машину и спросил – не нужна ли помощь? Женщина неуверенно развела руками.

– Не знаю, сможете ли вы помочь. Кажется, вытекло все масло.

Под машиной действительно было большое масляное пятно. Здесь требовался серьезный ремонт. Поэтому единственное, что Алекс мог предложить, – это подвезти ее в город.

– А я вас узнал, – сказал он, когда она села рядом. – Вы, кажется, занимаетесь аэробикой. А зовут вас...

– Юдит. Юдит Добос, – улыбнулась она.

– Да, вспомнил, Юдит Добос. Я видел вашу фотографию перед входом в «Козерог». Меня зовут Алекс Франк, – представился он.

– Приятно познакомиться, мистер Франк, – ответила Юдит. – Так вы живете в «Козероге»?

– Да. А вы?

– А я снимаю квартиру недалеко от гостиницы.

Наступило молчание. Разговор не клеился. Юдит больше ни о чем не спрашивала, а Алекс считал неудобным проявлять чрезмерное любопытство. Въехали в город, и Алекс подвез Юдит к небольшому двухэтажному дому. Она поблагодарила его и вышла из машины. Он вдруг почувствовал, что не хотел бы вот так оборвать это неожиданное знакомство, и тоже вышел.

– Так ваша квартира в этом доме?

– Да, на втором этаже.

– И что же, вы живете здесь одна?

– Одна, – спокойно ответила Юдит.

– И вам не скучно? Я понимаю, вы заняты школой. Но ведь это не отнимает все время. А что вы делаете вечерами?

– Скучновато, конечно. Вечерами читаю, слушаю музыку, пишу письма.

– По вечерам я тоже не знаю, куда себя деть. Книги, музыка – это, конечно, отвлекает, но не заменяет человеческого общения. Почему бы нам ни посидеть где-нибудь за чашкой кофе, не поболтать. Не сочтите за навязчивость, но мне кажется, у нас найдутся общие темы для разговора.

– Не знаю, право, мистер Франк. Идти в кафе мне не хочется, я немного устала сегодня. А дома у меня такой беспорядок, что было бы безрассудством приглашать вас, – Юдит смущенно улыбнулась.

– Ну, если дело только в беспорядке, то пусть вас это не беспокоит. Такие вещи я просто не замечаю.

– Что ж, тогда идемте. Но пеняйте на себя.

Они поднялись в маленькую двухкомнатную квартирку. Беспорядок был только в том, что на стульях были разбросаны халат, бюстгальтер и пара трусиков. Все это Юдит торопливо схватила в охапку и отнесла в ванную. На стенах висели фотографии с видами Венгрии и портреты пожилых мужчины и женщины.

– Родители, – сказала Юдит, увидев, что Алекс рассматривает их.

– Вы похожи на мать, – заметил Алекс.

– И на отца тоже, – добавила она.

Юдит приготовила вкусный кофе по-венгерски, поставила на стол вазу с печеньем и бутылку ликера. Разговор никак не завязывался, шел натянуто, с неловкими паузами. Юдит почти не задавала вопросов, и Алексу казалось, что он ей просто неинтересен. Это еще больше сковывало его. В общем-то, Алекс не был скучным собеседником. «Дело, наверное, в возрасте, – решил он. – Ей не больше тридцати, ну а мне от моих пятидесяти никуда не деться. Да, эти двадцать лет

разницы никаким умным разговором не заполнишь». Он встал, прошелся по комнате, подошел к Юдит сзади и положил ей руки на плечи. Она недовольно отстранилась.

– Нет-нет. Прошу вас, мистер Франк, не надо.

– Ну что ж, не надо, так не надо, – он виновато улыбнулся.

Они посидели еще немного, и Алекс понял, что пора уходить.

– Время позднее, Юдит. Спасибо за кофе, за вечер в вашей уютной квартире. Если когда-нибудь захотите снова поболтать за чашечкой кофе, то вот вам мой телефон, – он записал на бумажке номер мобильного телефона.

– Вам тоже спасибо, мистер Франк. И прошу вас – не обижайтесь. Мне нужно время, чтобы... ну, вы понимаете... я не очень быстро сближаюсь с людьми. Такой уж у меня характер.

Первые дни Алекс ждал звонка от Юдит. Потом смирился с тем, что она не позвонит, и стал постепенно забывать о ней. Поэтому когда он вдруг услышал в трубке ее голос, то был больше удивлен, чем обрадован.

– Здравствуйте, мистер Франк. Это Юдит. Вы меня еще помните? Знаете, мне что-то вдруг захотелось снова поболтать с вами, как в тот раз. К тому же сегодня у меня есть повод. Как у вас со временем, и вообще – есть ли настроение?

– Рад вас слышать, Юдит. Настроение у меня всегда есть. А что за повод?

– Скажу, когда увидимся. Так вы зайдете? Где вы сейчас?

– Я по дороге в город. Заскочу в гостиницу, а потом к вам. Хотя бы для того, чтобы узнать, какой повод.

– Бог с ней, с гостиницей. Приезжайте прямо ко мне. Я жду.

Минут через тридцать Алекс был у Юдит. Он не узнал ни ее, ни квартиру. Она была элегантно одета, очень красива. Квартира сверкала. Стол был сервирован на двоих, горели свечи.

– Что все это значит, Юдит?

– Это значит, что у меня сегодня день рождения. Ровно тридцать. – Юдит улыбнулась, раскинула руки и сделала оборот вальса.

– Но почему же не предупредили? Я даже без подарка.

– Поэтому и не предупредила. Подарок – это хлопоты. А вы человек занятой.

– Все так неожиданно. Я прямо с дороги.

– Ну, примите душ.

– Я это и хотел сделать в гостинице.

– Какая разница. Можете сделать здесь.

Юдит все больше удивляла Алекса. Что с ней произошло? Такая разительная перемена.

– Юдит, а где же друзья, знакомые? Ведь тридцать лет – это такая дата...

– В этом-то все и дело, Алекс. Можно называть вас просто Алекс? У меня здесь нет ни друзей, ни близких знакомых. Поэтому сначала я вообще решила посидеть одна и погрустить. А потом вдруг так захотелось, чтобы хоть одна близкая душа была рядом. Ну и получился этот экспромт.

– Спасибо, Юдит. Мне приятно это слышать. Я имею в виду про близкую душу. А сейчас я, пожалуй, действительно приму душ, если разрешите.

На этот раз их застольный разговор шел легко, непринужденно. Было много шуток, смеха. Алекс чувствовал себя в привычной обстановке. Его экспромты и юмор находили живой отклик. Они выпили на брудершафт и перешли на «ты». Вдруг Юдит сказала:

– Ты, может быть, решил, что я придумала этот день рождения? Вот смотри, – она вынула из шкафчика паспорт и показала его.

Алекс взглянул на дату рождения. Действительно, сегодня ей исполнилось тридцать лет.

– Ну что ты! Я и не сомневался, – возразил он с недоумением.

– Сомневался, сомневался. По глазам видела, что сомневался, – лукаво укоряла его Юдит. – А у тебя когда день рождения?

– Не скоро, через пять месяцев.

– И сколько же тебе будет через пять месяцев?

– Может, не стоит заниматься этой арифметикой? – горько усмехнулся Алекс.

– Вряд ли тебя вдохновит эта цифра. А впрочем, все относительно. Рассказывают, когда девяностолетнему Чарли Чаплину представили красивую молодую актрису, он воскликнул: «Эх, где мои семьдесят лет!» Так что по его шкале я еще очень молод.

Юдит засмеялась.

– Алекс, дорогой, я же не замуж за тебя собираюсь. К чему такие комплексы и выкрутасы. Если не хочешь сам говорить, давай паспорт. Ты видел мой и теперь должен показать свой. «Паспорт, хочу паспорт», – пропела Юдит.

Алекс притворно вздохнул, взял стоявший около двери кейс и достал из него свой канадский паспорт. Он раскрыл его на первой странице и, не выпуская из рук, показал Юдит. Она посмотрела на дату рождения.

– Итак, через пять месяцев нашему Алексу будет пятьдесят. Ничего страшного. Для мужчины это то же, что для женщины тридцать. А ты, оказывается, канадец. Я и не знала.

Потом они еще разговаривали, пили вино, танцевали. И уже за полночь очень естественно, без лишних слов и церемоний перебрались в кровать. От Юдит исходил необыкновенный волнующий запах. Это не был запах каких-то изысканных духов, но тот особый редкий природный аромат, которым может обладать только идеально ухоженное, не имеющее физиологических изъянов женское тело. Его благоухание обволакивало Алекса и вытесняло все другие ощущения. Он будто купался в невидимых волнах этого тонкого нежного аромата... Все было замечательно. Где-то между третьим и четвертым актом «мюзикла», как Юдит это называла, Алекс сказал: «А я и не знал, сладкая моя, что аэробика так похожа на акробатику».

– Это не акробатика, сладкий мой. Это Камасутра, индийская наука любви, – сказав это, Юдит приняла совершенно немислимую позу. Алекс не мог понять, где ее колени, а где локти. – Эта позиция называется «закрученный узел», – объяснила она.

В конце концов Камасутра доконала его, и он крепко заснул. Юдит встала, вышла в салон и достала из кейса его паспорт. Она открыла четвертую страницу, где был раздел «Извещение близких: В случае несчастья или смерти сообщить такому-то (указать имя, степень родства, адрес, телефон)». Рукой владельца паспорта было вписано: «Рахель Франк, жена, улица, номер дома, Кесария, Израиль, телефон». Юдит сфотографировала эту страницу и положила паспорт на место.

Утром за завтраком она была неожиданно задумчива и грустна. Алекса удивила эта внезапная перемена.

– Я не хотела говорить вчера, чтобы не портить вечер, – объяснила Юдит, – но, видимо, мне придется уехать из Лонгрича. Дела со школой не ладятся, много проблем – и организационных, и финансовых. Впрочем, это сейчас неважно. Я тебе очень благодарна за чудесный день рождения. Запомню его навсегда. Надеюсь, и ты не забудешь. Как только устроюсь на новом месте, обязательно дам знать.

Алекс был обескуражен. Он не находил слов. Юдит, как могла, утешала его. Когда он ушел, она достала свой паспорт и сняла с него тонкую, искусно сделанную наклейку с датой рождения. Затем упаковала вещи и уехала из Лонгрича.

Стив Холдер, менеджер австралийского филиала компании «Альбион Энерджи», заканчивал обсуждение контракта с сервисной фирмой «Лог Текникал», которая специализировалась на каротажных исследованиях скважин в штате Квинслэнд. «Альбион Энерджи» была очень крупным клиентом. Поэтому Том Паркинсон, главный геофизик «Лог Текникал», получил указание сделать все, чтобы заказ не достался конкурентам. Все параграфы контракта уже были согласованы, и дело шло к его подписанию, когда Холдер неожиданно выдвинул еще одно условие, которое, впрочем, не должно было фигурировать в письменных документах.

– Послушайте, Том, – сказал Холдер, – вы ведь выполняете работы для «Дабл Эй» на блоке Уинтон. Мы хотели бы получить от вас каротажные диаграммы и материалы перфорации по их скважине. Разумеется, это будет учтено при подписании контракта.

– Простите, Стив, но это невозможно. Мы связаны с ними соглашением о конфиденциальности. Как, впрочем, и с другими нашими клиентами. В вашем контракте, как вы знаете, тоже есть такой пункт.

– Разумеется, Том, мне это известно. И я понимаю ваше положение. Но таково распоряжение из Лондона, и все, что я могу сделать, – это довести его до вашего сведения. Мне также поручено передать, что подписание контракта будет зависеть от принятия этого условия. Очень сожалею.

– Видите ли, Стив, я не имею полномочий обсуждать такие вопросы. Я передам ваше условие руководству фирмы, но, честно скажу, мне не приходилось сталкиваться с подобными делами...

– О'кей, Том. Лондон хотел бы получить ответ сегодня во второй половине дня.

Экстренное совещание у президента «Лог Текникал» Артура Митчелла было бурным и продолжалось два часа. Участники говорили о выкручивании рук, о репутации фирмы, о профессиональной этике. Но все решило напоминание вице-президента по маркетингу Эда Брэдли о жесточайшей конкуренции на рынке сервисных услуг. Борьба за клиентов – это борьба за существование. ««Альбион» действует в серой зоне. Там другие правила, вернее – там нет правил», – заключил он. В итоге было решено принять условие Холдера, но потребовать гарантий того, что репутация фирмы не пострадает.

Гарантии были даны, контракт подписан, и «Альбион Энерджи» получила необходимые ей материалы «Дабл Эй». Они были немедленно переданы в Лондон и легли на стол Ларри Эванса. Из них следовало, что скважина «Дабл Эй» обнаружила два нефтяных пласта – верхний толщиной двадцать пять метров и нижний толщиной сорок восемь метров. Оба пласта перфорированы и дали притоки фонтанной нефти. Кроме того, поступила информация, что на блоке Уинтон начнется бурение двух дополнительных скважин по треугольной сетке.

После того, как Эванс сообщил президенту компании Энтони Крэйгу о своем разговоре с Биллом Дэвисом, он получил карт-бланш на руководство всеми операциями, связанными с «Дабл Эй». И сейчас он созвал совещание, на котором присутствовали вице-президент по финансам Эндрю Холл, вице-президент по зарубежным операциям Гарри Бриссон и подчиненный ему начальник отдела специальных проектов Рональд Кларк. «Специальные проекты» – это был эвфемизм, которым обозначались все виды деятельности по защите разнообразных интересов компании – технологических, финансовых, маркетинговых и так далее. От других подразделений отдел отличался широкой независимостью и многими привилегиями, главной из которых было так называемое гибкое финансирование. Иными словами, его бюджет мог быть существенно увеличен, если возникали неожиданные обстоятельства, требующие крупных расходов. О подлинных задачах отдела было известно только руководству компании.

Эванс проинформировал приглашенных об обстановке на блоке Уинтон и попросил их высказать свое мнение. Все согласились с тем, что события разворачиваются по сценарию, который «Дабл Эй» ранее реализовала в Альберте. Затем выступил Кларк. Он коротко остановился на ошибках, которые допустила «Игл Корпорэйшн» в аналогичной ситуации и которые он объяснил отсутствием профессионализма. Кларк предложил без промедления перейти к первому варианту плана, представленного им ранее. Предложение было одобрено, и Эндрю Холлу поручили его финансовое обеспечение. Кларку предоставили все необходимые полномочия, касающиеся этого варианта, и он должен был в ближайшие дни вылететь в Австралию с тремя другими сотрудниками отдела.

19

Совместный бизнес Шмуэля и Раджа в Австралии был связан с экспортом шерсти и пшеницы и импортом удобрений и текстиля. Их компания занимала не последнее место в австралийской Ассоциации международной торговли. Радж, у которого были также деловые интересы в соседней Индонезии, бывал в Австралии довольно часто. Шмуэль только два раза приезжал в эту далекую страну, но ему всегда хотелось познакомиться с ней поближе. Поэтому когда Радж сообщил, что пришел на «Звезде Галилеи» в Джакарту и собирается оттуда идти в Перт, главный город штата Западная Австралия, Шмуэль задумал устроить там долгожданную встречу со своим старым другом и пригласить на нее Алекса и Андрея. Раджу понравилась эта идея.

Андрей давно хотел посмотреть, как ведется разведка, бурится скважина, увидеть, что происходит после того, как он заканчивает свою часть работы – анализ образцов почвы. И такая возможность представилась. Шмуэль сообщил ему о предстоящей встрече и спросил – не хочет ли он принять в ней участие. Андрей с радостью согласился. Было решено, что сначала он проведет какое-то время с Алексом в Лонгриче, а потом они вместе прилетят в Перт.

В салоне бизнес-класса «боинга», летевшего из Гонконга в Сидней, Андрей оказался соседом приятной супружеской пары. Завязался легкий дорожный разговор, который вскоре коснулся экономического бума в Австралии. Собеседник Андрея, напомилавший какого-то известного киноактера, хорошо разбирался в этом вопросе и с увлечением рассказывал о больших возможностях, которые открываются там для предприимчивых людей. Узнав, что Андрей связан с разведкой нефти, он с каким-то особым чувством заметил: «О, нефть! Когда-то и я ею занимался. А теперь вот сменил профессию. И не жалею, знаете ли. Сейчас у меня в Сиднее совсем другой бизнес. Если когда-нибудь надумаете поселиться в наших краях, буду рад оказать содействие». С этими словами он протянул свою визитную карточку. Андрей прочитал: «“Глобус Корпорэйшн”. Торговля недвижимостью. Австралия – Европа – Северная Америка. Карло Тибальди, президент». Мистер Тибальди был бы чрезвычайно удивлен, узнав, какую роль сыграл в его жизни человек, сидящий в соседнем кресле. Впрочем, сам сосед удивился бы не меньше...

Узнав Андрей об обстоятельствах превращения Роберто Массини в Карло Тибальди, он бы поразился тому, сколько людей, не имевших к группе «Дабл Эй» никакого отношения, а зачастую даже не слышавших о ней, оказались втянутыми в водоворот событий, созданный ее внезапным появлением в нефтеразведочном бизнесе. Среди них были руководители корпораций, скауты, работники сервисных компаний, журналисты, частные детективы, скромный электромеханик и его подруга, пылкий геофизик со своей возлюбленной, инструктор по аэробике, отставной генерал, полковник военной разведки и даже католический священник. Всех их так или иначе коснулось то, что делали Андрей и Алекс. И число этих лю-

дей постоянно росло, образуя длинную цепочку, в которой одна человеческая жизнь цеплялась причудливым образом за другую, вовлекая все новых участников. Кто может заглянуть в будущее и сказать, когда и на ком цепочка оборвется?.. Некому таинственному режиссеру этих событий, имя которому «случай», было угодно свести Андрея и Роберто вместе на короткое время, словно раздумывая – стоит ли продолжить их знакомство и следует ли открыть им тайну друг друга? Но в конце концов судьба, которая выше случая, распорядилась оставить все как есть, не вмешиваясь в естественный ход событий и не превращая их в тривиальный киносценарий. Поэтому сойдя с трапа самолета, случайные попутчики попрощались и расстались навсегда.

...Андрей и Кларк появились в Лонгриче почти одновременно. Кларк узнал его по фотографии еще в самолете, когда они летели одним рейсом в Сидней. «Доктор Андрей Шейнман, физик, официально нигде не работает, женат, двое детей» – эту короткую справку Кларк знал наизусть. В аэропорту Андрея встретил Гидеон, и они сразу же отправились на машине в Лонгрич. Группа Кларка задержалась в Сиднее на сутки, где к ней присоединились еще четыре человека. Затем все они вылетели в Лонгрич на небольшом самолете компании «Альбион Энерджи».

А в это время океанская яхта «Звезда Галилеи» входила в устье реки Сван, направляясь к месту якорной стоянки в заливе Фрэш Уотер, расположенном внутри Перта. Яхта шла под двумя флагами: трехцветным индийским с синим кругом посредине и личным штандартом Раджа – два снежных гималайских пика на зеленом фоне, символ его родного Кашмира. Шмуэль должен был прилететь в Перт из Израиля через две недели.

Вскоре после приезда Андрея в Лонгрич Алекс отправился с ним на блок Уинтон – показать скважины и объяснить, как ведется разведка. За мощным джипом «форд эксплорер», который вел Алекс, следовал на такой же машине Габриэль. В течение дня они объехали три скважины, поговорили с инженерами, встретились с Гидеоном и уже в сумерках возвращались обратно. В пятнадцати километрах от Лонгрича дорога делала крутой поворот. Машина Алекса уже вошла в него, и Габриэль на мгновение потерял ее из вида. В этот момент встречный грузовик срезал угол поворота и столкнулся с его джипом. У машины был смят капот, потекло масло и разбито лобовое стекло. Лицо Габриэля было порезано осколками. Грузовик отделался лишь помятым бампером. Водитель выскочил из него и начал извиняться, не отрицая свою вину и пытаясь помочь. Габриэль не стал выяснять с ним отношения, а тут же набрал код мобильного телефона Алекса. Алекс не отвечал. Поняв, что авария подстроена, он внезапно нанес водителю два сильных встречных удара по шее ребрами обеих ладоней, за которыми последовал специальный болевой прием, бросивший противника на землю в полубессознательном состоянии. Его инструктор по рукопашному бою называл эту комбинацию «цхок бацад»⁴. Габриэль обыскал водителя и нашел пистолет. Забрав оружие, он вскочил в грузовик, развернулся и помчался в сторону города. Джип Алекса он увидел на обочине в трехстах метрах от поворота. Людей в нем не было. Провода системы зажигания были вырваны. Не медля ни секунды, Габриэль вернулся к повороту. Водитель грузовика все еще корчился на земле от боли. Он связал его, засунул кляп в рот, закрыл повязкой глаза и уложил на пол кабины. Затем позвонил Гидеону на скважину.

– Гиди, хатифа⁵. Немедленно отправляйся в Лонгрич. На пятнадцатом километре, перед поворотом и в трехстах метрах за ним, увидишь наши машины. Не

⁴ «Шутки в сторону» – иврит.

⁵ Похищение – иврит.

останавливайся. В «Козерог» не заезжай. Встретимся на Дизенгоф (для подобных ситуаций у них было два запасных места встречи, обозначенных названиями тель-авивских улиц; «Дизенгоф» – это домик, который они снимали на окраине города).

После этого Габриэль позвонил Шмуэлю в Кесарию, разбудил его и сообщил о случившемся. Было уже совсем темно, когда он подъехал к домику «Дизенгоф». Гидеон еще не было. Габриэль решил подождать его, не выходя из машины. Гидеон прибыл через сорок минут, и они вдвоем внесли в дом водителя грузовика. Привязав его к водяному стояку, Габриэль и Гидеон отправились на обеих машинах к крутому обрыву над рекой Томпсон и сбросили с него грузовик. Они подождали, пока машина исчезла под водой, и вернулись обратно на джипе Гидеона.

20

Сразу за поворотом джип Алекса стали преследовать две машины. Одна из них ударила его в левый борт и прижала к обочине, а другая заблокировала дорогу. Из них выскочили несколько человек, вытащили Алекса и Андрея, набросили мешки на голову, перенесли в разные машины и умчались. Вся операция заняла меньше пяти минут. В дороге похитители молчали.

...Алекса ввели в помещение, усадили в кресло и сняли мешок. Он осмотрелся. Помещение выглядело как обыкновенная жилая комната. В кресле напротив сидел человек лет сорока, с пышной шевелюрой и внешностью профессора. Это был Рональд Кларк.

– Здравствуйте, доктор Франк. Меня зовут Майк Гопкинс. Прежде всего я должен извиниться за то, что нам пришлось действовать столь неучтиво, чтобы иметь возможность побеседовать с вами в спокойной обстановке.

– Где мой товарищ? – перебил его Алекс.

– Доктор Шейнман недалеко отсюда, в столь же безопасных и комфортабельных условиях, как и вы. Итак, позвольте мне продолжить.

– Не торопитесь. За нами ехала другая машина. Что с ее водителем?

– Я, право, не знаю, что с ним. Не думаю, что что-то серьезное. Возможно, легкая авария, не больше. Как только узнаю, сообщу. Но я все-таки хотел бы продолжить, с вашего разрешения. Дело в том, что я представляю одну из крупнейших международных нефтяных корпораций. А вы, как нам обоим известно, владеете методом прямого обнаружения нефти. Это колоссальное техническое достижение. Вы преуспели там, где потерпели неудачу все остальные компании и исследовательские центры. Позвольте от имени корпорации выразить вам свое восхищение. Но оказавшись по воле судьбы, а точнее – благодаря вашему и доктора Шейнмана таланту – обладателями прямого метода, вы не можете игнорировать интересы мирового нефтяного сообщества. Надеюсь, вы понимаете – то, что вам удалось в Альберте и сейчас здесь, в Квинслэнде, не будет продолжаться долго. Вы бросили вызов одному из самых могущественных бизнесов в мире. Надо быть безумцем или наивным человеком, чтобы рассчитывать на успех в этом противоборстве. Насколько нам известно, вы ни тот ни другой. Вот здесь мы и подходим к сути дела. Какова ваша цель? Деньги, большие деньги. Это понятно и логично и справедливо. Но вам следует понять одну простую вещь – с каждым новым разведочным блоком вы будете привлекать к себе все больше внимания. То, что прошло почти незамеченным во время вашего дебюта в Альберте, уже вызвало повышенный интерес в Квинслэнде. И этот интерес будет неуклонно расти. Недалек день, когда за вами начнут охотиться в буквальном смысле слова. В этой охоте будут участвовать все те, кто увидит в вас угрозу своим интересам. А это десятки компаний, многие десятки. И даже если в конце концов вы уступите нажиму или шантажу одной из них, это не спасет вас. Охотников, как я сказал, будет слишком много. Они не смогут поделить вас или прийти к соглашению между

собой. И они не допустят, чтобы кто-то один из них вырвался вперед и стал эксклюзивным обладателем вашего метода. Но сейчас мы говорим не о них, а о вас. Не хочу пугать вас, доктор Франк, но шансов уцелеть в этой схватке у «Дабл Эй» просто не будет. Я имею в виду не только компанию, но вас и доктора Шейнмана лично. В такой ситуации обладание большими деньгами будет лишено всякого смысла. Когда человека нет, не имеет значения, был он богат или беден. А теперь вернемся к тому, что я сказал вначале. Сегодня наша корпорация единственная, кто всерьез заинтересовался вашим методом. Мы собрали наиболее полную информацию о вас и докторе Шейнмане. И пока вокруг вас еще не бушуют страсти, мы предлагаем вам сотрудничество в любой удобной для вас форме – приобретение вашей технологии и ноу-хау, их совместное использование, долевое участие или другой вид партнерства. Вы, конечно, понимаете, что в любом случае ваше вознаграждение составит огромную сумму. И вам не придется больше думать о личной безопасности. Наша корпорация обеспечит ее как неотъемлемую часть своих собственных интересов. Вот, пожалуй, то, с чего мне хотелось бы начать наш разговор. А теперь я хотел бы услышать ваше мнение обо всем этом, доктор Франк.

– Правильно ли я понимаю, мистер Гопкинс, что вы официально уполномочены некой корпорацией сделать компании «Дабл Эй» определенные деловые предложения?

– Абсолютно правильно.

– И эта корпорация, название которой вы избегаете произносить, действительно является, как вы говорите, одной из крупнейших в международном нефтяном бизнесе?

– Да, это действительно так.

– Почему же, в таком случае, она действует как мафиозная группировка, а вы, ее официальный представитель, ведете себя как обыкновенный гангстер? И если вы скрываете название корпорации, то скорее всего ваше настоящее имя тоже не Гопкинс.

Кларк улыбнулся.

– Я понимаю, что вы хотите сказать, доктор Франк. Действительно, было бы намного проще договориться о встрече в вашем или нашем офисе и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Можете мне поверить, обычно мы так и делаем. Но в данном случае мы не могли действовать подобным образом. Мы хотим вести переговоры только с вами и доктором Шейнманом. Нас не интересуют те, кто финансирует вас и с кем вы несомненно связаны определенными обязательствами. Если бы мы вели переговоры традиционным способом, то эти люди были бы неизбежно вовлечены в них. И я не уверен, что мы смогли бы с ними договориться.

– Я не очень понимаю, каким образом вы можете помешать нам привлечь к так называемым переговорам тех, кто столь нежелателен для вас и кто, как вы говорите, финансирует нас?

– Этот вопрос показывает, что вы, доктор Франк, не вполне адекватно оцениваете ситуацию. Вы же просто лишены возможности связаться с кем-либо без моего согласия.

– И как долго это будет продолжаться?

– Полагаю, до тех пор, пока мы не придем к соглашению.

– Ну, а если мы не придем к нему? Что тогда?

– Мне бы не хотелось сейчас рассматривать такой вариант. Это преждевременно. Но поскольку вы сами затронули этот вопрос, могу лишь сказать, что такая ситуация тоже предусмотрена.

– Вы нас убьете?

– Доктор Франк, я ничего не могу добавить к тому, что сказал.

– Хорошо. Вы сказали, что хотите вести переговоры только со мной и доктором Шейнманом. Но ведь он оказался здесь случайно. Обычно он не приезжает в район разведки. Как бы в таком случае вы вели с ним переговоры?

– Хороший вопрос. Нам бы пришлось доставить его сюда. Не силой, разумеется. У нас есть другие способы. Приезд доктора Шейнмана – это лишь удачное совпадение. Оно избавило нас от дополнительной операции.

– Откуда вы собирались его доставить?

– Из Израиля, разумеется, – Кларк улыбнулся. – Ваши вопросы, доктор Франк, показывают, что вы не отнеслись серьезно к моим словам об информации, собранной нами о вас и докторе Шейнмане. Поэтому я хотел бы показать несколько фотографий, которые помогут вам оценить наши усилия.

С этими словами Кларк раскрыл лежавшую на столе папку, вынул из нее пачку больших фотографий и разложил их перед Алексом. На них были виллы Алекса и Андрея в Кесарии. На одной из фотографий из виллы выходила Рахель, на другой рядом с домом стоял Ури в военной форме. На следующем снимке Андрей и Рахель разговаривали около дома Андрея. Была также фотография с женой и детьми Андрея.

– У вас есть вопросы, доктор Франк? – спросил Кларк, не скрывая удовольствия от произведенного эффекта.

– Зачем вы это сделали?

– Вас удовлетворит, если я скажу, что это рутинная процедура сбора информации о потенциальном партнере перед переговорами? А в данном случае мы были несколько дезориентированы слухами о том, что вы и доктор Шейнман живете не то в Италии, не то в Южной Африке. Поэтому нам пришлось приложить некоторые усилия и установить ваш настоящий адрес. Израиль – прекрасная маленькая страна, но очень беспокойная. Мне рассказывали, что палестинские террористы похищают израильских солдат прямо на дорогах. У вас ведь сын солдат, доктор Франк. Представляю, как вы должны беспокоиться за Ури...

Слова Кларка звучали все более зловеще. Надо было что-то придумать, как-то выбраться из западни. Главное – сбить с толку, оглушить, вывернуть мозги этому мерзавцу. Алекс умел это делать. Друзья не раз признавались, что никогда не знают, говорит он серьезно или шутит. И то и другое у него получалось одинаково убедительно. Но раньше это были дружеские розыгрыши, а сейчас речь шла о жизни и смерти. В памяти всплыл знаменитый ответ Хосе Капабланки на вопрос – сколько ходов вперед он может просчитать? «Я вижу только на один ход вперед, но это всегда правильный ход», – ответил чемпион мира. Каков он, этот единственный правильный ход? «В болтовне Гопкинса есть какие-то зацепки. Он упомянул Италию и Южную Африку. Значит, здесь замешана “Игл Корпорэйшн”. Что еще? – Мозг Алекса работал как аналитическая машина. – Билл Дэвис сказал в Калгари Ларри Эвансу из “Альбион Энерджи”, что “Дабл Эй” – это итальянская компания. “Альбион” – наш сосед по блоку. И это действительно одна из крупнейших международных корпораций. Ну что ж, начну с этого. А там по обстоятельствам. Но сначала – запугать, перехватить инициативу». Алекс приступил к самому дерзкому розыгрышу в своей жизни.

– Я вас понял, мистер Гопкинс. Вы действительно хорошо поработали. Но в вашей концепции переговоров, как вы их называете, есть крупный просчет. Вы сказали, что вас не интересуют те, кто нас финансирует. В этом ваша ошибка и одновременно некая случайная удача, если так можно выразиться. Впрочем, удача лишь временная. Если бы вы направили усилия в этом направлении и попытались выяснить, кто именно обеспечивает нам финансовую и организационную поддержку, а также нашу личную безопасность, то это моментально отбило бы у вас всякое желание предлагать нам сотрудничество и вообще соваться с так называемыми деловыми предложениями. Я сейчас скажу то, что не должен говорить. И

делаю это с единственной целью – предостеречь вас и вашу корпорацию от дальнейших глупостей. А теперь ответьте на один вопрос – вы знаете, что такое «Мосад»? – Алекс сделал паузу и закончил нарочито грубо: – Я не слышу ответа, Гопкинс. Вы что, оглохли?

– А при чем здесь вы? Вы, кажется, решили запугать меня. Вы в своем уме, доктор Франк?

– Я так и не услышал ответ. Слово «Мосад» вам о чем-то говорит?

– Ну, допустим. Это израильская разведка. Уж не хотите ли вы сказать, что вы сотрудник «Мосада»? – Кларк рассмеялся.

– Прекрасно. Значит, вы знаете, что такое «Мосад». Нет, я не сотрудник. Ни я, ни доктор Шейнман. Просто «Мосад» финансировал разработку прямого метода и является его эксклюзивным владельцем. А вся прибыль от продажи месторождений идет непосредственно в бюджет организации. Вам это трудно понять. Вы не знаете израильской специфики. Вы сказали, что Израиль – прекрасная маленькая страна. Но она еще и необычная страна. В ней возможно то, что немыслимо где-либо еще. Я рассказываю это только потому, что вы, Гопкинс, или как там ваше настоящее имя, в сущности конченный человек...

Кларк взорвался.

– Прекратите этот шантаж и демагогию! Вы усугубляете свое положение. Я буду вынужден прибегнуть к другим мерам, и вы быстро забудете ваши сказки. Перестаньте фантазировать. Я предлагаю вам говорить о деле...

– Поздно, Гопкинс. Вы заварили эту кашу и лучше подумайте, как будете ее расхлебывать. А теперь слушайте дальше. Каждая компания, которая начинает проявлять повышенный интерес к «Дабл Эй», автоматически попадает в поле зрения «Мосада». И на все ее руководство, вплоть до начальников отделов, составляется подробное досье. Так было с «Игл Корпорэйшн», по которой у нас есть детальная информация, начиная от бедняги Джона Андерсона и кончая Биллом Дэвисом и Джеком Тэйлором. С «Игл» мы обошлись мягко. Они просто прогулялись в Италию, и на этом их пыл остыл, к счастью для них. Но с «Альбион Энерджи», видимо, нужно будет разбираться по-другому. Кстати, в досье на вашу верхушку, которое включает Ларри Эванса и всех, кто выше и ниже его, вплоть до начальников отделов, нет имени Гопкинс. Ну ничего, мы выясним ваше настоящее имя.

Кларк судорожно глотал воздух. Он стучал кулаком по столу и вяло выкрикивал: «Замолчите! Все это ложь! Вы пожалеете!» Но Алекс был в ударе, он и не думал останавливаться. Он понимал, что должен запугать окончательно этого самоуверенного наглеца, рассеять у него малейшие сомнения в истинности этой фантастической истории. Только так можно вырваться из западни.

– И учтите еще одну вещь, Гопкинс, – условно буду называть вас этим именем, – «Мосад» составляет досье не для того, чтобы потом показывать фотографии жен и детей. Мы такими дешевыми трюками не занимаемся. Когда что-то случается с нашими людьми, то виновные в преступлении просто взрываются в своих машинах и офисах. И если у вас есть хоть капля воображения, то представьте себе, что будет с теми, кто задумал посягнуть на святая святых – бюджет организации. А я и доктор Шейнман – это немалая часть бюджета. И наконец, расскажу вам, что происходит сейчас, в эту самую минуту.

Алекс взглянул на часы.

– Три часа назад ваши бандиты схватили меня и доктора Шейнмана. Офицер «Мосада», сопровождавший нас на второй машине, убит или ранен в результате подстроенной аварии. По существующей инструкции, другой офицер, который постоянно находится в Лонгриче, должен сообщить резиденту в Канберре о нашем исчезновении в течение получаса, если мы не прибудем в назначенное время и связь с нами будет прервана. Итак, резидент получил сигнал тревоги

два с половиной часа назад. Можете не сомневаться, что оперативная группа «Мосада» уже приближается к Лонгричу. Это профессионалы, не чета вашим бандитам. Резиденту известно, что главный подозреваемый – это «Альбион Энерджи». Вы уже давно занимаете первое место в нашем списке, еще с тех пор, как Ларри Эванс узнал о «Дабл Эй» от Билла Дэвиса в Калгари, на конференции в «Холидэй Инн». Кстати, передайте Эвансу, что его шутка насчет того, что «Дабл Эй» – это филиал Си-Ай-Эй, была не так уж далека от истины. Он поймет, что я имею в виду. Расположение ваших офисов, списочный состав ведущих сотрудников и их домашние адреса хорошо известны. Пеняйте на себя, Гопкинс, если с ними что-то случится. Но это еще не все. Сообщение о нашем исчезновении передано в Тель-Авив, а оттуда – резиденту в Лондоне. Поэтому если Ларри Эванс вдруг исчезнет по пути из дома в офис, вам не следует удивляться. Не хотел бы я сейчас быть на вашем месте.

На Кларка жалко было смотреть. Он напоминал молодого неопытного тигра, который захотел полакомиться маленьким безобидным с виду зверьком, но вдруг место мяса напоролся на острые иглы дикобраза.

– А теперь, Гопкинс, или как вас там, немедленно пригласите сюда доктора Шейнмана. Без него продолжения разговора не будет.

Через минуту Андрея привели из соседней комнаты. Вид у него был растерянный. Видимо, ему тоже показали фотографии. Алекс обнял его и прошептал на ухо: «Не дрейфь, Андрюха, я их запугал “Мосадом”. У них полные штаны». Андрей сделал круглые глаза, потом как-то сразу подобрался и выпрямился. Он не раз бывал свидетелем знаменитых розыгрышей Алекса...

В этот момент к Кларку подошел сотрудник и сообщил, что Боб Дуглас бесследно исчез вместе с грузовиком. Узнав об этом, Кларк пристально посмотрел на Алекса и прошептал: «Они уже здесь». Сотрудник удивленно спросил: «Вы о ком, босс?» Вопрос остался без ответа. Алекс не слышал их разговор, он был занят Андреем.

21

А в это время в домике «Дизенгоф» Габриэль и Гидеон занимались Бобом Дугласом. Это был тридцатилетний парень с квадратным подбородком и стрижкой бобриком, коротконогий и широкоплечий. «Роцеах амети»⁶, – подумал Габриэль. Он медленно приходил в себя после того, как на нем была отработана комбинация «цхок бацад». У него обнаружили визитную карточку работника «Альбион Энерджи». Сначала он твердил, что авария произошла случайно, он просто срезал угол на повороте, не ожидая встречной машины. Но через несколько минут его собеседникам надоела эта история. Они применили то, что известно широкой публике как «особое обращение при допросе». И Дуглас заговорил. Казалось, он только и ждет следующего вопроса, чтобы выложить все, что знает. Правда, пару раз между вопросом и ответом возникала слишком долгая пауза, и было видно, что он мучительно придумывает какую-то версию, чтобы уйти от ответа. Тогда Гидеон начинал медленно снимать пиджак, и Дуглас вспоминал подробности, имена и адреса.

Он рассказал, что работает в отделе специальных проектов. Руководит операцией начальник отдела Рональд Кларк, который прилетел с группой из трех человек из Лондона. В Сиднее к ним присоединились еще четверо работников компании. В Лонгриче группа пополнилась двумя сотрудниками австралийского филиала, которые до этого собирали всю оперативную информацию о «Дабл Эй». Целью операции было похищение доктора Франка и доктора Шейнмана, которого они

⁶ Настоящий убийца – иврит.

опознали еще в самолете и прибытие которого в Австралию было для них неожиданностью.

На вопрос, где находятся похищенные, Дуглас не мог дать вразумительный ответ. Он начал описывать некий дом за глухим забором, но не знал его номер и название улицы. Габриэль и Гидеон переглянулись, и Гидеон снял пиджак. Дуглас тут же вспомнил точный адрес и показал место на карте города. Он сообщил, что дом оснащен системой сигнализации и охрана вооружена. Внешнее охранение постоянно несут пять человек. Остальные находятся внутри дома. На просьбу нарисовать его план Дуглас ответил, что не помнит точное расположение комнат. Гидеону пришлось снова помочь ему с помощью пиджака, после чего на листе бумаги появился довольно грамотный чертеж с обозначением дверей, окон и внутренних помещений.

– Учи, Боб, – сказал Габриэль, – если хотя бы одна деталь в твоём рассказе окажется неверной, ты последуешь за своим грузовиком (в начале беседы Дуглас спросил, где его машина? Гидеон ответил: забудь о ней, ее больше нет, она умерла и похоронена).

– Клянусь, джентльмены, я говорил только правду, – искренне заверил Дуглас.

Гидеон остался с Дугласом, а Габриэль отправился по названному им адресу и провел внешний осмотр дома. Вернувшись, он рассказал об увиденном Гидеону, и они пришли к выводу, что вдвоем бессильны что-либо сделать. Габриэль позвонил Шмуэлю в Израиль, дал подробный отчет о событиях и анализ обстановки.

– Может быть, нам следует обратиться в полицию? – спросил он. – Ведь речь идет об уголовном преступлении.

– Нет, это не годится, – ответил Шмуэль, – ставки слишком высоки. Они убьют их, как только полиция начнет заниматься этим делом. А потом заметут следы.

– Тогда нужны люди, человек восемь. Вдвоем мы не справимся.

Шмуэль сказал, что начинает работать над этим и будет информировать их по мере появления новостей. С этого момента добродушный старик с мягкими манерами, каким его знали окружающие, как бы сбросил с себя груз возраста и снова превратился в того молодого бесстрашного подпольщика, который был известен когда-то под именем «Шмулик-пистолет» – за умение мастерски владеть оружием и поражать цель из любого положения. Участие в многочисленных секретных операциях, акциях возмездия, доставке в страну оружия и транспортов с нелегальной агией – все это сделало командира группы «Шимшон»⁷ легендой сороковых годов. И вот теперь тот прежний Шмулик сидел в кресле одного из богатейших людей Израиля и снова обдумывал боевую операцию. Он дал ей кодовое название «Альбион». Взгляд его стал холодным и жестким. Из уголков глаз исчез привычный хитроватый прищур...

Его первая мысль была о Радже. Он уже находится в Перте, правда, на расстоянии трех тысяч километров от Лонгрича, но это все-таки Австралия. Шмуэль знал, что, выходя на яхте в район Индонезийского и Филиппинского архипелагов, Радж всегда имеет на борту хорошо вооруженную охрану. Внутренние моря между островами этих архипелагов кишат пиратскими судами. Это последний сохранившийся в мире район, где еще существует морское пиратство. Имея быстроходные катера и современное вооружение, пираты нападают на торговые и пассажирские суда, грабят их и убивают пассажиров. Поэтому «Звезда Галилеи» была, по существу, военным кораблем. На ее верхней палубе стояли замаскированные спаренные зенитные пулеметы, на корме и вдоль бортов имела целая батарея скорострельных пушек. Яхте уже приходилось топить пиратские катера. Ее экипаж и отряд личной охраны Раджа состояли из отборных индийских командос. Все они были сикхи, как и сам Радж. Этот гордый воинственный народ почти полтора

⁷ В русской транскрипции «Самсон» – герой библейской легенды о Самсоне и Далиле.

лет ведет борьбу за свою независимость, с тех пор как в середине девятнадцатого столетия Англия захватила Кашмир, жестоко подавила сопротивление сикхов и уничтожила их государство. После покорения Кашмира сикхи стали лучшими солдатами в британской колониальной армии. Эта слава сохраняется за ними и в современной индийской армии.

Шмуэля и Раджа связывали не только многолетняя дружба и общие деловые интересы. Каждый из них всегда был готов прийти на помощь другому в любых обстоятельствах, как бы сложны и рискованны они не были. Однажды, восемь лет назад, Радж решил прозондировать возможность участия в нефтяном бизнесе в Ираке. Он отправил своего младшего брата с тремя специалистами в нефтяной район на севере страны для изучения экономической ситуации. Однако время для этого оказалось неудачным – шла затяжная кровопролитная война между Ираком и Ираном. Как и все войны в регионе во второй половине двадцатого века, она велась из-за нефти. Поездка делегации была согласована с высокопоставленным иракским чиновником, но в Багдаде произошла очередная чистка и чиновника расстреляли. Начались гонения на всех, кто был с ним связан. Людей Раджа арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Ирана. Военный трибунал в Мосуле, главном городе Иракского Курдистана, приговорил их к смертной казни. Четверо индийцев содержались в городской тюрьме в ожидании исполнения приговора. Радж начал немедленно действовать по всем каналам, пытаясь повлиять на власти в Багдаде, но его усилия были безрезультатны. Тогда он обратился к Шмуэлю.

На следующий день майор спецназа Давид Бен-Эзра «уволился» из армии по личным обстоятельствам и в тот же вечер покинул Израиль. А ещё через два дня шейх Мустафа Эль-Бадр принимал у себя дома в городке Захо, в Иракском Курдистане недалеко от турецкой границы, своего старого друга Дауда. Со времени их последней встречи прошло три года. Они сидели в просторной увешанной коврами комнате, ели гургу из мяса молодого барашка и курили кальян. Гость хвалил кулинарное искусство хозяина и поглощал еду с нескрываемым аппетитом, доставляя тому большое удовольствие. Когда подали фрукты и сладости, шейх начал неспешный ритуальный разговор.

– Как здоровье твоего почтенного отца, уважаемый Дауд?

– Спасибо, уважаемый Мустафа. Мой отец чувствует себя хорошо, несмотря на преклонный возраст.

– Как здоровье твоего старшего сына?

– Мой старший сын здоров и занят своими делами.

– А как здоровье твоего младшего сына?

– Мой младший сын здоров и успешно учится.

– Как здоровье твоей жены?

– Моя жена здорова и ведёт семейное хозяйство.

После этого настала очередь гостя задавать вопросы. Он последовательно осведомился о здоровье сыновей, братьев и трёх жён шейха. К их обоюдному удовлетворению все члены его большой семьи были здоровы и благополучны. О женщинах, исключая жён, спрашивать было излишне. Затем Дауд задал вопрос, ответ на который был известен ему заранее.

– Я рад, что твоя семья благополучна и дом полон достатка. Но может быть есть что-то, в чём уважаемый Мустафа нуждается?

– Я нуждаюсь в оружии, – шейх оживился, он ждал этого вопроса, – мне нужно много оружия. Столько же, сколько я получил от тебя три года назад. Мы потеряли большую часть того, что у нас было, в тяжёлых боях. Можешь ли ты восполнить эти потери?

– К сожалению, сейчас положение изменилось, уважаемый Мустафа, и я не могу снабдить тебя оружием. Но я могу помочь тебе получить много денег, на которые ты купишь всё, в чём нуждаешься, – ответил Дауд.

– Говори, – сказал шейх.

...Той же ночью отряд курдов на пяти джипах пересёк реку Хабар и устремился на юг к реке Тигр, через район, контролируемый шейхом. Командовал отрядом его брат Масуд, военным советником которого был Дауд, личный друг Мустафы Эль-Бадра. Дауд говорил по-арабски на незнакомом диалекте, но курды понимали его. К утру, обогнув охраняемый иракской армией нефтяной промысел Айн-Зала, отряд вышел к деревне Бутма, где его уже ждали двадцать пять осёдланных лошадей, специально обученных для передвижения в горах. Курды называют их «сус джабали» – горная лошадь. После короткого отдыха продолжили путь верхом по территории, патрулируемой иракскими войсками. Проводники вели отряд по тропам, которых нет на карте, обходя армейские заставы. С наступлением темноты подошли к развалинам Ниневии на левом берегу Тигра и устроили недолгий привал. Напротив, на правом берегу реки тускло мерцали уличные фонари Мосула.

Майор Бен-Эзра лежал на спине среди древних руин, подложив под голову бронезилет, и смотрел в чёрное ночное небо Горного Курдистана. Воздух был кристально прозрачен, и звёзды сверкали алмазным блеском. Ниневия... Что говорило ему это слово? Он пытался вспомнить всё, что знал о ней. Некогда процветающая столица Ассирийской империи с крупнейшей в древнем мире библиотекой клинописных табличек, культовый центр Астарты, богини сексуальной любви. После нападения Ассирии на Иудею пророки Цфания и Нахум предрекли Ниневии гибель. Пророчество сбылось – в седьмом веке до новой эры город был разрушен мидийцами и вавилонянами. Что ещё? Через Ниневию пролегал маршрут, по которому четыре тысячи лет назад небольшой караван из города Ур в Южной Месопотамии двигался в торговый город Харан, что в нынешней южной Турции. Во главе каравана шёл халдей Терах, которого сопровождали сын Аврам со своей женой Сарай и внук Лот. В Харане Терах умер, а Аврам и остальные домочадцы, повинувшись воле Всевышнего, повернули на юг, в страну Ханаан, обещанную их потомкам. Там Аврам стал праотцем Авраамом, а его жена Сарай – праматерью Саррой. Так начиналась история народа. И сейчас те же звёзды сверкали на небе, в которое вглядывался Бен-Эзра, и так же кристально прозрачен был ночной воздух горной страны, как и четыре тысячелетия назад. И по-прежнему здесь шли бесконечные войны...

В полночь отряд бесшумно переправился через Тигр и вошёл в спящий город. Курды окружили тюрьму, сняли часовых и ворвались в здание. В короткой рукопашной схватке они перебили внутреннюю охрану и освободили заключённых. Затем с четырьмя индийцами покинули территорию тюрьмы и снова переправились на левый берег. Вся операция заняла менее двух часов. К утру конный отряд вышел к деревне Бутма и пересел на джипы. На следующий день радио Багдада сообщило о нападении иранских агентов на тюрьму в Мосуле и о побеге индийцев, что лишний раз доказывало их принадлежность к иранской шпионской организации и справедливость вынесенного приговора. Через месяц шейх Мустафа Эль-Бадр получил первую партию закупленного им оружия.

Было это восемь лет назад. А сейчас Шмуэль сам нуждался в помощи своего индийского друга. Телефонный звонок застал Раджу в кают-компании за завтраком. Шмуэль рассказал о возникшей проблеме и спросил – может ли он помочь?

– Как, ты сказал, называется это место? Лонгрич? Одну минуту, Шмуэль, сейчас мне принесут карту. Расстояние три тысячи километров по прямой? Вот и карта. Да, есть такой городок. Нашел. Слушай, Шмуэль, я должен обсудить все это со своими людьми. Надеюсь, мы что-нибудь придумаем. Я сразу же сообщу тебе. А пока дай мне телефон твоих ребят в Лонгриче. И сообщи им мой телефон.

Шмуэль продиктовал Раджу номера телефонов Габриэля и Гидеона. После этого он позвонил Габриэлю и сообщил о разговоре с Раджем.

Радж перезвонил через три часа.

– Шмуэль, мои люди вылетают завтра утром. Мы зафрахтовали самолет внутренних авиалиний. Его уже готовят к рейсу. Командир группы сейчас свяжется с твоими ребятами и договорится о встрече. Надеюсь, все будет сделано как надо. Это надежные парни, моя личная охрана.

Через несколько минут зазвонил мобильный телефон Габриэля.

– Здравствуйте, мистер Каминский. Говорит Рой Сингх, командир группы. Нас десять человек. Мы вылетаем из Перта завтра в семь утра по вашему времени и в одиннадцать садимся на полосу в восьми километрах севернее Лонгрича. Самолет «джет командер» компании Внутренние Австралийские авиалинии. Бортовой номер семнадцать двадцать один. У вас есть какие-нибудь просьбы или пожелания? Два «узи»? Нет проблем. До встречи. Конец связи.

– Роджер, – ответил Габриэль, поняв, что разговаривает с профессионалом⁸. Операция «Альбион» началась...

22

Рональд Кларк ожидал дальнейших указаний из Лондона. После ошеломляющего разговора с Алексом он немедленно связался с Ларри Эвансом, рассказал о возникшей ситуации, об исчезновении Боба Дугласа, а затем включил кассету с полной записью разговора. Единственный отрывок, который Кларк не рискнул передать в Лондон, касался требования Алекса о немедленном приглашении Андрея. Эванс слушал кассету и одновременно записывал ее на свой магнитофон. Закончив прослушивание, он задал несколько уточняющих вопросов и сказал, что должен обсудить ситуацию с президентом. До поступления новых распоряжений Кларку предписывалось людей «Дабл Эй» не отпускать, но дальнейшие переговоры с ними прекратить.

В кабинете президента «Альбион Энерджи» Энтони Крэйга, кроме Эванса, присутствовал вице-президент по зарубежным операциям Гарри Бриссон. Эванс коротко рассказал о сложившейся обстановке, а затем включил магнитофонную запись. Все слушали с напряженным вниманием. Первым отреагировал Бриссон.

– Я этому не верю. Это блеф. Франк все придумал. Я просто не узнаю Кларка. Он профессиональный психолог. Как он мог поверить в такую чепуху?

– Не торопитесь, Гарри. А если это не блеф? – усомнился Крэйг. – Если в этом есть хотя бы доля правды? Вы представляете, в какую историю мы можем влипнуть? А возможно, уже влипли. Итальянская афера «Игл Корпорэйшн» покажется тогда просто детской забавой. «Альбион», конечно, одна из крупнейших международных компаний, но вступать в схватку с «Мосадом» мы не можем. Помните, что они сделали с теми, кто стоял за убийством их спортсменов в Мюнхене. Мы ничего не знаем об Израиле. У них там все тесно переплетено – политика, религия, разведка, бизнес. Европейцу трудно в этом разобраться. Вы исходите из того, Гарри, что Британская секретная служба ни при каких обстоятельствах не стала бы пополнять свой бюджет за счет бизнеса. Это потому, что мы – страна с традициями. В Израиле нет традиций. Вы слышали, что заявил этот доктор Франк? Если с ними что-то случится, то начнут взрываться автомашины и офисы наших людей. Это международный терроризм. От страны без традиций всего можно ожидать. Поэтому я считаю, что мы должны спокойно, без эмоций обсудить то, что сейчас услышали. Кстати, Ларри, что это за шутка насчет Си-Ай-Эй?

– Хороший вопрос вы задали, Энтони. Я только сейчас с трудом вспомнил, о чем идет речь. Это было около двух лет назад в Калгари, на какой-то конференции.

⁸ «Роджер» – кодовое слово, означающее, что сообщение получено и понято; международный термин.

Билл Дэвис, вице-президент «Игл Корпорэйшн», рассказывал мне о «Дабл Эй». Кажется, мы стояли с ним в фойе, вокруг было много народа. Тогда я впервые услышал от него название «Дабл Эй». И сказал Биллу что-то вроде того – а не филиал ли это Си-Ай-Эй? Просто пошутил, имея в виду сходное звучание. Да, как будто так оно и было. Но теперь вся эта история приобретает совсем другой смысл. И не потому, что здесь проводится параллель между «Дабл Эй» и Си-Ай-Эй, а потому, что они записали тот наш случайный разговор в фойе. Вы представляете, джентльмены, они уже тогда записывали нас! Мы еще ничего о них не знали, а они уже следили за нами. Возможно, их целью была «Игл Корпорэйшн», а мы просто попали в поле зрения вместе с ней. Но это не меняет существа дела. И если, Гарри, ты продолжаешь настаивать, что все это блеф, то как объяснить, что Франк с такой легкостью извлекает из своей памяти мои собственные слова, о которых сам я давно забыл? Я уже не говорю об «Игл Корпорэйшн». О ней они знают буквально все, включая эту итальянскую аферу, которую сами и подстроили. Так могут действовать только профессионалы высокого класса, а не обычная служба охраны нефтяной компании. Добавьте к этому загадочное исчезновение Боба Дугласа вместе с машиной. Он должен был после операции прибыть к месту сбора группы, но как в воду канул. В полиции и в местной больнице о нем ничего не знают. А Дуглас – крепкий парень и был вооружен. Вы же знаете, откуда он пришел к нам. Как хотите, джентльмены, а здесь чувствуется тот же почерк – все делается быстро, бесшумно и не остается никаких следов. Поэтому я не стал бы относиться к словам доктора Франка как к пустым угрозам. А что касается международного терроризма, то мы с вами сами утвердили план Кларка. В нем, помимо первого варианта, есть и второй – на случай, если первый не даст желаемых результатов. Поэтому я предложил бы не уделять столько внимания терминологии и моральной стороне дела, а сосредоточиться на фактах. Факты, которые нам известны, не противоречат тому, что наговорил этот Франк. И, наконец, последний вопрос – об источниках финансирования секретных служб. Все мы помним «Ирангейт» – аферу Си-Ай-Эй во времена Рейгана с продажей оружия Ирану для финансирования тайных операций в Никарагуа. Если так действуют американцы, то почему мы не можем ожидать чего-то подобного от их друзей израильтян. Одни, чтобы пополнить бюджет, продают оружие, другие – нефть. В этом есть своя логика. А недавно в прессе появились сообщения о причастности «Мосада» к поставкам российского оружия Анголе в обмен на алмазы. И занимается этим израильский бизнесмен Дов Доваев.

– Вот, вы слышали, Гарри, – заключил Крэйг, – не все так просто, как вам это представляется. Здесь есть, о чем подумать. И я меньше всего хотел бы влипнуть в какую-нибудь скандальную историю. Эта свора борзописцев из «Дэйли Стар» и другой желтой прессы только и ждет случая вцепиться в большой бизнес. Я бы не хотел, чтобы о нас написали что-то подобное андерсоновскому проктоскопу.

– Джентльмены, все, что мы услышали от Кларка и что рассказал Ларри, очень интересно, – подвел итог Бриссон. – Однако это скорее напоминает добротню сделанный детектив, что-то в духе беседы Шерлока Холмса с доктором Ватсоном. Во всяком случае, меня это не убеждает. Но я уважаю ваше мнение. И вскоре у нас будет возможность проверить, что в действительности кроется за развязными тирадами доктора Франка – блеф или что-то серьезное. Я имею в виду эту мифическую оперативную группу «Мосада», которой он запугивал Кларка. Давайте подождем дня два-три и посмотрим, появится ли она в Лонгриче. И тогда будем решать, что делать дальше. А пока пусть Кларк держит этих израильтян у себя и ждет развития событий. Я полагаю, он обеспечил полную секретность операции. Хотя исчезновение Дугласа меня и беспокоит, я не вижу причин связывать одно с другим.

Изящный двухмоторный «джет командер» летел на восток навстречу лучам восходящего солнца со скоростью восемьсот километров в час. Рой Сингх рассказывал своим людям о цели операции.

– Дело вот в чем, ребята. У нашего босса есть очень близкий друг. Он израильтянин. Они дружат с юности и не раз выручали друг друга. В общем, это настоящая мужская дружба. А у израильтянина есть бизнес в том городке, куда мы сейчас летим. Там работают двое его людей. Они ему как сыновья. И вот английские бандиты похитили их. Они держат этих людей в своей частной тюрьме, и их жизни угрожает опасность. Мы должны освободить их и проучить англичан. Босс сказал своему другу, что мы лучшие солдаты Индии и что мы сделаем все как надо. И израильтянин ответил, что он этого никогда не забудет и что каждый из нас получит его личную благодарность. А он так же богат, как наш босс. Что скажут сикхи?

– Сикхи сделают это, – дружно ответили ребята. – Сикхи не раз били англичан. Мы побьем их и сейчас.

Это были крепкие парни, прошедшие специальную подготовку и в совершенстве владевшие восточными единоборствами. В больших спортивных сумках у каждого находилось все, что могло потребоваться для операции, – холодное и огнестрельное оружие, дымовые шашки, гранаты со слезоточивым газом, защитные маски, наручники и много других нужных вещей.

Габриэль и Гидеон были готовы к приему гостей. В домик «Дизенгоф» были завезены складные кровати, два больших холодильника, продукты. В компании по прокату автомобилей был арендован вместительный мини-бус «фольксваген каравелла». В подвальном помещении оборудовали угол для Боба Дугласа, где он был почти постоянно прикован к водяному стояку.

Перед тем как отправиться встречать самолет, Гидеон спустился в подвал.

– Послушай, Боб, – сказал он, – у тебя есть последняя возможность вспомнить, не перепутал ли ты что-нибудь или упустил кое-какие детали. Сейчас ты еще можешь все уточнить и исправить. От этого зависит твоя жизнь. Если окажется, что ты сообщил неверные данные, живым ты отсюда не выйдешь. Если ты сказал правду, мы гарантируем тебе жизнь.

Дуглас напрягся и попросил нарисованный им план дома. Он долго проверял его и, наконец, сказал, что в дальней комнате, возможно, есть еще одно окно, но полностью в этом не уверен. Он отметил это место на плане и поставил вопросительный знак.

– И это все? – спросил Гидеон.

– Клянусь жизнью, – торжественно заявил Дуглас.

Они подъехали на двух машинах к посадочной полосе за полчаса до прибытия самолета. Это не был аэродром в полном смысле слова. Полоса была приспособлена только для взлета и посадки небольших самолетов авиации общего назначения. Ее оборудование включало лишь указатели направления ветра и осветительные устройства. В обычное время полоса была безлюдна. Так было и сейчас. Стоя около машин и глядя в небо, Габриэль и Гидеон вспомнили рассказ своего инструктора, который в 1973 году участвовал в рейде на базы ООП в Бейруте. Рейд был ответом на убийство израильских спортсменов в Мюнхене. Инструктор входил в группу, которая обеспечивала прием морских командос и доставку их к объектам атаки. Была темная апрельская ночь. Члены группы стояли на безлюдном бейрутском пляже и всматривались в морскую мглу, ожидая светового сигнала. Наконец, они увидели его и ответили миганием автомобильных фар. Через несколько минут из моря вышли боевые пловцы, неся в водонепроницаемых мешках оружие и гражданскую одежду...

Ситуация была в чем-то похожа. Вот они стоят вдвоем где-то в центре огромного австралийского континента и готовятся принять индийских командос, которые помогут им освободить двух израильтян. В небе на западе появилась точка. Она быстро приближалась, приобретая очертания самолета. «Джет командер» коснулся полосы ровно в одиннадцать. После короткой пробежки он остановился прямо около машин. Открылась дверь, и по короткому трапу на землю сошли рослые смуглые парни, одетые в спортивные костюмы. В руках у каждого была большая сумка. Их можно было принять за команду, прилетевшую на соревнования по крикету, столь популярному в странах Британского содружества. Короткая встреча, слова приветствия, и вот все они уже в машинах мчатся в Лонгрич.

После легкого застолья в домике «Дизенгоф» Габриэль и Рой отправились к тому месту, где содержались похищенные. Проведя рекогносцировку, они вернулись и приступили к разработке плана операции. После детального обсуждения было принято предложение Роя – в середине ночи забросать двор дымовыми шашками, затем гранатами со слезоточивым газом и, надев противогазовые маски, ворваться внутрь. У Габриэля была единственная просьба:

– Желательно без жертв, Рой. Если можно – ограничиться только нейтрализацией.

– Мы постараемся, Габриэль. Это и в наших интересах. Мы не хотим иметь дело с полицией.

Они обрушились на объект, как называл это место Рой, в два часа ночи. Все происходило как на учениях. Внешняя охрана была застигнута врасплох, нейтрализована и обезоружена. Внутри дома находились еще четверо. Все они спали и проснулись, только услышав шум. Им приказали уткнуться лицом в подушки. Алекса и Андрея обнаружили в той самой дальней комнате, которая вызвала сомнения у Дугласа. Второе окно в ней действительно было. Увидев Габриэля и Гидеона с «узи» в руках, они все поняли.

– Кто эти люди? – спросил Алекс.

– Это люди Раджа, мистер Франк, – ответил Габриэль. – Не хотите ли прихватить кого-нибудь из «Альбион Энерджи» для обстоятельного разговора? Или сказать что-нибудь на прощание?

– Прихватить не хочу. Но с их боссом я бы попрощался. Он назвался Майком Гопкинсом, но это, наверное, не настоящее имя.

– Его зовут Кларк. Рональд Кларк, начальник отдела специальных проектов, – дал справку Габриэль.

– Вот как. Интересно. Спасибо, Габи. Приведи его.

Кларк был в трусах, волосы взъерошены.

– Извините, Кларк, что мы покидаем этот дом без вашего согласия, – обратился к нему Алекс. – Я предупреждал, что мы будем разбираться с «Альбион Энерджи» не так, как с «Игл Корпорэйшн». Надеюсь, вы больше не будете делать глупости. А если это вас ничему не научит, то, выражаясь вашими же словами, такая ситуация тоже предусмотрена. И передайте это Ларри Эвансу. А теперь идите досматривать свои фантастические сны.

С этими словами Алекс, Андрей и участники операции покинули поле боя, забрав трофейное оружие и мобильные телефоны и выведя из строя стоявшие во дворе машины. Весь следующий день «индийские гости», как стали называть их Алекс и Андрей, отдыхали в домике «Дизенгоф». Рой связался с пилотами и удостоверился, что заказанный в Лонгриче заправщик прибыл и баки заполнены топливом. Прощание перед посадкой в самолет было теплым. Габриэль и Гидеон обнялись с каждым членом группы. Рой, широко улыбаясь и пожимая руку Габриэлю, сказал: «У настоящих командос должен быть свой собственный Энтеббе. Это как пропуск в элитный клуб. Теперь он у нас есть. Маленький, но свой». «Вы заслужили этот пропуск», – с полной серьезностью ответил Габриэль.

Домик «Дизенгоф» снова опустел. Его временные обитатели вернулись в «Козерог». Дугласу завязали глаза, и Гидеон отвез его на противоположную окраину города. Там снял повязку, наручники и отпустил на все четыре стороны. На прощание посоветовал уехать куда-нибудь подальше, так как Кларк не простит то, что он сделал.

24

Для Алекса опять начались рабочие будни. Бурение скважин приближалось к наиболее ответственному этапу – вскрытию нефтяных пластов. Он и Андрей проводили на буровых целые дни и возвращались в гостиницу поздно вечером. Габриэль и Гидеон неотступно следовали за ними, не расставаясь с «узи». Они пришли к выводу, что сами скважины как источники информации или объекты саботажа не интересуют «Альбион Энерджи» и что главная опасность угрожает их подопечным. Алекс не разделял их тревогу. Он считал, что после урока, преподанного Кларку и его лондонскому начальству, они не решатся на новую провокацию. Однако Габриэль и Гидеон оценивали ситуацию не с психологических, а с профессиональных позиций. Для них не существовало такого понятия, как «урок». В их лексиконе было только слово «безопасность». И они старались предусмотреть любую, даже самую маловероятную угрозу и заранее нейтрализовать ее.

Руководство «Альбион Энерджи» собралось для обсуждения возникшей ситуации в прежнем составе. На этот раз все трое не скрывали своей озабоченности. Гарри Бриссон опять выступил первым. Он снова был категоричен, и в его суждениях не было сомнений и колебаний. Но вектор этой уверенности изменился.

– Джентльмены, я признаю, что был не прав. За «Дабл Эй» действительно стоит «Мосад». И это коренным образом меняет дело. В новой ситуации мы должны действовать еще более решительно и жестко. Нам ничего не остается, как принять вызов. Мы не можем проиграть.

– О чем вы говорите, Гарри! – в ужасе воскликнул Крэйг. – Вы что, предлагаете нам вступить в схватку с профессиональной секретной службой? Стрелять на улицах и взрывать офисы? Превратиться из уважаемой корпорации в семейство дона Карлеоне? Куда вы нас толкаете?

– Не надо преувеличивать, Энтони. Мы ни в кого не превратимся. Мы останемся прежней уважаемой «Альбион Энерджи». И то, что я предлагаю, намного меньше по масштабам и последствиям, чем, например, скупка контрольного пакета «Бизон Эксплорэйшн» и ликвидация этой компании, в результате чего шесть тысяч человек оказались на улице. Как вы знаете, мы провернули это три года назад. Или недавняя сделка, когда мы выставили с европейского рынка скандинавскую группу, что привело к ее банкротству. Там, кажется, было несколько самоубийств. Джентльмены, излишне напоминать, что наше место в бизнесе никем не гарантировано. Если мы проявим слабость, то можем просто исчезнуть, как это случилось со многими гигантами до нас. Угроза, которая исходит от «Дабл Эй», превосходит все, с чем мы сталкивались раньше. Именно к этому я и хочу привлечь ваше внимание. Все остальное – лишь дело техники, как любит говорить наш доблестный Рональд Кларк. Вот пусть он и манипулирует этой техникой. Пусть докажет, что умеет не только составлять планы. А мы докажем себе, что можем не только утверждать их.

– Я слушаю Гарри и думаю, что недаром в колледже его звали «Гарри-ковбой», – вступил в разговор Эванс. – Ты, Гарри, до сих пор не расстался с привычкой «стрелять с бедра». А ситуация такова, что начать стрельбу легко, но остановить ее будет трудно. Дальше всех обычно идет тот, кто не знает, куда идти. Я согласен, что «Дабл Эй» представляет большую угрозу для нас. И не только для нас. Но я

не уверен, что мы можем решить проблему способом, который предлагает Гарри. Особенно теперь, когда нам стало известно, кто стоит за Франком и Шейнманом. Я предлагаю взвесить все «за» и «против» и попытаться сделать обоснованный прогноз — что мы выиграем в случае успеха и что потеряем в случае провала. А провал никогда нельзя полностью исключить. От него никто не гарантирован.

— Разумное предложение, — поддержал осторожный Крэйг. — Кроме того, Гарри, я не могу согласиться с вашими сомнительными параллелями по поводу «Бизона» и скандинавов. Там мы действовали на своем поле и теми методами, которые приняты в бизнесе. А с «Дабл Эй» вы предлагаете нам перейти на чужое поле и играть по их правилам. Мы быстро превратимся из профессионалов в любителей, и результат предсказать нетрудно. Надо найти какой-то другой выход. Побойтесь Бога, Гарри.

— Другого выхода нет, — жестко возразил Бриссон. — А относительно обоснованного прогноза, о котором говорил Ларри, могу сказать со всей определенностью. В случае успеха мы останемся теми, кто мы есть. В случае бездействия — потеряем все. Исчезнем. Будем упоминаться только в исторических справочниках, как это произошло с компаниями, которые не смогли ответить на вызов времени и угнаться за техническим прогрессом. От них остались пять-шесть строчек в нефтяной энциклопедии. И Бог здесь ни при чем, Энтони. Он существует только для мошенников и глупцов. Первые говорят и действуют от его имени, вторые — во имя его. Но и те и другие думают лишь о собственной выгоде.

Бриссон продолжал давить на своих коллег с неослабевающей силой, приводя новые аргументы, исторические примеры, рисуя мрачную перспективу. Как это обычно бывает в таких случаях, когда один из троих настроен решительно и убежден в своей правоте, другой чрезмерно осторожен, а третий колеблется, побеждает тот, кто призывает к действию. И хотя окончательного решения принято не было, но Бриссону удалось склонить чашу весов на свою сторону. Гарри-ковбой не знал, что бросает вызов Шмулику-пистолету. А это не то же самое, что иметь дело с «Бизоном» или скандинавами...

25

По мере того, как Андрей знакомился с технологией разведки, она все больше увлекала его. Настоящее волнение он испытал, когда присутствовал при перфорации обсадной колонны. Ему вспомнился ночной телефонный звонок Алекса из Альберты и предложение дать команду на прострел. Тогда Андрей вообще не знал, как выглядит перфоратор, и имел представление о бурении скважины только со слов Алекса, который однажды весьма популярно рассказал ему о разведке нефти. И вот теперь он впервые увидел все собственными глазами — бурение, каротаж, спуск колонны, ее цементирование и, наконец, перфорацию. Он как бы прошелся по всей технологической цепочке, начиная от анализа образцов почвы, затраты на который ничтожно малы, и до проводки скважины, которая стоит миллионы долларов. А в конце этой цепочки находится нефтяное месторождение стоимостью в сотни миллионов. Все это произвело на него большое впечатление. Алекс, видя столь живой интерес Андрея к своей профессии, временами увлекался и, как всякий специалист, углублялся в такие детали, что Андрею приходилось его останавливать. «Ты, кажется, собираешься сделать из меня геолога. Это так же невозможно, как тебе стать физиком. Мне вполне достаточно превратиться из полного невежды в полуневежду. Излишние подробности убивают хороший рассказ. Но я понял главное — пористые подземные пласты на огромных территориях заполнены водой, и только на крохотных участках в них вместо воды содержится нефть. И эти участки на фоне безбрежных водных пространств можно уподобить буквально каплям в море. Задача геолога — искать эти капли. Здесь можно

вспомнить поговорку о поисках иголки в стоге сена, хотя это, наверное, и некорректное сравнение», – подвел итог Андрей во время одной из таких «лекций», когда они наблюдали спуск в скважину обсадной колонны. «Ну почему же некорректное, – ответил Алекс, – если стог сена прощупывать сверхчувствительным металлоискателем, то это примерно то же самое. В таком случае поиск иголки будет вестись прямым методом. Почти аналогично тому, что мы с тобой делаем».

Через неделю на обеих скважинах предстояла установка «рождественских елок», и после этого у Алекса намечались несколько свободных дней – до начала бурения на двух следующих точках. Как раз в это время Шмуэль должен был прибыть в Перт, и он хотел, чтобы вся группа из Лонгрича прилетела на долгожданную встречу. Габриэль зафрахтовал для этого такой же «джет командер», как тот, который доставил людей Роя Сингха. Он договорился, что авиакомпания перегонит его из Брисбена, главного города штата Квинслэнд, на взлетную полосу около Лонгрича. Расстояние между этими городами более тысячи километров. Поэтому в Лонгриче потребуется дозаправка, и с учетом этого самолет должен будет прибыть не в день вылета в Перт, а накануне.

Время «израильско-индийской встречи», как шутливо-торжественно называл ее Шмуэль, приближалось. Самолет из Брисбена прибывал на следующий день, а еще через день все четверо – Алекс, Андрей, Габриэль и Гидеон – должны были лететь в Перт. Алекс заканчивал оформление технической документации по скважинам и, как обычно в последнюю неделю, работал допоздна в своем номере.

Минут десять назад позвонил Габриэль, убедился, что все в порядке, и пожелал спокойной ночи. Это была стандартная проверка, к которой оба они уже привыкли. Гидеон точно так же опекал Андрея.

...Стук в дверь удивил Алекса. Это противоречило строгим правилам, введенным Габриэлем после похищения. Никто не мог прийти к нему без предварительного телефонного звонка. Алекс подошел к двери и посмотрел в глазок. Это была Юдит.

– Кто это? – спросил Алекс от неожиданности.

– Алекс, почему ты спрашиваешь? Ты же видишь, что это я.

– Ты одна?

– Конечно, одна. Станный вопрос. Или, может быть, ты не один?

Алекс открыл дверь. Юдит бросилась ему на шею.

– Алекс, дорогой мой. Я так рада видеть тебя. Извини, что не предупредила. Все получилось так неожиданно. Ты знаешь, я нашла очень хорошую работу в Эмеральде. Это четыреста километров отсюда. Там есть закрытый элитный клуб, и мне предложили преподавать аэробику. Занятия начинаются через неделю. Это случилось буквально на днях. Я еще даже не успела купить машину, а моя «мазда» совсем развалилась. И вдруг, представляешь, оказия. Один член клуба поехал сюда по своим делам. И подвез меня...

Юдит тараторила без умолку. Алекс не мог вставить слово. Наконец, ему удалось задать вопрос.

– А где ты остановилась?

– Здесь же, в «Козероге». Зашла в номер, оставила вещи и сразу к тебе.

– Но почему не позвонила?

– Ты так спрашиваешь, будто не рад. Неужели не понимаешь? Хотела сделать сюрприз. И потом, как ты это себе представляешь – звонить из одной комнаты в другую, когда можно дойти за одну минуту. Мы же с тобой не коллеги по работе. Мы с тобой воз-люб-лен-ные, – по складам произнесла Юдит и сняла с себя блузку.

Потом она начала расстегивать на нем рубашку. Алекс уловил знакомый волнующий аромат ее тела и почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Где-то в глубине сознания он понимал, что время для такой встречи не совсем подо-

дящее. У него еще много работы. А завтра последний день перед отлетом, и, как всегда, он отложил на него несколько важных дел. Но, с другой стороны, возражал он себе, жизнь состоит не только из работы. Работа – это лишь фон, а жизнь иногда дарит такие яркие всплески на нем, как Юдит. И именно они, эти всплески, остаются в памяти, а все остальное сливается в сплошную рутину. Не об этом ли слова царя Соломона в Экклезиасте: «Не будь слишком праведным и не слишком мудрствуй... Хорошо, если ты придержишься одного, но и от другого не отнимаешь руки»? Впрочем, сказать, что он спорил с собой, возражал и доказывал, было бы неверно. Просто в мозгу лениво ворочались какие-то вязкие мысли – работа, важные дела, успеть сделать... А из некоего другого участка мозга уже поступила команда его рукам, которые торопливо расстегивали ремень на брюках. Вдруг в каком-то третьем участке, видимо, самом главном, вспыхнуло что-то яркое, и Алекс отчетливо услышал свой собственный голос, произносивший как заклинание: Камасутра, Камасутра... Он понял, что эта яркая вспышка и есть то единственное, чему он должен сейчас беспрекословно повиноваться. Юдит как будто подслушала его разговор с самим собой, и до него внезапно дошел смысл ее нетерпеливого вопроса: «Ну, отвечай же. Ты что, не слышишь – цапля, сирасана или закрученный узел?» Алекс стряхнул оцепенение: «Все равно, Юдит, все равно. Ну, пожалуй, сирасана, если не возражаешь». Юдит не возражала. И он погрузился в нирвану. Потом была еще позиция цапли, а потом закрученный узел. На этот раз Юдит превзошла саму себя. Алексу вдруг вспомнилась нашумевшая пьеса Ив Энслер «Монологи влагалища», которую он смотрел как-то в Вест-Сайдском театре на Бродвее. «А ведь Ив было бы чему поучиться у Юдит», – подумал он.

– Алекс, мне надоело быть одной. Я хочу, чтобы мы были вместе, – сказала Юдит, когда «мюзикл» закончился. – Я имею в виду, что мы не должны встречаться лишь на короткое время, а затем надолго расставаться. По крайней мере пока ты здесь, а не в своей Канаде, мы можем себе это позволить. Как ты на это смотришь?

– Но ты же сама уехала из Лонгрича. Не понимаю, чем была вызвана такая спешка? Могла бы остаться на несколько дней.

– К сожалению, не могла. Были особые обстоятельства. Но теперь все изменилось, у меня есть постоянная работа. И это недалеко отсюда, всего четыреста километров. А сейчас вся эта неделя у меня вообще свободна, так что мы можем провести ее вместе.

– Ничего не получится, Юдит. Я послезавтра уезжаю. Мы можем вернуться к этому разговору после возвращения.

– Какая досада. Я так мечтала провести целую неделю с тобой. А нельзя ли перенести поездку?

– К сожалению, нельзя.

– А куда ты едешь? Может быть, мы поедем вместе? Если это, конечно, недалеко и займет не больше недели.

– Нет, Юдит. Это нереально. Я еду не один. И это достаточно далеко. Мы летим самолетом.

– Ну что ж, нет так нет. Очень жалко. Самолетом? Это значит вы должны сначала добраться до Рокхемптона, ведь авиарейсы есть только оттуда. А Эмеральд как раз по дороге в Рокхемптон. Вот и прекрасно, ты довезешь меня до Эмеральда. Не возражаешь?

– Нет, Юдит. Мы не едем в Рокхемптон, а летим из Лонгрича.

– Но отсюда нет рейсов. Как же вы полетите?

– У нас свой небольшой самолет. Мы летим прямо отсюда.

– Так все неудачно. Обещай, что позвонишь, как только вернешься. Ну, а завтра у тебя найдется для меня время?

– Когда вернусь, обязательно позвоню. А завтра я, к сожалению, буду занят до позднего вечера.

– Ну, тогда мне нечего здесь делать. Утром уеду автобусом в Эмеральд. Не везет нам с тобой. То у меня особые обстоятельства, то у тебя...

26

«Джет командер» плавно оторвался от взлетной полосы и взял курс на запад. До Перта было ровно четыре часа полета. Они прилетят туда на день раньше Шмуэля. Договорились, что их встретит Рой Сингх и отвезет прямо на яхту. Алекс подумал, что должен прибыть отдохнувшим, в хорошей форме. Поэтому сейчас неплохо было бы стряхнуть усталость, накопившуюся за последний месяц. Он откинул спинку кресла и попробовал заснуть. Но как только закрыл глаза, перед ним возникла Юдит в позиции цапли. «Ну все, – сказал он себе, – началось наваждение. Если уж мысль зацепилась за что-то, то бесполезно стараться не думать об этом». Спать почему-то расхотелось. Он взглянул в окно – они летели над пустыней Симпсон. Унылый пейзаж, смотреть было не на что.

Внезапно возникло ощущение полной беззаботности, как это часто бывало у него в полете, – впервые за долгое время голова была свободна от мыслей о работе, «Альбион Энерджи» и даже о Юдит. Но это ощущение длилось недолго. В голову ни с того, ни с сего полезли какие-то далекие и не очень далекие встречи, события, случаи из жизни. Неожиданно память заработала, как неуправляемый кинопроектор, который стал раскручивать длинную ленту беспорядочных воспоминаний. Будто чей-то невидимый палец нажал кнопку... Вдруг замелькали кадры той страшной школьной драки во время «дела врачей», когда его беспощадно били всем классом. После этого Алекс твердо решил стать боксером. Боксером не стал, но держать и наносить удары научился хорошо. Это выручало не раз. А крепкий кулак, как говорила мама, ему достался от деда... Потом пошли эпизоды институтской жизни, разведки в разных странах, защита диссертаций – одной, другой. Там были иные удары, но он держал и их. И наносил ответные в виде неожиданных и продуманных аргументов. Оппоненты отступали...

После этого, без всякой связи с предыдущим, вспомнились соседи по коммунальной квартире – сантехник Сергей Дмитриевич, дядя Сережа, одинокий холостяк, занимавший шестиметровую комнатку, и Эсфирь Давыдовна, учительница истории, которой принадлежала самая большая «жилплощадь». С дядей Сережей Алекс любил играть в шахматы. Снимая с доски фигуру Алекса, он обычно приговаривал: «Что, мальчик, попался? Будешь знать, как зевать». В тридцатых годах Сергей жил с родителями в большой отдельной квартире. Отец его был директором крупного завода. В тридцать седьмом, когда ему было одиннадцать лет, родителей арестовали, и больше он их не видел. Через неделю, в пять утра, пришли за ним. Чекисты вывели Сергея из подъезда, около которого стояла черная «эмка». «Иди в машину», – сказали ему, а сами остановились покурить. Но неожиданно для них и для себя он бросился бежать через пустынную улицу к немецкому посольству, расположенному напротив по очень подходящему адресу – Мертвый переулок. У посольства дежурили два милиционера. «Держи его!» – закричали им чекисты. Один из постовых сделал Сергею подножку, а другой схватил за руку. В это время мимо проходила старушка – из тех, кому не спится по утрам. «Что, мальчик, попался? Будешь знать, как воровать», – донеслись до него ее назидательные слова, последние слова, которые он услышал на свободе. По непонятной причине они прилепились к Сергею на всю жизнь.

Потом были пять лет в детдоме, а за ними четырнадцать лет воркутинских лагерей.

Сергей Дмитриевич и Эсфирь Давыдовна были в постоянной ссоре и между собой не разговаривали. «Книгоноша», как звали учительницу соседи по дому, жила в их квартире почти всю жизнь, за исключением четырех лет эвакуации.

Единственное, что она увезла с собой в октябре сорок первого, когда в спешке покинула Москву, было полное собрание сочинений Ленина. С этими красными томами и вернулась обратно. Тогда и получила свое прозвище...

Потом память вдруг выхватила из сумбурной мозаики встречу в Тель-Авиве с Авнером, оставшимся полицейским, который в детстве прошел Освенцим и уцелел только потому, что был в крематорной команде. Вместе с другими подростками он выгребал пепел из печей и собирал его в большие контейнеры, а зимой в гололед они посыпали им дорожки перед домами эсэсовцев. В мае 1962 года, когда был сожжен труп повешенного Эйхмана, этому бывшему узнику лагеря смерти, а теперь офицеру израильской полиции, было поручено выйти на катере ВМФ за пределы территориальных вод Израиля и высыпать пепел в море. На вопрос, о чем он думал при этом, – Авнер ответил: «Первое, о чем подумал, – как мало пепла остается от человека...»

Эта история дала толчок другим воспоминаниям, так или иначе связанным с жизнью и смертью. Когда-то судьба свела Алекса с известным грозненским геологом Николаем Ильинским, детство которого прошло в Центральной России, а работать ему пришлось десятки лет на Кавказе. Мечтал Николай на старости лет вернуться в родные края и поселиться в каком-нибудь маленьком тихом городке, вдаль от промышленных центров. И вот за пять лет до пенсии стал он подыскивать подходящее место. Каждый отпуск супруги Ильинские отправлялись в российскую глубинку и объезжали по пять-шесть городков. Интересовали Николая только кладбища. Он методично обходил все могилы, ряд за рядом, и списывал с памятников в толстую тетрадь годы рождения и смерти. Потом сводил эти данные в таблицы, строил графики и рисовал диаграммы. Был он человеком аналитического склада ума и верил в статистику. Целью его было найти городок с наибольшей средней продолжительностью жизни. Обследовав около сорока мест по своему вкусу, он нашел, что искал, где-то в Пензенской области. Выйдя на пенсию, Николай с женой переехал туда. Он собирался жить долго. А через год утонул в реке Суре...

Потом «кинопроектор» перенес Алекса в Швейцарские Альпы, где познакомился он однажды с американской супружеской парой. Фрэнку было восемьдесят два года, а Кэтрин – семьдесят пять. Горные лыжи занимали главное место в их жизни. Почти круглый год они гонялись за снегом по всему миру, переезжая с континента на континент – Америка, Европа, Австралия. В одном месте сезон заканчивался, в другом начинался. Алекс любовался их отточенной техникой и каким-то особым изяществом, с которым они закладывали виражи на крутых склонах – то идя след в след, то расходясь в разные стороны, обгоняя друг друга, а затем снова сближаясь. Это напоминало грациозную игру дельфинов. Иногда Алекс намеренно отставал, чтобы наблюдать за ними сверху, когда они были похожи на молодую пару, проводившую в горах свой медовый месяц. И вот, во время одного из таких спусков, Фрэнк, шедший на большой скорости впереди жены, упал и умер. Наверное, он сначала умер, а потом упал. Все произошло мгновенно. Алекс едва успел затормозить около них. Кэтрин спокойно сказала: «Фрэнк ушел». Алекс начал было говорить слова соболезнования, но она остановила его: «Все в порядке, Алекс. Он мечтал о таком уходе. Он счастлив». Она не сказала «умер», на ее лице не было скорби. Его особенно поразило слово «счастлив». «Действительно, прекрасный уход, – подумал тогда Алекс. – Альпы, яркое зимнее солнце, ослепительно белый снег. Человек мчится вниз, легко перенося тяжесть послушного тела с одной лыжи на другую и не чувствуя своих восьмидесяти двух лет. Каждая его клетка полна жизни... И вдруг некий внутренний маятник, отмеривающий время, отведенное нам в этом мире, качнулся немного сильнее и безболезненно пересек ту таинственную границу, которая отделяет бытие от небытия и из-за которой уже нет возврата. Что может быть лучше! Я бы не отка-

зался от такого ухода. В общем-то, смерти не следует бояться. С ней надо лишь успеть разминуться на большой скорости...»

Снежные Альпы напомнили о другом снеге, который так и остался для Алекса большой загадкой, чем-то на грани мистики и черной магии. Как-то гостил он у родственников в Бостоне и очень подружился с их сыном, четырехлетним Мирончиком. Однажды мальчик заявил, что не заснет, если Алекс не расскажет ему на ночь сказку. Сказка была рассказана, но Мирончик все не засыпал. И вдруг он спросил:

– А ты можешь быть волшебником?

– Могу, – ответил Алекс, не подумав о последствиях.

– Ну, тогда сделай так, чтобы завтра пошел снег.

Дело было в апреле, последний снег растаял больше месяца назад. «Обманывать детей нехорошо, – подумал Алекс, – но отступать поздно. К тому же завтра все забудется».

– Обещай, что заснешь, если сделаю.

– Обещаю.

Алекс произнес волшебное заклинание, и уже через пять минут Мирончик сладко спал. Рано утром он ворвался в спальню родителей с громким криком:

– Он волшебник! Он настоящий волшебник! Он сделал это!

За окном валил снег...

Не обошел «кинопроектор» и самый яркий эпизод в профессиональной жизни Алекса – «яркий» в прямом и в переносном смысле. Перед его глазами, в который раз, возник тот памятный пожар на нефтяной скважине. Случилось это на одном из островов в Малаккском проливе. Во время бурения неожиданно началось аварийное фонтанирование. Нефтяной пласт вдруг вышел из-под контроля и «заработал». Нефть под огромным давлением прорвалась в скважину и стала выбрасывать с невероятной силой на поверхность все, что в ней находилось. Алекс впервые видел, как тяжелые стальные трубы вылетали из скважины и, извиваясь в воздухе, как макароны, бились, будто в клетке, внутри буровой вышки. В какой-то момент удар металла о металл высек искру, и ревущая струя нефти превратилась в гигантский факел, плавивший металл и озарявший все вокруг на десятки километров. Это незабываемое зрелище показало Алексу более наглядно, чем все расчетные формулы вместе взятые, какую сокрушительную энергию таят в себе нефтяные пласты и какая точная ювелирная работа требуется для того, чтобы держать их под контролем. Малейшая оплошность или просчет – и нефть вырывается наружу, сметая все на своем пути... На эти воспоминания хаотически наполнили другие – женщины, репатриация в Израиль, жизнь в Канаде...

«Э, нет, – сказал себе Алекс, – так дело не пойдет. От этого калейдоскопа можно обалдеть еще больше, чем от всего, что произошло за последний месяц. Если уж вспоминать, то что-то одно и упорядоченно. А не восстановить ли в памяти всю ту почти невыносимую цепь случайных драматических событий, которая привела его и Андрея к тому, чем они сейчас занимаются?» Эта мысль увлекла его. Сон все равно прошел, а четырех часов полета вполне достаточно, чтобы прокрутить все это в голове кадр за кадром. «С чего начнем? – спросил он себя и тут же решил: – Начнем, пожалуй, с Канады». Как он оказался в этой стране? После двух лет жизни и работы в Израиле Алекс получил приглашение от крупной канадской нефтяной компании занять должность советника по зарубежной разведке и переехал в Калгари. Первоначальный двухлетний контракт превратился в шестилетний, и за это время ему пришлось поработать почти на всех континентах. Но занимаясь разведкой в разных странах, он продолжал внимательно следить за поисками нефти в Израиле. Его поражали их бессистемность, хаотичность, непрофессионализм. При встречах с израильскими коллегами он говорил об этом. С ним соглашались, однако ничего не менялось. Тогда он написал письмо мини-

стру энергетики, в ведении которого находилась нефтяная разведка. Ответа не последовало. Но когда через год Алекс вернулся в Израиль, перед ним закрылись все двери. В работе ему было отказано. Сосед по дому, занимавший важную должность в администрации университета, взялся по собственной инициативе поговорить о нем с деканом геологического факультета, с которым Алекс не был знаком. Он вернулся после разговора обескураженный: «Алекс, что ты такое натворил? Декана передернуло, как только я назвал твое имя». Было ощущение, что какая-то таинственная инстанция, определяющая кошерность граждан, сделала в его личном деле отметку, подобную волчьему билету: «Не подлежит трудоустройству в государстве Израиль». Это ощущение превратилось в уверенность, когда в его руки, по недосмотру чиновника, попало конфиденциальное письмо министра энергетики министру абсорбции, в котором говорилось: «Профессиональные качества геолога Алекса Франка не соответствуют израильским стандартам. Поэтому трудоустроить его даже по специальной стипендии министерства абсорбции не представляется возможным». Вся эта кафкианская ситуация очень смахивала на то далекое школьное избиение во время «дела врачей», когда у маленького Алекса просто не было шансов. И все же тогда ярость одноклассников была хотя и слепой, но справедливой – били за дело, за отравление видных деятелей государства. Сейчас били соплеменники – мстительно, изощренно, основательно, чтобы уже не смог подняться. Целью было лишить возможности работать, а значит и жить. Так умеют бить только «свои» – за критику, за «несоответствие профессиональному стандарту», за неприятие корпоративной круговой поруки. Вроде бы тоже за дело... Вспомнились слова из документальной эпопеи Юлия Марголина «Путешествие в страну ээка»: «Лагеря представляют собой дикарское неуважение к человеческому таланту и умению. Человек, десятки лет работавший в любимой профессии, убеждается в лагере, что все усилия его жизни пошли насмарку». Какой бы двусмысленной такая аналогия ни была, но запрет на профессию вызывает одинаковую реакцию и в лагере, и на свободе – для человека имеет значение только то, что «все усилия его жизни пошли насмарку», а не то, где это произошло...

Все еще веря в здравый смысл, он написал несколько писем руководителям страны. Никто из них не ответил. Тогда он обратился к Государственному контролеру. Алекс апеллировал к государственным интересам и позволил себе образно описать ситуацию: «Мое положение еще можно было бы понять, если бы я был экспертом по выращиванию кукурузы, в услугах которого страна не очень нуждается. Но в моей профессиональной области Израиль вот уже в течение сорока лет идет от одной неудачи к другой...» Вскоре пришел ответ, подписанный помощником контролера: «По вопросу выращивания кукурузы вам следует обратиться в министерство сельского хозяйства». Круг кафкианского абсурда, этот израильский национальный бублик, замкнулся. Последняя иллюзия исчезла, что лишь подтвердило старую истину: мечты иногда сбываются, иллюзии – никогда. Побуждения чиновника были, видимо, вполне искренние, но Алекс решил не следовать его совету, а вместо этого предложил свои услуги в качестве консультанта иностранным нефтяным компаниям. То, что было с таким злорадством отвергнуто в Израиле, оказалось с благодарностью востребовано в других странах. Проблемы несоответствия «профессиональных качеств геолога Алекса Франка местным стандартам» не возникло. Впрочем, там, где разведка нефти идет успешно, профессиональные стандарты отличаются от израильских. В его карьере наступил новый этап. Он консультировал разведочные работы во многих странах, в том числе и в России. По его проектам и рекомендациям бурились скважины и открывались новые нефтяные месторождения в разных районах мира. Он снова держал удар.

...Однажды на тель-авивском пляже Алекс столкнулся лицом к лицу с Андрюхой Шейнманом. Встреча была столь же радостной, сколь и неожиданной. Когда-то,

несколько лет подряд, они сидели за одной партией, и в школе их даже называли «эти однопартийцы». В десятом классе Андрей прославился переводами Шекспира, которые стали весьма популярны среди одноклассников-акселератов. Бывало, на школьных вечеринках Алекс объявлял: «А сейчас известный поэт-переводчик Шейнспир озвучит собственное видение Шекспира. Вниманию публики предлагается гигиеническая трагедия “О, Тело!”». Андрей входил с кувшином в руке, с лицом, вымазанным черной ваксой, и читал монолог: «Ты перед сном подмылась, Дездемона? Скорей подмойся. Я не помешаю. Я рядом подожду. Избави Бог убить тебя, не подготовив тело». Акселераты громко ржали... После школы пути «однопартийцев» разошлись. Андрей стал физиком, а Алекс – геологом. В первые институтские годы они еще изредка встречались, но затем потеряли друг друга из виду. Алекс колесил по всей стране, а Андрей зарылся в какой-то «ящик» и, по слухам, делал головокружительную научную карьеру. Только однажды за много лет Алекс разыскал его и пригласил на защиту докторской. Потом на банкете, когда гости, как обычно, состязались в непомерном восхвалении «тостуемого», Андрей поднял бокал и сказал: “Вот тут пили за лучшего геолога Татарии, Башкирии, Советского Союза и стран СЭВ. Такими словами можно погубить человека. Я хочу привести новоиспеченного доктора к его истинному масштабу и тем убедить от гордыни. Предлагаю тост за лучшего геолога с нашей парты, в чем нет ни капли преувеличения и что не так уж мало».

И вот теперь «лучший геолог» и «лучший физик» с одной парты стояли на пляже друг против друга и беспорядочно восклицали: «...Леха... Андрюха... ты здесь... какими судьбами?.. а ты что тут делаешь?.. я и не знал, что ты приехал... и я не знал про тебя... ты давно в Израиле?.. а ты?..» Они стали встречаться, обсуждать свои дела. Андрей рассказал, что сконструировал электронный прибор, который позволяет различать образцы одного и того же вещества, находившиеся длительное время в разной среде. Стандартный анализ разницу между ними не улавливает. Она проявляется лишь после специальной термической обработки образцов. Только после этого на экране компьютера, соединенного с прибором, появляются резкие пики, по высоте которых можно с уверенностью отличать одни образцы от других. Андрей не знал, какова природа этого явления, которое было как-то связано с изменениями на уровне энергетики кристаллической решетки, но полагал, что метод найдет широкое применение в различных областях. Однако все его попытки заинтересовать открытием израильские университеты, исследовательские центры и фирмы оказались безрезультатными.

У Алекса сразу же возникла мысль попробовать метод на образцах почвы над нефтяным месторождением и за его пределами. Он, конечно, хорошо знал историю так называемых методов прямого обнаружения нефти и не питал иллюзий на этот счет. Но что мешает попробовать? Через несколько дней Алекс вместе с двумя рабочими отправился на единственное в Израиле нефтяное месторождение недалеко от Ашкелона. Он отобрал несколько десятков образцов – над залежью нефти и на участках, где нефти нет. Андрей сделал анализы и передал ему результаты по телефону. По мере того, как Алекс наносил цифры на карту, он стал испытывать состояние интеллектуального оргазма. Образцы отчетливо «высветили» нефтяной участок. Это был поворотный пункт, момент истины, фантастический прорыв в той области, в которой до этого были сплошные неудачи... Но с точки зрения статистики, данных по одному месторождению было недостаточно для уверенных выводов. Алекс поехал в Россию и, используя свои прежние связи, отобрал образцы на четырех нефтяных месторождениях в разных районах. После этого с помощью старого институтского товарища ему удалось получить почву с трех месторождений в Америке. Весь этот представительный статистический материал свидетельствовал об одном и том же – метод указывает присутствие нефти с абсолютной точностью.

Алекс и Андрей понимали, что метод сам по себе еще не дает им возможности вести разведку. Нужны огромные деньги – для участия в тендерах на разведочные участки, бурения скважин и накладных расходов. «Без наличности нет личности», – любил говорить Алекс. Эту проблему можно было решить двумя способами – или привлечь какую-либо крупную нефтяную компанию, или найти очень богатого частного партнера. Они начали с первого варианта. Написали письма в более чем сто международных компаний, предлагая каждой из них прислать им для анализа пятьдесят образцов почвы, отобранных над месторождениями и за их пределами. Они гарантировали, что проведут так называемый «слепой тест» и точно укажут, какому участку принадлежат те или иные образцы. И в зависимости от этого готовы вести дальнейшие переговоры. Реакция на письма обескуражила. Подавляющее большинство адресатов, в том числе «Игл Корпорэйшн» и «Альбион Энерджи», вообще не ответили. А немногие ответы сводились к тому, что «наша компания уже пыталась использовать различные модификации методов прямого обнаружения, убедилась в их безрезультатности и больше не намерена участвовать в подобных экспериментах». Американская компания «Тоноко», входящая в первую десятку в мировом нефтяном бизнесе, пошла немного дальше, подсчитав, что «отбор пятидесяти образцов на наших месторождениях в разных странах обойдется в двадцать тысяч долларов», и сделала вывод, что «такие затраты не могут быть оправданы». Ежегодный разведочный бюджет этой компании составляет сотни миллионов долларов! Самым удивительным в письме было то, что подписал его начальник отдела... «новых разведочных технологий». Им предлагались миллиарды, но их воображение не поднималось выше двадцати тысяч. Дело, видимо, в том, что общий мировой запас здравого смысла и конструктивного воображения в области оценки новых открытий и технологий – величина постоянная, а «оценщиков» становится все больше. К тому же, как говорили древние римляне, – *hominis est errare, insipientis perseverare*⁹. Эта мудрость справедлива во все времена и для всех цивилизаций. Что касается «Игл Корпорэйшн» и «Альбион Энерджи», то из-за отсутствия внутренней координации в них не смогли уловить связь между группой «Дабл Эй» и странными письмами, которые были получены когда-то от двух изобретателей из Израиля и, видимо, выброшены в корзину. Письма попали в отдел так называемых новых технологий, а оперативной разведкой занимались совсем другие люди. И постоянного контакта между ними не было. Во всяком случае, первые никогда не сообщали вторым о большинстве предложений, которые к ним поступали.

Отказы и полное отсутствие интереса разочаровали Алекса и Андрея. Но разочарование могло быть еще большим, если бы не сходная судьба многих других открытий, о которых им было известно и которые сегодня прочно вошли в повседневную жизнь и технологию. Пожалуй, одна из самых впечатляющих историй связана с копировальной машиной «ксерокс». Драматическую сагу об этом изобретении рассказал Джон Дессауэр, вице-президент «Ксерокс Корпорэйшн», в книге, которая красноречиво называется «Миллиарды, которых никто не хотел». Более захватывающей и поучительной документальной истории им не приходилось читать. Изобретатель ксерокса Честер Карлсон предлагал свое открытие более чем двадцати крупнейшим американским компаниям. Ни одна из них не проявила к предложению ни малейшего интереса. Оно было безоговорочно и единодушно отвергнуто всеми адресатами, среди которых были такие гиганты, как Ай-Би-Эм, «Дженерал Электрик», «Кодак». Они просто не допускали, что копировальный процесс, основанный на электрофотографии (первоначальное название ксерографии), возможен. А люди, отвечавшие в этих компаниях за «новую технологию», были начисто лишены любопытства и воображения. Глава исследовательского

⁹ Людям свойственно ошибаться, глупцам – упорствовать, лат.

отдела фирмы «Кодак» ответил Карлсону: «“Кодак“ интенсивно экспериментировал в области создания копировальной техники и приобрел в этом значительный опыт. Мы полагаем, что процесс, основанный на электрофотографии, не имеет технологической и коммерческой перспективы, и не намерены вкладывать средства в его разработку». Речь шла о двадцати пяти тысячах долларов... В таком же духе отреагировали и другие компании. Через несколько лет фирма «Кодак», поняв свою ошибку, сделала попытку «вскочить в поезд», но было уже поздно.

В США нашлась только одна небольшая малоизвестная фирма «Галоид», производитель фотобумаги, со штатом в несколько десятков человек, которая сумела оценить изобретение Карлсона, увидела в нем огромный потенциал и вложила в его дальнейшую разработку все свои скромные ресурсы. Одним из побудительных мотивов ее руководителей была борьба за выживание в условиях жестокой рыночной конкуренции, что делало их особенно восприимчивыми к новым идеям. «Жирные коты» из больших корпораций лишены такого качества. За десять лет, благодаря этому изобретению, фирма «Галоид» превратилась в гигантскую «Ксерокс Корпорэйшн», в которой были заняты более шестидесяти тысяч человек. Джон Дессауэр пишет в своей книге: «Если бы счастливый случай не свел Карлсона с “Галоид“, ксерография никогда не стала бы реальностью, а фирма не превратилась бы в одну из крупнейших и наиболее динамичных американских корпораций, доходы которой возросли в сорок три раза». Воистину, случай слеп, но щедр. И приходит он к тем, кто его ищет.

Алекс и Андрей продолжали упорно искать свой «случай». Оставался второй вариант – привлечение богатого партнера. В Израиле много мультимиллионеров. Но все, к кому они обращались, либо открыто подозревали их в мошенничестве, либо посылали предложение израильским «экспертам по нефтяной разведке». Через короткое время им сообщали, что заключение «экспертов» отрицательное, и это означало окончание переговоров. Возможно, не все руководители международных нефтяных компаний и израильские «эксперты» были знакомы с историей изобретения парохода, но все они без исключения вели себя подобно французским адмиралам. Они не хотели даже попробовать. И вот когда «однопартийцы» уже стали отчаиваться и терять надежду на успешный исход своего дела, они обратились к Шмуэлю, который сыграл в их судьбе такую же роль, какую английские адмиралы сыграли в судьбе Фултона, а «Галоид» – в судьбе Карлсона...

«Да, есть что вспомнить, – подумал Алекс. – Когда-нибудь я напишу обо всем этом. Воспоминаний хватит на большую книгу. Но будут ли ее читать?» Он раскрыл томик «Письма Плиния Младшего», который захватил в дорогу, и нашел знакомое место: «Всякий раз, думая о том, что наводит на читателя скуку и что доставляет ему удовольствие, я прихожу к выводу: главным достоинством книги является ее краткость». Это Плиний писал Луперку, другу и постоянному рецензенту своих сочинений. А царь Соломон сказал совсем просто: «Много читать – утомительно для плоти». «Ну что ж, учтем мнение древних. Не дадим читателю скучать и не станем утомлять его плоть. В книге будут лишь факты, никаких отвлекающих пассажей и размышлений. И только правда. Ну, и еще то, что могло бы ею быть. Плюс немного игры. Без нее нельзя». Вспомнился Максимилиан Волошин: «Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру». «А как она будет называться – “Прямое обнаружение“, “Прорыв“? Или, может быть, “Серая зона“? Да, “Серая зона“ – это, пожалуй, неплохо». В голове сразу же возникло объяснение такого, казалось бы «бесцветного», но в то же время адекватного и точного названия. Чтобы не забыть, Алекс вынул из дорожной сумки ноутбук и начал печатать. «А имя героя? Придумаю потом, – решил он, – а пока условно можно использовать свое». Он напечатал три фразы. Перечитал. Понравилось. По странной ассоциации в памяти всплыл забавный каламбур с очевидным подтекстом: «Серые начинают и выигрывают». Появился мимолетный соблазн обыграть его. Но это была бы явная натяжка

– к будущей книге он не имел никакого отношения. Как обычно, поставил под текстом дату и точное время – 8 августа 199... года, 11 часов 40 минут. Потом закрыл ноутбук и положил его обратно в сумку.

...Почти вся жизнь промелькнула перед ним будто в причудливом калейдоскопе. События – как ничем не примечательные, заурядные, так и кажущиеся нереальными, фантастическими – тесно переплелись в его судьбе, превратив ее в плотно сбитую, хотя и не слишком гармоничную мозаику, где каждый фрагмент был на своем месте и где ничего нельзя переставить. Удалась ли жизнь? Счастливы ли он? По большому счету, наверное, да. Уже одного метода прямого обнаружения достаточно для утвердительного ответа на этот хрестоматийный вопрос. Алекс усмехнулся. «Осторожно, – подумал он. – Боги не любят счастливых людей. Они знают, что не нужны им. Кто это сказал? Кажется, Геродот...» Все эти сумбурные, волнующие и не всегда приятные мысли и воспоминания утомили его. Алекс почувствовал, что действительно устал и должен вздремнуть. Трое его спутников уже давно похрапывали. Он откинул спинку кресла, закрыл глаза и уснул почти мгновенно.

Шмуэль прилетел на следующий день. Его встречал Радж. Они обнялись. Шмуэль заглянул через его плечо и оглянулся вокруг.

– А где мои ребята? Еще не прилетели?

Радж молча протянул ему газету «Перт Морнинг Геральд», раскрытую на странице «Происшествия». В небольшой заметке «Авиационная катастрофа» говорилось: «Вчера в двенадцать часов дня в районе городка Форрест, штат Западная Австралия, произошла катастрофа самолета “джет командер”. Очевидцы рассказывают, что он взорвался в воздухе. Все пассажиры и экипаж погибли. Среди остатков багажа, разбросанных в радиусе трёх километров, обнаружена обгоревшая дорожная сумка одного из пассажиров. Она была заполнена мягкими вещами, в которых находился уцелевший ноутбук. За двадцать минут до взрыва на нем был напечатан следующий текст: “В серой зоне миллиардных прибылей правила игры одинаковы и для белых воротничков из роскошных офисов на верхних этажах небоскребов, и для наркобаронов из колумбийских джунглей. Алекс понимал, что работая методом прямого обнаружения, они рано или поздно вползут в эту зону с ее смертельными схватками в буквальном смысле слова. Большой бизнес никогда не отступает...” Следователи полиции полагают, что этот текст не имеет отношения к катастрофе и не может пролить свет на ее причины. Скорее всего, это отрывок из какого-то литературного произведения».

27

– На линии Давид Бен-Эзра. Вас соединить? – спросила секретарь.

– Да, конечно, – ответил Шмуэль.

– Шалом, Шмуэль. Если ты не очень занят сегодня, я бы предложил пообедать в старом Яффо «У Бени-рыбака». Как ты на это смотришь?

– Хорошо. Встретимся в двенадцать.

Они заняли столик в тихом дальнем углу. Сделали заказ. Помолчали.

– Через неделю ровно год, как погибли ребята, зихронам левраха¹⁰, – прервал молчание Давид.

– Были убиты, – поправил Шмуэль.

– Да, были убиты.

– Какие новости у Мориса? – спросил Шмуэль.

¹⁰ Да будет благословенна память о них – иврит.

Вместо ответа Бен-Эзра вынул из кейса свежий номер «Интернэшнл Геральд Трибюн» и раскрыл его на странице «Происшествия». В короткой заметке «Катастрофа в Северном море» сухо сообщалось: «Вчера в двадцати милях от Абердина, Шотландия, упал в море вертолет компании “Альбион Энерджи”, летевший на новую нефтяную платформу. Все восемь человек, находившихся на борту, включая президента компании Энтони Крэйга и двух вице-президентов Ларри Эванса и Гарри Бриссона, погибли». Шмуэль прочитал заметку, помолчал немного и жестким голосом Шмулика-пистолета произнес слова из книги «Щемот»¹¹:

– И сказал Бог Моше: «Если кто злонамеренно умертвит человека, то даже от алтаря Моего бери его на смерть».

– Амен, – сказал Давид, в ушах которого вдруг зазвучал голос командира группы «Шимшон».

– Когда возвращается группа Мориса? – спросил Шмуэль.

– Самолет прибывает через три часа.

Шмуэль снял с пояса мобильный телефон и набрал номер секретаря.

– Офра, заседание Совета директоров переносится на завтра. Сегодня я занят. Официант принес бутылку вина. Шмуэль поднял бокал.

– Лехаим, алуф¹².

– Лехаим, мефакед¹³.

Был первый день августа 199... года – последний день операции «Альбион».

Продолжение следует

¹¹ «Щемот» – «Имена» – вторая книга Торы.

¹² Полковник – иврит.

¹³ Командир – иврит.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ НИДЕРЛАНДСКИХ ПОЭТОВ

ГВИДО ГЕЗЕЛЛЕ

Гвидо Гезелле (1830-1899) – первый фламандский поэт. Первый в том смысле, что до него поэзии на фламандском языке фактически не существовало. И первый в том смысле, что его лирика – самое значительное явление во фламандской поэзии, оказавшее неоценимое влияние на становление новейшей нидерландскоязычной поэзии в целом. Католический священник, преподаватель семинарии, Гезелле оставил огромное поэтическое наследие. Противопоставив свое творчество влиянию как господствовавшей в Бельгии франкоязычной среды, так и «кальвинистскому» языку Северных Нидерландов, Гезелле писал на отчасти придуманном им самим «новоязе», изобилующем архаизмами и диалектизмами, – что вряд ли бы удалось адекватно отразить в переводе.

Алексей Пурин

* * *

Если сердце слышит,
всё вокруг поет, зовет,
нежным знаньем дышит,
речью вдумчивой живет:
листья молодые
шелестением полны,
волны голубые
плещут, шумны и вольны,
дол и высь над нами –
тропы, где Господь прошел,
шепчут нам словами
тайный сладостный Глагол...
если сердце слышит!

1859

ТЫ О СТИХАХ

Ты о стихах, поэту милых,
готов легко судить,
не в силах
сам строчки сочинить!

Стихописание – дар от Бога
не всем, иных утех
премного –
искусство ж не для всех!

Цвети, коль носишь облик розы;
Ты – ключ? – твои желан-
ны слезы;
но тот, кто жбан, тот – жбан!

Не мыслит жук ожить в верблюде,
ворона – стать пчелой,
но люди
глупей зверей порой!

Так, каждому свое! Солдатам
положена картечь
к их латам,
Поэтам – слово, речь!

1863, 1877

О, ДУХ ПОЭЗИИ

О, дух поэзии, не ты ли
меня, раба, спасал из пут –
и дивны были
превоздаяния за мой ничтожный труд!

Ты, сущий, был что кров и пища
мне там, где умер бы другой,
среди пепелища, –
и в мире дара нет сравнимого с тобой.

Ты жгучей раны, дух целящий,
касался, женщины нежней, –
о неболящей –
я тотчас забывал, излеченный, о ней.

И ты мне рек тысячекратно,
но я пересказать того
не в силах внятно –
сладкоголосья где сыскать мне твоего!

1877

О, ЗЛАТОГЛАВОЕ СВЕТИЛО

О, златоглавое светило,
чьим пылом жизненная сила
дана всему,
кому обязано орбитой
своей ты, синевой сокрытой,
чьему уму?

Ты восстаешь из-за предела,
куда земное не глядело;

твои лучи
 чтит человек, и зверь, и птица, —
 пока не канет колесница
 твоя в ночи.

О, солнце, о, зеркальный глянец,
 ты — зримый отсвет, ты — посланец,
 посол Того,
 Кто *Азм есмь* — и повелевает,
 Кого прекрасней не бывает;
 ты — герб Его?

Как по гербу — всю мощь владыки
 и сколь владения велики,
 так всяк бы мог
 узнать по блещущим камням
 Царя, не емлемого зреньем,
 чье имя — Бог!

1889

МАТУШКА

Здесь, на земле,
 и полотна,
 где бы лицо
 светилось
 твое,
 о, матушка моя,
 увы,
 не сохранилось.

Ни на стекле,
 ни на холсте,
 ни на бумаге —
 только
 незримый образ,
 что во мне
 не потускнел
 нисколько.

Когда б я,
 недостойный, смог
 и впредь нести
 земною
 стезей его,
 не исказив, —
 чтоб он исчез
 со мною!

1891

СПЯЩИЕ ПОЧКИ

Еще не рождены,
они, уже зачаты,
не обретенья, нет,
еще, но не утраты, —
так ворох разных рифм
лежит во мне и ждет,
когда — для каждой свой —
рожденья миг придет.

Так дремлет под корой
упрятанная почка,
таясь, и до поры
не выпустит листочка, —
но лист, и цвет, и плод
уже хранит она —
наступит день и час
очнуться им от сна.

1895

Перевод Ирины Михайловой и Алексея Пурина

МАРТИНУС НАЙХОФФ

Мартинус Найхофф (Martinus Nijhoff; 1894 – 1953) – один из немногих нидерландских поэтов XX-го века, чья заслуженная слава достигла мирового уровня. Основоположник модернизма в нидерландской поэзии. Происходил из семьи известных издателей. Всю жизнь (кроме студенческих лет, когда он получал юридическое и филологическое образование в Амстердаме) прожил в Гааге, где служил адвокатом. Любимой лирической формой Найхоффа был сонет. Поэзии Найхоффа присуща обманчиво-простая форма в сочетании с многосложностью эмоционального и философского содержания. Переведен на многие языки мира. В Нидерландах существует литературная премия его имени.

Марина Палей

РЕБЁНОК И Я

Я как-то на рыбалку брёл — грустя,
Хандря с утра... Но вот, воды черпнул,
Меж лилий влажных ряску отведя,
Открыл себе оконце — и взглянул.

И хлынул сильный, первозданный свет
Из темноты нетронутых глубин...
И я увидел сад, какого краше нет,
И мальчика, что там стоял один.

Да: у стола он с грифелем стоял
И выводил на сланцевой доске
Мои слова! Их сразу я узнал
В его по-детски тщательной строке.

И вдруг, вот чудо, начал он писать
Уверенно, свободно и легко
Такое, что не смел я и мечтать,
Всё, что так долго прятал глубоко.

Но если только я ему кивал,
Что понимаю смысл, он тогда
Легонько рябь рукой в пруду пускал...
И слово исчезало навсегда.

МОЦАРТ

Вновь кипарисов проскользнув завесы,
Луч утренний от свежести дрожит
И льётся сквозь цветные витражи
Вниз, в белый будуар седой комтессы.

Вновь начат день, заранее отжитой,
– Послушай птичку в клетке над чепцом! –
И снова дама старческим лицом
Клонится к пальцам, к нити золотой.

Сегодня, как всегда, кого-то вводят в зал,
Кто – тишина, поклон – идёт за клавикорды...
Рассохшийся спинет послушно выёт аккорды...
Увядший дух сонаты... Ритуал...

Комтесса внемлет клавишам спинета,
– Кружится тема, сердца не жалея! –
А видит в боковом окне: аллея,
Фонтаны, пары, лёгкие кареты...

ПЛЮЩ

Когда возле той, где ей жизнь продлевали, больницы иду,
то не потому, что её воскрешения жду,
а потому, что выросший плющ уже разбросал свою сеть
даже по верху ограды. И я залезаю смотреть.

В саду, как прежде, стоит одинокое здание.
Запах роз и лизола. Стойкое сочетание.
Вновь коридорами долго и гулко один шагаю.
Вот эта дверь. Но табличка уже другая.

И в то же время, о плющ, ты щекочешь мне щёку,
уводя в драгоценный вечер, в моё далёко.
Я в беседке, я болен, жар пожирает детское тело,
а она сидит рядом, нашу песню любимую только что спела.

«Я пойду принесу одеяло, сынок, холодает...»
И шаг её нежный в шорохе гравия пропадает.
А я начинаю ждать, сквозь листья плюща считая
льдистые звёзды, что тонко звенят не тая.

«Выдумщик, – слышен шелест плюща, – спустись-ка на землю, милый,
да лучше снеси одеяло маме твоей на могилу.
Наверно, ей зябко в плаще, что дрожью под ветром исходит,
лежать и бессрочно смотреть, как льдистые звёзды восходят».

КИТАЙСКИЙ ТАНЦОР

Желты луна и музыка. Царит
Смех инструментов в сумерках углов.
Я приседаю в танце: мой улов –
Мозаика прохладных тихих плит.

В моей душе ночных печалей много.
Я лишь скелет в телесном тесном платье.
Я приседаю в танце: без проклятья
Зрю всеобъемлющее тело Бога.

Смотрите на руки мои – вот так, вот так
Мир кружит свой бесцельный путь во тьме.
Я различаю вещи – и подобья.

Вблизи меня – фарфор, а дальше – мрак,
А сверху – ночь с дырой луны, и мне
Понятно: под ногой надгробье.

ОБЛАКА

Далёкий день. Безбрежна панорама
Сияющих небес. Я с матерью лежу
В цветущем вереске и в облака гляжу...
«Что видишь там, скажи!» – смеётся мама.

И я кричу: «Вон кит! Он ловит рыбку!
Вон Скандинавия! А вон, гляди-ка, слон!»
Сон, словом став на миг, плывёт в свой легион...
А мама тихо плачет сквозь улыбку.

Всё гуще облака, всё реже в небо взгляды –
Я повзрослел. Стал тусклым солнца луч.
И я не смог спастись от чуждых туч,
Что жизнь теснят с упорностью армады.

А в вереске мой сын – ему ещё легка
Лепнина облаков, их ловит наудачу...
И мне понятна мамина тоска:
Другие облака. Я плачу.

Перевод Марины Палей

АМЕРИКАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

ПОСЛЕДНЯЯ АТЛАНТИДА. КОНЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА

В воздухе Нового Орлеана всегда висела опасность, особая влажность: от гигантской заболоченной дельты Миссисипи, тяжело дышащей огромной реки, от туманного порта.

Но также и живое облако новоорлеанской культуры, не вписывающейся в законные рамки стерильной американской жизни. Новоорлеанская культура – это упоительная смесь американского Юга (сонные поля плантаций), французского влияния, испанской струи, креольских специй, плавающая в запахе крепкого кофе и сладковатого рома.

Другими словами – самое сексуальное место в Америке.

Таких странных, не совсем «американских» городов в Америке три: Нью-Йорк, Сан-Франциско (в какой-то степени) и, конечно, Новый Орлеан. Другие большие города, хотя, безусловно, интересные и разнообразные, – типично американские: от традиционного патрицианского Бостона до апофеоза небоскрёбов – Чикаго. Историческая Филадельфия с её Колоколом, Ратушей и Декларацией независимости. Вашингтон – форпост Севера и форпост Юга на берегах заросшего тропическими лианами Потомака с плантацией Джорджа Вашингтона на живописном холме. Это – колыбель американской демократии (сталинские государственные дома), а за рекой – бывшая колыбель южного рабовладения, сердце Юга – Вирджиния. Вашингтон пронизан европейским влиянием, европейским дизайном, там много иностранцев (в недалеком прошлом шпионов разных мастей). Это – окно в европейскую культуру, приоткрытое роскошной, фешенебельной Жаклин Кеннеди за время её короткого царствования.

Но вернёмся к уникальным городам Америки.

Все эти три города, Нью-Йорк, Новый Орлеан и Сан-Франциско – гигантские порты. Новый Орлеан – самый большой порт в США и, по статистике, пятый по размеру на всём земном шаре. Любой портовый город, кроме страшных, мрачных, но и влекущих подводных прелестей любого большого города, несёт в себе ещё особую тёмную, мутную вольницу, идущую от океанских ветров, людской портовой текучки. вспомните знаменитый одесский Порто-Франковский район, место беспроходной торговли, где правил почти не было и где гулял ветер опасности, даже когда ветер с Понта успокаивался.

Наполеон Бонапарт в 1803 году, очевидно, совершил большую ошибку, продав французскую Луизиану, полученную от Испании, правительству Соединённых Штатов. Когда дело для Наполеона стало оборачиваться плохо, закатилось солнце Аустерлица и запахло порохом Ватерлоо, он мог бы основать «Новую Францию» на берегах Миссисипи и Мексиканского залива.

И продал, в общем-то, за бесценок.

Его брат, Люсьен, сообщил приятелю, собираясь в театр в Париже, как бы случайно, о продаже Луизианы Соединённым Штатам – настолько проходящим, временным явлением это было тогда в их сознании. Толчком для Наполеона послужила неудачная кампания подавления восстания в островной колонии Гаити, с гибелью значительного числа французских войск. Гаитяне (был среди них какой-то талантливый командир) с успехом применили тактику партизанской

войны. И Наполеон понимал, что он не может больше оттягивать войска и вооружение на заштатный Гаити и держать гарнизоны в дальней Луизиане перед надвигающейся новой войной с Англией и её союзниками.

В Новом Орлеане, в старинном центре города, названия улиц – английские, испанские, французские. Эти названия менялись в зависимости от того, какой флаг тогда реял над городской ратушей. В своё время в Луизиану бежали от революции, из Вандеи, роялисты, съезжались авантюристы всех сортов и оттенков, останавливались для передышки пираты, поделить и продать награбленное, любители азартных игр и бизнесмены-работоговцы.

Особая история – массовый исход из Канады в Луизиану людей французского происхождения, Сајун. Триста лет тому назад эти люди, в основном бедняки и фермеры, были переселенцами из Западной Франции в Новую Шотландию, в Канаду. В течение многолетней борьбы между англичанами и французами за владение этой частью Канады англичане провели преступное выселение Сајун из Новой Шотландии: часть из них была просто интернирована во что-то вроде охраняемых поселений, часть была отправлена в Англию и оказалась в британских тюрьмах, другие оказались в заморских колониях.

Но постепенно многим из них удалось попасть в Луизиану, где к этому моменту испанцы хотели создать противовес надвигающемуся британскому влиянию. Испанское правительство провинции пригласило франкоговорящих Сајун поселиться в Луизиане. За удивительно короткий срок они восстановили свою культуру, песни, музыку и кухню. Следует сказать, что задолго до этих миграций, еще в Канаде, Сајун смешались с местными северными индейскими племенами, и так создалась новая культура – акадианская.

Многие переселенцы в Луизиану смешивались также с чёрными рабами. Большие партии рабов были взяты в плен другими африканскими племенами, проданы арабам, традиционно, столетиями, профессионально занимавшимся работорговлей, через португальских перекупщиков попадали на Карибские острова и потом – в Луизиану. А нередко – напрямик в Луизиану из невольничьих депо островов Капо Верде у побережья Африки, откуда и происходит изумительная и неповторимая Чезария Евора.

И по сей день треть населения Луизианы – негры, потомки рабов. Новый Орлеан был крупнейшим невольничьим рынком, с широким выбором красивых женщин: чёрных, мулаток. Эта культура смешалась с культурой Сајун и креолов со своим языком (французский диалект), кухней, обычаями, вудуизмом, жертвоприношениями животных.

Как ни странно, в Новом Орлеане всё это происходило до сих пор, подкипало, прикрытое тонкой коростой бетона, пластика и стекла (печально знаменитые Центр конгрессов и футбольный стадион Супердом). Округ Лафайет – и до сих пор франкоговорящая область. Туда стоит поехать, чтобы послушать музыку и попробовать знаменитые острые «зачернённые» креветки, раков, рыбу с перцовым соусом. Креолами считаются жители Луизианы французского или испанского происхождения, горожане – в отличие от крестьян, выходцев из Франции и Северной Канады – Сајун. Поэтому и креольская кухня несколько отличается от крестьянской, Сајун, более тонкими специями и изощренными десертами. Вудуизм, с заклинаниями, змеями и всеми колдовскими атрибутами, приплыл вначале в Карибские джунгли и плантации, а затем – на берега Луизианы из Центральной и Западной Африки.

Новый Орлеан всегда жил мифами, призраками, масками (легендарный фестиваль-карнавал Марди Гра). До недавнего времени по городу водили «сумеречные» экскурсии по «излюбленным местам» привидений и по величественным французским кладбищам.

Выше, вдоль дельты, шоссе пропадает в гигантских ивах и вязах, окаймляющих мощную Миссисипи с прячущимися в зарослях маленькими городками. Они как будто выплыли из пьес Юджина О'Нила, из тягучей прозы Фолкнера, с обязательным маленьким почтовым отделением в центре пыльной площади, как часовой, стоящий на страже федерализма. По реке величественно, но весело проплывает легендарная «Принцесса Миссисипи» (прогулочный корабль), позванивающая фирменными колокольчиками и мерцающая огоньками.

Южная, тропическая бедность – особая, не похожая ни на страшные российские спившиеся пригороды-слободы, ни на кирпичные, зияющие выбитыми окнами трущобы Чикаго, ни на некоторые районы Нью-Йорка, раздробленные рэпом, окаймлённые брандмауэрами брошенных домов с граффити. Южная бедность близка к земле, к спящим насекомым, к переползающим через дорогу в соседние плавни небольшим крокодилам, к кишасей рыбе, прыгающей из воды, к собакам, рыскающим между десятками заброшенных, заржавевших грузовичков, почивших под вековыми деревьями и напоминающих кладбища лошадей вокруг старых каменоломен.

В штатах Луизиана и Миссисипи река испещрена плавучими казино. Люди, заработавшие хоть какие-то деньги, просаживают их в плавучих бессмысленных и безнадежных отдушниках – игорных домах. В барах, повисших между землёй, водой и небом.

В этих местах когда-то, в начале XX-го века, родился черный американский гений, звезда дельта-блюза Роберт Джонсон. Он провёл большую часть своей юности на плантациях, в лагерях вдоль дамбы на реке Миссисипи, где поколениями живёт странный тип людей, переживающий циклы набухания и опадания великой реки.

Об этом речь будет дальше.

Джонсон играл вначале на гармонике, потом – прилично на гитаре и был талантливым интерпретатором песен гигантов раннего дельта-блюза. Согласно легенде, Роберт Джонсон однажды встретил дьявола на дороге в одном из приречных городков и продал душу в обмен на невероятный дар игры на гитаре. В его игре появилось неземное слияние нескольких тем-струн и зазвучала душа южного блюза, как будто кто-то свыше напевал грустную песню о короткой человеческой жизни на берегах большой реки – «Чистилища». С этого момента виртуозность его гитарной игры и слияние блюзового песенного стога с гитарой не были превзойдены. Известна история, согласно которой молодой Эрик Клэптон зашёл к кому-то из приятелей-музыкантов, и тот поставил ему одну из сохранившихся записей Роберта Джонсона, не говоря Клэптону, кто это.

Клэптону показалось, что играет группа из нескольких музыкантов – настолько виртуозным было исполнение.

По описаниям, его «живое» исполнение было совершенно феноменально. Он играл на маленьких площадях городков перед местной аптекой, в угольных складах, в барах, тавернах Среднего Запада и в поселениях между дамбой и рекой, в плавнях. Погиб он совсем молодым, в возрасте двадцати семи лет – говорят, был отравлен ревнивой любовницей.

В августе 2005 года все описываемое оказалось под водой, с небольшими островами суши, на которых царил беззаконие и беспредел. Сухие, жёсткие факты катастрофы таковы. О нарастающем в южной части Атлантики урагане «Катрина» знали заранее. Сначала – категория 2, затем – 3, затем – 4 и 5; потом градус начал несколько спадать. Весь вопрос был в том, куда ударит. Где будет так называемый landfall. На этот раз, как говорят по-английски, попало прямо в «бычий глаз», в центр Нового Орлеана, захватив смертельным вихрем, его протуберанцами, все окружающие городки и селения атлантического побережья.

Ничего особенно нового в этом не было.

Был ураган «Камилла» в 1969 году, страшный, разрушивший множество домов. Говорят, что пожилые люди, пережившие «Камиллу», до сих пор хранили топоры на чердаках в своих домиках. Помня, как приходилось прорубать крышу, чтобы вылезти наверх, спасаясь от неумолимо поднимающейся воды, затопляющей комнату за комнатой. Было знаменитое огромное наводнение на Миссисипи в 1906 году. Был момент, когда неграм пришлось ложиться «штабелями», чтобы создать временную «дамбу», в критический момент сдержавшую напор реки.

Знаменитый Инженерный корпус американской армии сообщал, что новоорлеанские дамбы выдержат ураган третьей категории, а выше – вряд ли. Напомним, что большая часть Нового Орлеана находится заметно ниже уровня океана. И когда гуляешь вдоль Миссисипи, ниже дамбы, по которой идёт прогулочная дорога, или даже с полей, где играют в футбол и бейсбол, нередко

видны мачты проходящих кораблей, выше, над уровнем дамбы. Только Французский квартал и знаменитый, изумительно красивый южный фешенебельный Садовый район находятся повыше, так что вода не может добраться дальше первого этажа.

Всё это было известно. Какие-то планы существовали, но гигантские стратегические решения откладывались, так как вероятность попадания смертельного урагана в центр Нового Орлеана статистически была невелика. Стоит сказать, что средства на перестройку города и укрепление дамб должны быть федеральные, из глубинных запасов, созданных на федеральные налоги. Но инициатива в таких случаях в Америке предпринимается на уровне штата или большого города.

Согласно федеральному устройству страны, штат имеет весьма большие полномочия, свою армию в несколько тысяч человек (так называемые национальные гвардейцы), свою полицию – как у штата, так и у каждого города. Так что это – многие тысячи людей, которые должны следить за порядком и находятся в полном распоряжении губернатора штата и мэра соответствующего города. По конституции Луизианы губернатору штата даются особые полномочия, это практически почти отдельное государство.

Ураган наливался своей кровавой силой, нарастал и, в конце концов, обрушился на город. За несколько дней до этого президент Буш объявил, что это событие национального значения, и все фонды, необходимые для помощи, будут предоставлены. Губернатор и мэр Нового Орлеана объявили обязательную эвакуацию города, и 80% жителей на своих машинах в страшных пробках покинули город.

И вот тут началась трагедия.

В городе остались две категории людей. Одна категория – это неимущие, в основном чёрные, поколениями жившие на пособия по бедности, не имеющие автомобилей, родственников или друзей в других областях страны.

Они составляли примерно 20% населения, то есть около 100 тысяч человек. У этих людей не было никакой возможности выехать.

Вторая категория – небольшая, но существенная: туристы, приехавшие насладиться Новым Орлеаном.

Тут и начался кошмар, связанный с политкорректностью современной Америки и с десятилетиями существования преступной системы welfare, то есть пособия по бедности. Эти пособия, конечно, невелики, но вполне достаточны для того, чтобы как-то прожить. Есть жильё, есть базовое питание, а остальное приходит разными путями. Поколения негров получают пособие, чем больше детей имеет мать, тем большее пособие она получает. Таким образом, эта система сама создаёт вечный двигатель under-класса, со своей культурой, со своими правилами и традициями. Естественно, имеется значительный слой людей, которые постарались выгрести из этой ситуации. Приобрели специальность и какую-то работу. Но на определённый тип личности данная система действует пагубно. Люди живут в своих вэлферных колониях: некоторые части Гарлема в Нью-Йорке, «темные» районы Чикаго, подгнивающие трущобы Нового Орлеана. Из этой системы, welfare, возникает страшный, донный слой люмпенов. Создаются банды (gangs), живущие на зоологическом уровне улицы.

Всё это и осталось в затопленном Новом Орлеане, без средств передвижения, преступно не подготовленных чиновниками городского управления того же цвета кожи. А дальше уже стал действовать закон джунглей: жертвы и хищники, грабящие магазины, отделы с оружием. Напомним, что в Луизиане оружие легкодоступно и легально. В последние годы уровень убийств в Новом Орлеане в среднем был в десять раз выше, чем в других американских городах.

Когда-то Жан-Поль Сартр призывал к «здоровому насилию» чёрных колониальной Африки по отношению к белому «меньшинству». Известно его чудовищное заявление: «Когда чёрный убивает белого, он одновременно убивает и угнетателя, и того, кого он в будущем сам бы стал угнетать». Одна из роковых ошибок, типичных для левых либеральных интеллектуалов. Хорошо известно, что происходит в данное время в бывшей колониальной Африке. Неслучайно и

неудивительно, что преступления обычно совершаются внутри своей же расовой или культурной группы. Известно, что в 1992 году во время мятежей в Лос-Анджелесе чёрные банды громили в основном свои же чёрные районы, поджигая и уродуя здания, взламывая и грабя магазины. То, что произошло недавно в современной самодовольной, назидательной Франции – рабочие районы «cite», разгромленные ублюдками арабского и североафриканского происхождения, в них же и живущими, – только подтверждает это печальное наблюдение.

К великому сожалению, одной из проблем современной американской демократии является вредное, и не совсем понятное, отсутствие готовности говорить всю правду – из боязни обидеть или оскорбить определённую группу населения. Из-за этого возникает постоянное замалчивание, сглаживание углов, и в результате развитая демократия поедает свой собственный хвост. Проблема welfare давно известна, известна исторически вредная роль Демократической партии в поддержке этой системы. И всё же эта тема, в большей степени, в американской прессе является табу. Вспомним, что основная, наиболее влиятельная часть американской прессы – леволиберальная, и в основном находится на обоих побережьях: это, естественно, Нью-Йорк с его «New York Times», журналом «New Yorker», «New York Review of Books», а также «Chicago Tribune», «Boston Globe» и весьма либеральная «Los-Angeles Times» на Западном побережье. О Сан-Франциско и говорить нечего. Это – крайне леволиберальный город с мощным лобби гомосексуалистов.

Леволиберальная пропаганда в полную силу использовала произошедшую драму для иллюстрации расового преступления правительства и американского общества. Однако прежде всего это – катастрофа классовая. Арифметика тут простая: по статистике чёрное население Нового Орлеана составляло 67%. После эвакуации в Новом Орлеане осталось где-то 20% населения, то есть примерно 100 тысяч человек, которые и пострадали – или причинили страдания. Другие 47% – чёрные, которые более или менее вышли в средний класс, – сумели покинуть город на своих машинах и не пережили те ужасы, в которые попали оставшиеся собратья.

Абсолютная неспособность руководства города и штата что-то предпринять была ясна с самого начала. Мэр города Рэй Нэгин, а также начальник полиции (косноязычный тип, подходящий скорее на роль охранника какой-нибудь фабрики, чем на роль шефа полиции огромного мегаполиса), основные члены Совета города – все чёрные, поднявшиеся по бюрократической чёрной лестнице американской политики политкорректности. Губернатор штата – Катлин Бланко, белая, леволиберальный демократ, так же как и сенатор от штата Луизиана.

Вся эта политика более или менее гладко идет своим чередом, как и в других местах, городах и штатах, пока не происходит катастрофа. Бюрократическая система живёт своей скучной, нудной, иногда жадной и воровской вознёй, с бесконечной демагогией политкорректности. А реальный город, реальная область Америки живёт своей жизнью – «бизнес, как обычно». В основном, это – частный капитал, создающий американские богатства и удобства, университеты и колледжи, собирающие богатую жатву из карманов родителей американского среднего класса, но живущие своей культурной, образованной жизнью, окружённые джунглями существ другого вида. Тот же огромный американский средний класс, который является хребтом общества, на свои налоговые деньги ремонтирует дороги, строит здания библиотек, общественных центров – и так далее.

Катастрофа Нового Орлеана, поистине библейских пропорций, может быть, и была непредотвратима. Но пороки современной американской демократии сыграли свою роковую роль. Ползущая, как гангрена, по телу американской демократии политкорректность в каком-то смысле сходна со сталинскими и советскими временами, когда бюрократы поднимались по иерархической лестнице только по причинам кадрового отбора.

Совершенно очевидно, что отцы и матери города и штата по своему калибру, как человеческому, так и руководительскому, не могли оценить размер неминуемой катастрофы и правильно к ней подготовиться. Страшный провал планирования: отсутствие автобусов и вообще любого транспорта, отсутствие какого-либо центра руководства – только подтверждает, что они были совершенно не способны справиться с задачей.

Существует и другая проблема. Как было сказано выше, штат, в каком-то смысле, является юридически самостоятельным государством. Известно, что в первые два-три дня катастрофы губернатор штата Бланко не была готова сложить свои полномочия и отдать их полностью федеральному правительству, что сильно усложнило задачу спасения людей.

Хотя винить федеральное правительство, президента и его кабинет во всём нельзя, но какая-то часть ответственности на них всё же, по-видимому, падает. Неуклюжесть и замедленность реакции отражает основные тенденции окостеневающей американской империи в начавшуюся эру ее заката. Бюрократизацию, византийское усложнение системы инстанций, многосложный и многокомпонентный процесс принятия решений. Хорошо известные печальные признаки. Душок начала разложения системы.

В те дни случались позорные для американской деловитости истории, когда караваны тяжёлых грузовиков, идущих с Севера и со Среднего Запада в Луизиану, везущие медикаменты, воду, пищу, лёд, не получали разрешения на проезд, застревали на границах штатов Джорджия, Миссисипи, Луизиана.

Оказывалось, что у них не было какой-то дополнительной расписки, печати, сертификата, требовавшихся для пересечения тяжёлыми грузовиками границ штата. Водители давали интервью прессе и рассказывали, что по два-три дня они сидели в маленьких городках на границе, проводя большую часть времени на специальных семинарах по «поддержанию политически корректных отношений внутри общин» и по «сексуальному харассменту», а вечером пили пиво в баре.

Всё это – в те самые два или три дня, когда в затопленном Новом Орлеане умирали дети, старики и больные.

Особенно беспокоиться не надо: на два-три поколения, а может быть и дольше, американской системы хватит, но, безусловно, в воздухе глобального американского мегалополиса начинает чувствоваться запах тления, мертвеющей застойной воды.

Что же будет с Великим Новым Орлеаном, с культурой этого города, которая отличается от всей остальной, мэйнстримной американской культуры? Порт должен существовать. Это один из главных нервных узлов американской промышленности, хозяйства, культуры. Пятый по размеру в мире, основной пункт переброски гигантского количества товаров со Среднего Запада, Юга, Миссисипи, Алабамы, Луизианы к океану и оттуда во все страны мира. Нефть из Луизианы. Туда же, с другой стороны, приходят товары из всех стран мира. Выход в Карибский бассейн, в Центральную и Южную Америку.

В первый раз я попал в Новый Орлеан почти двадцать лет назад. Пошёл пройтись по Французскому кварталу, вышел на знаменитую Bourbon Street – и был потрясён группой четырнадцати-пятнадцатилетних мальчишек, которые играли на каких-то доморощенных музыкальных инструментах. Сила слияния их голосов, точность ритма, профессиональность исполнения совершенно поражали. Этих ребят в России можно было бы выпускать на сцену. В то время как в Новом Орлеане их, очевидно, не впускали ни в один заштатный клуб вдоль Bourbon Street.

Когда ночью гуляешь по Новому Орлеану – тепло, двери в клубы открыты даже зимой, и из каждого бара несётся своя музыка. Dixieland, Cajun, блюз, джазовые группы, комбинация двух-трёх жанров. Это – праздник американской музыки. В каком-то смысле – музыкальный пресловутый американский melting pot.

В один из первых приездов, много лет назад, я попал на концерт В.В. King'a, который в начале поприветствовал тогдашнего (белого) мэра Нового Орлеана, сидящего за одним из обеденных столиков с женой, платиновой блондинкой в длинном бальном платье. Как сказал В.В. King, мэр был его старым другом, много раз вызволявшим его в молодые годы из разных неприятностей в этом склоняющем к неприятностям городе. Новый Орлеан всегда был настоящим домом музыки, карнавала, уличного театра.

Bourbon Street и прилегающие улицы со знаменитыми барами (Pat O'Brians's, например, где подают гигантского размера напитки, сделанные на основе рома – знаменитый «ураган») – не единственное место, где бился пульс этого города. Друзья, жившие в Новом Орлеане много лет, объяснили мне, что есть и другие районы, менее известные и мало посещаемые туристами. Там своя жизнь. Туда мы и рванули как-то раз, ночью, и обнаружили, после некоторого блуждания, у дамбы рядом с Миссисипи тёмные бары с мерцающими свечами, где играют странное, заводное слияние блюза и музыки Cajun, южный рок типа Lynyrd Skynyrd. После нескольких кружек пива и стопки текилы хорошо пройтись вдоль совсем близко дышащей гигантской тёмной реки.

В тяжёлой листве вязов торжественно застыл роскошный Садовый район недалеко от огромного Католического университета с гордо возвышающимися башенками. Периферийные районы с покосившейся чересполосицей боковых улиц, заселённые, в основном, бедным чёрным населением – те самые районы, которые, по-видимому, навсегда теперь пропали. Оттуда на бандитских жёлтых кэбах подъезжали стайки молоденьких, практически подростков, чёрных проституток.

Французский квартал – один из лучших ресторанных центров в мире. Старинные рестораны, например, «Двор Трёх Сестёр» с джазовым бранчем, плещущим фонтаном, особым ритуалом поджигания ананаса с сахарной корочкой.

В этих заведениях до сих пор сохранились боковые кабинеты, с темноватыми стенами и старинными портретами, для семей знатных потомственных новоорлеанцев. Они ходят в эти места поколениями. Можно увидеть семью, которую встречает, как слуга в поместье, особый официант: от девяностолетнего деда, сошедшего с экрана фильма 30-х годов, до внука или правнука-юнца из колледжа.

Да один трамвай в Новом Орлеане чего стоит! Это настоящий южный трамвай с открытыми окнами, долго идущий вдоль роскошного, широкого бульвара с несколькими рядами вековых тенистых деревьев, окаймлённого изумительными фасадами южных каменных зданий с просторными верандами.

За телевизионным мерцанием, мельканием и шумом вокруг трагедии никто не упомянул о странной культуре так называемых Battures (от французского слова Batture, т. е. дамба). Это целая категория людей, которая живёт вдоль реки за дамбой, вернее, между дамбой и рекой. Живут они в маленьких хижинах, почти как бездомные. Некоторые так жили поколениями. И граница между этим состоянием жизни вдоль реки и переселением на более стабильное житьё в бедные близлежащие районы очень зыбка. Это как бы переливающиеся и меняющиеся состояния.

Новый Орлеан был одним из любимых мест для проведения различных конгрессов, конференций и собраний профессиональных, политических и гуманитарных обществ. Я сам несколько раз выступал в том самом злополучном и зловещем Центре конгрессов, где потом произошли все известные ужасы. Этот современный «Дворец съездов» превратили в жуткое неохраняемое убежище для тысяч людей.

Как оказалось, даже в современном, якобы налаженном, формализованном, сертифицированном, проверенном и т. д. американском обществе близка бездна звериной расправы, насилия и беспредела. Степень беспредела, может быть, и была несколько раздута прессой. Тем не менее, такие случаи, безусловно, были в течение трёх-четырёх дней беззакония: вооружённые банды негров оттащивали женщин, в том числе маленьких девочек, и насильовали в злополучном Дворце конгрессов и в гигантском крытом футбольном стадионе Супердоме. Известно, что полиция боялась входить в эти два гигантских помещения, а если и входила, то не отвечала на стрельбу вооружённых грабителей. Электричества не было, и влажный, осезаемый, горячий воздух прочерчивали трассы выстрелов. Люди ходили в туалет стайками, держась друг за друга, чтобы не попасть в темноте в лапы к хищникам, не пропасть в одиночку. Старики умирали прямо на катаках, и так и оставались сидеть в чудовищной жаре, пока кто-то не

откатывал или не оттаскивал труп подальше в угол. В эти дни несколько полицейских Нового Орлеана покончили с собой, пустив пулю в голову.

Вот перевод репортажа корреспондента, который провёл какое-то время на печально известном виадукe – хайвее, рядом с Супердомом:

«Рядом были два близнеца трёх месяцев отроду, двухмесячный ребёнок, без воды. Люди размахивали пистолетами. То, что мы видели на виадукe, представить себе невозможно: самоубийства, люди, прыгающие с моста, пожилые люди, которые не могли больше этого вынести. Мертвецы, плавающие в воде под виадуком, весь виадук в страшной вони от кала и мочи. Драки, возникающие на каждом шагу. Люди пытались прыгнуть на любой проходивший мимо военный грузовик – естественно, тщетно. Вертолёты нависали над головой. Они постоянно приземлялись и взлетали неподалеку. Это происходило всю ночь, и спать было невозможно. Было ужасно жарко и влажно. И одна вещь, которую я не могу забыть, – это то, что небо было ясное и было полно звёзд. Было так ясно, и звезды были так близки и яркие, потому что город был совершенно тёмным, ни одного источника электрического света. И всю ночь, всю ночь рыдали дети, плакали взрослые и старики».

Гигантское озеро Порчартрейн нависает над городом, и прорыв дамбы, что и произошло в данном случае, означает, что озеро заливает весь город. Луизиана – это глубокий юг. В воде водятся крокодилы, ближе к океану встречаются акулы и всякая другая приятная живность.

Что же будет с «великим городом Новый Орлеан»? Какую-то часть или даже большую часть города восстановят, но, по-видимому, это будет нечто вроде новоорлеанского Диснейленда, туристской Мекки, каких немало в Америке.

Во всех южных городах имеется значительный процент чёрного населения, в большей или меньшей степени интегрированный в жизнь города. Большая часть чёрных, как известно, мигрировала на Север в период реконструкции страны – в начале и середине прошлого века. И постепенно заполнила окраины, а потом и центры большинства крупных американских городов. Гарлем в Нью-Йорке, когда-то – район среднего класса, еврейского населения Нью-Йорка, районы Чикаго, знаменитый источник городского чёрного «электрического» блюза, некоторые части Филадельфии.

В Новом Орлеане это произошло по-другому. Город, как известно, был крупнейшим центром работоторговли. И по какой-то причине поколения чёрного населения осели там и до XXI столетия живут вокруг невидимого символа невольничьего рынка.

Произошедшая катастрофа согнала дымный дух старинного новоорлеанского порта и Французского квартала, и сейчас город нем, как поднятый со дна затонувший корабль. Помню «Бар Наполеона III» с закопчёнными стенами, старинными портретами, запыленными тёмными бутылками бара. Это – места, которые практически не изменились с тех времён, когда там происходили дуэли на пистолетах между пиратами и авантюристами всех сортов из всех стран мира. Всё это придётся теперь вычистить, осушить, подкрасить, подмазать, починить, то есть, другими словами, дух истории уйдет из этих мест.

На днях в Нью-Йорке в «Русском самоваре» американцы – очевидцы событий в Новом Орлеане – рассказали мне любопытную деталь, не попавшую, как ни странно, ни в один репортаж. Самыми опасными вооружёнными бандами были не те, которые врывались в магазины и брали, что попадёт под руку. А наркоманы, потерявшие какой-либо доступ к наркодилерам. Вся наркотическая культура, огромная и процветающая в Новом Орлеане, была затоплена. Дилеры исчезли. Вооружённые группы наркоманов пытались добратсья до заветных сокровищниц аптек и госпиталей города. Становятся понятными случаи открытия огня по вертолётам, которые спускались к госпиталям, пытаясь эвакуировать больных и доставить воду и медикаменты. Естественно, что какая-то часть стрелявших могла это делать просто для развлечения. Но говорят, что в большой степени – это было отчаяние наркоманов, потерявших пульсирующую нить, связывающую их с жизнью. То есть с жизнью от случая до случая, от дозы до дозы.

Последний нереальный образ, который вливает в забывчивую реальность. Гигантское наводнение смыло, сорвало всю листву со знаменитых вековых новоорлеанских деревьев. Бульвары и боковые улицы Нового Орлеана утопали в этой южной бурной листве, придававшей городу несколько сонное выражение. Теперь листвы нет, древние деревья стоят оголенными. Вознося к парному бархатному южному небу узловатые суставы голых ветвей.

АМЕРИКАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

ДОРОГА НОМЕР ОДИН

Складская, слободская и пагдаузная,
фабрично-выморочная,
мазутно-газолиновая,
обызвествленная артерия
от ржавых Аппалачей
сквозь бифуркацию тоски
в бескровный тлен пустых мотелей.
И далее везде: в зеленый водоем
бегущих крон, ночных радиоволн
уснувшей Атлантиды,
где в обмороке улиц фосфор
бессонницы, невидимых и днем
перемещенных лиц.

НЬЮ-ЙОРК

Стечение времен, где не находят места
провалы голосов, зияние извне.
Сыреющие дни, под сумрачным навесом
окрестных городов дрожащие огни.

Гниет река и, чувствуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк
над брошенным причалом.
Сочится свет в церковные двory.

У зеленой — языческие краски,
и статуя корейца на углу
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.
День бесконечен. Я тебя люблю.

БРАЙТОН БИЧ

Вот Азнавур с витрины улыбнулся
и Танечка Буланова вздохнула.
В конце косноязычных улиц
текущий горизонт морского гула.

По доскам деревянного настила
идет тоска вселенского укора.
И продают охотничьи сосиски,
косметику, лосьон и апельсины,
из кузова — киндзу и помидоры.

АМЕРИКАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Желто-бордовое, серебряно-литое,
пыль листьев, взгляды спинномозговые,
но пахнет гаванью и перхотью, и хной
от париков Одессы и Литвы.

По вечерам по дымным ресторанам
дробится свет и плаваются эклеры.
Гуляет Каин с Авелем и с Ромой,
вскормленными тушенкой по ленд-лизу,
из тех, кто избежали высшей меры.

Цыгане в блейзерах пьют водку, как хасиды,
все при сигарах, возле поросенка,
лежащего, как труп на панихиде,
и крепко пахнет розовой изнанкой,
купатами и злым одеколоном.

Я пью до трех в бездонном Вавилоне
с сынами Гомеля, Израиля и Риги.
А рядом две реки, но не Евфрат и Тигр,
несут к Востоку нефтяную пену
в безвременный потусторонний мир.

Туда, где занесло соленой ватой
«Титаника» волнистое надгробье,
где вечный шум опережает время,
где вместо побережья тает небо,
и век уже закончился двадцатый.
А мы еще живем его пододьем.

ЯНВАРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Ветер стих. Зайди за угол, передохни.
Отпускает в груди. Вверху загорается уголь.
Боль стихает. Все одно, куда ни гляди.
На закате: Луга, Бостон, Барт, Анн-Арбор, Калуга.

Дым ложится в затихший окопный Гудзон,
скрывая конечную сущность парама.
Запретить бы совсем, сейчас как пойдут по низам...
Все теперь мастера в ремесле покидания дома.

Размозжи мою мысль, мою речь, эту грусть
на волокна, частицы, впусти в этот город, как влажность.
В общем шуме не слышно, кого назовут,
да теперь и неважно.

Лучше бы помолчать, когда нету и слов,
слушать тающий шум угасания пепла.
Когда смотришь подолгу, Свобода подьемлет весло
и Манхэттен плывет в пионерское лето.

Все смешалось, разъято, позволено, разрешено.
И ползет, как безвкусный озон, безопасная зона.
Все в прострелах мосты под ничейной луной,
и дичает ландшафт, без тени на полгоризонта.

Ветер стих. Зайди за угол. Закури.
Стряхни пепел. Войди, закажи капучино.
Жизнь безжизненно возвращается на круги.
Остается печаль, как и смерть, беспричинна.

МАЙАМИ

Пластик пальм. «Арт-деко» тарелки неба.
Зубчатый берег, расчерченный в перископе подлодки.
Это – субтропики в буром безумье прибоа.
В белых штанах джентльмены удачи встречаются редко,

всё больше на яхтах. Изжога курортного сброда,
биваки ортодоксов у хлорной лагуны бассейна.
Сколько уже поколений бредут из Египта?
В прохладных стерильных коробках гнездятся колена.

«Радио Марти» трубит в свои ржавые трубы,
но ароматны «Кохибя», «Корона», вообще – контрабанда.
Татуированы торсы, проколоты губы,
но вечерами в Майами, как на мид-весте, безлюдно.

Всюду растут метастазы торговых империй
и доживают свой век хиппари и жертвы фашизма,
голуби СПИДа воркуют, потеют хасиды,
спят на верандах с погасшей сигарой солдаты Батисты.

Над Гуантанамо невероятно погода,
там истекает голодным желаньем Гавана.
А на Ки-Вест по-испански болтает команда.
В этих искрящихся водах,
в дали океана
без предупрежденья
огонь открывает
береговая охрана.

ДАЛЛАС

Это было в городе одного убийства,
где дороги дышат густым мазутом.
Парусина неба над чахлым лесом.
Духота, как слизь, даже ранним утром.

Безымянных прерий безмерна зона,
и прогоркла почва, но нефтеносна.
Из низин выдувает память, но
виснут клочья дыма на ржавых соснах.

Далеко до Багдада, и звезд не видно.
Но ночами ясно, что после жизни
так и будет. Угрюмо молчит Отчизна,
да койоты рыщут по балкам гиблым.

Только вдаль пролетят светляки на джипах,
опаленные едким мескитным ветром.

Там зовешь сам себя один до хрипа,
но беззвучным криком на пару метров.

Здесь оружие в чехлах готово к бою
незабвенным правом свободных граждан:
на защиту дома, утоление жажды
и на небо, что нехотя служит кровом.

Там я думал о дальнем, детском праве
на потерю дома, на запах дыма,
на дыханье ночью той, что слева,
вдруг назвавшей мое, засыпая, имя.

СЕВЕРНЫЙ МЭЙН

За Бангором длятся перегоны
как радиоволны, за границу.
А оттуда пахнет хвойным лесом
и эспрессо, и наполеоном.

Пробегают к гибели олени.
Голубика виснет, словно Кольский.
Все плывет на фоне бледно-синем –
ткань мазков глубоких, но не резких.

Брошенные лесоразработки,
домик Легиона в паутине.
Шоферюги пьют, как в Мончегорске,
у костров и поджигают шины.

Тлен. В ничьих садах дичают души,
глубина амбаров пахнет гнилью.
Сыпятся бобровые плотины
и грохочет лесовоз все реже.

«Дизель», «субмарины»*) и «оружье»,
перекресток, лавка и шлагбаум.
Дальше от дороги гул все глуше,
тише будет в доме деревянном.

Выйдешь: осень с выдохом морозным.
Чудится, что Фрост
хрустит в лесу, бормочет.

АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТОРАЛЬ, 2005 ГОД. ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ

«Этим утром я приехала в школу,
когда было ещё абсолютно темно.
Висела бело-ледяная луна
с тремя разрастающимися большими кругами
белого пара вокруг неё,
пронизанного несколькими лучами золотого света.
Стихи как-то не шли ко мне, только мысль,
что, может быть, тебе это поможет что-то написать».

*)субмарина – сленговое название сэндвича на северо-востоке США

«У нас всё очень мирно.
Лук уже прорастает в зимнем саду Даниела,
помидоры, салат, базилик,
а скоро и чеснок тоже поспеет.
Совсем и не чувствуется,
что наступила зима».

«Я снова перечитала твои стихи.
Не могу отделаться от образов
пожелтевшей бумаги, жены в машине,
с письмом в руке от пропавшего мужа,
пустой пивной банки с этикеткой
на неизвестном языке, прибитой к нашему берегу».
«Смотри, всего-навсего через год
всё, что приходит на ум:
дамбы, плавни, болотные протоки,
сухие очереди АК-47, пронизывающие
осязаемый, влажный ночной воздух,
изувеченные трупы у эlegantного,
блистающего сталью прилавка Starbucks
с вырванной повисшей кассой и разбитыми витринами.

Гробы, проснувшиеся в склепах
старинного французского кладбища,
медленно плывущие вдоль размытой дамбы
по направлению к океану,
оставив позади
своё временное пристанище».

BATTURES

Ближе к дельте реки вода мутнеет.
Приобретает каолиновый оттенок,
каолин размягчённые скалы эры Миссисипи.
Как археолог, река открывает цивилизации мёртвой листвы,
насекомых, упавшие стрелы рыбных скелетов,
пустую банку пива.

Мелкие домашние животные видны у хижин:
собаки, цыплята, иногда ягнёнок.
Собаки единственные, кто перебегает через дамбу в город,
шныряя по задним дворам, прихватывая что придётся
у задней двери приречного бара с джамбалайей,
местными раками (в сезон), имбирным пивом (бочковым).
Толстые закопчённые деревянные стены
с отскакивающими от них смертельными волнами
тяжёлых гитарных аккордов Lynyrd Scynyrd.
Наводнение заливает хижины каждый год.
Они разбросаны по руслу реки, и каждый год
заселены – опустошены – вновь заселены.
«Это – как любовь, как любовь», – говорит он вдруг.
Мы слушаем песню баржи,
которая сливается со звоном
вечернего церковного колокола за много миль отсюда.
Они плывут, становясь мягче, мягче, засыпая,
засыпая в бархатном влажном воздухе дельты.

Тут я подумал: это и есть тот предел,
который страшно перейти.
«Ты знаешь, они здесь детей тоже растят», сказал он.

Рождество на Миссисипи
лучшее время года для гуляния по дамбе.
Лучшее время дня,
когда звёзды Вифлеема рождаются во влажности,
спускаются на воду,
дрожат на поверхности и сливаются
с крошечными точечными огоньками
рождественских огоньков на хижинах,
огоньков, бегущих вдоль незримой
медленно, тяжело дышащей реки
в кустах сквозь бесконечную паутину ивовых деревьев.
Намного ниже уровня.
«Battures», сказал он вдруг. «Да-да, вот оно, это слово!
Мы называем этих людей battures».

НОЧЬ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ

Я тебя всё равно люблю,
даже когда эта тварь говорит:
«Полегче, полегче, не так сильно».
Солнце, яркое солнце, и болото,
повисший воздух, вода, смешанная с москитами,
смесь, мертвенное густое молоко.

Это было ночью, ночью, пронзенной
невидимыми трассами хищников,
с запахом пролитого автомобильного масла,
спермы, дешёвого дезодоранта, высохшей мочи
на картонных ящиках – вечный тропический дождь.

Тени мелькающих такси, бездомные,
каждую ночь проникающие в следующий слой
бездонной тьмы своей жизни,
чёрные проститутки-подростки,
прилетающие стайками со всего Юга
на неделю-две подработать и обратно,
играть со своими детьми и их игрушками.
В этой ночи нету хищников, только жертвы,
все мы, как-то перебивающиеся, ждущие,
пока не наступит утро, чтобы вместе выпить кофе,
во всяком случае, хотя бы в том же самом городе,
пойти всем по своим делам, играть по правилам,
жить по закону, делать вид, что закон существует.
И вопреки всем правилам: я тебя всё ещё люблю.

Юрий МАЛЕЦКИЙ

То, что следует ниже, только попытка – прямо по ходу мысли и текста – спонтанно уяснить для самого себя то, что спорадически, но постоянно давно уже волновало меня, но не было понято, то есть сформулировано, то есть, опять-таки, понято; потому и мало-мальски интересно лишь тем, кто задумывался над тем же, – им и адресуется для согласия или несогласия. Честно говоря, понятия не имею, писал ли уже кто-нибудь об этом и в том же роде – скорее всего, писал кто-то: обо всём кто-то уже писал, и «в том же роде»; но всё равно, если человека что-то мучает, он обречён увидеть это «что-то» и написать о нём по-своему.

Возникающие в тексте повторы мне представляются витками мысли, пытающейся с разных сторон ощупать и опознать предмет этой самой мысли; поэтому я их сохранил. Да не посетует на меня возможный читатель.

ШЕСТНАДЦАТЬ ТОНН ЦЕНТОНА

(МАРГИНАЛИИ МАРГИНАЛА)

Мой приятель, окончивший философско-теологическое отделение Мюнхенского университета, человек образованный, увлеченно – в смысле вдумчиво – читающий на немецком Шеллинга и Пауля Циллиха, помимо прочих гуманитарных увлечений давно пишет стихи. Ну и показал как-то мне их подборку. Не для профессиональной оценки – я не поэт, не критик, а всего-навсего скромный прозаик – но просто чтобы я сказал, как оно мне кажется.

Здесь не место говорить обо всем корпусе текстов; но одно стихотворение, что называется, инспирировало меня – и не на шутку.

До такой степени, что я пишу все, еще неизвестное мне самому, что пойдет дальше.

Однако по порядку. Сначала – сам текст. Вот он, полностью.

Евгений Стародубский

МАНДЕЛЬШТАМОВСКАЯ ГОДОВЩИНА

Нисхождение Музы
в мирок пересылки ледащй,
скорбный гон Эвридики
за тенью безумной Орфея,
правый путь утерявшей
во мраке беспамятной чащи
красных гибельных лет...
Сумасшедший, пропащий,
как щегол, щебетавший, на жердочке млея,
ось земную принявший за милую жердь,
это ты, наконец,
это ты, настоящий,
смерть – действительно смерть.

Себялюбец, трусишка, разгневанный шут,
пузырем пролетающий над морем житейским,

залетавший... Но нам недоступен маршрут.
Мальчик, знавший сквозь сон, что за ним приплывут
в эту праздную полночь по волнам летейским.

И ослепшие ласточки крыльями били над ним.
Жемчуга умирали. И ластился жертвенный дым.

От далеких зарниц было больно, легко и светло.
На букет асфоделей дыхание живое легло.

Мимолетные звезды, светясь, оседали на дне
в море-марева сна, в заресничной заветной стране.

И ты понял тогда, как слагаются дни и стихи,
как в предчувствии рубки качаются леса верхи,
как затравленный век молча тычется мордой в колени.
И мелеет душа. Обнажает пучина ее
камень веры подводный. И мучит в груди колотье.
И сознание плывет, как тяжелого храма ступени.

Беззаботный божок, опьяневший от власти речей,
ты восходишь, как солнце, ты пляшешь, над всеми ничей,
но в руно золотое впитался туман Петербурга.
За лучом улететь подконвойному духу не даст
лишь трамвайный билет, да ключей от квартиры балласт,
да зубные коронки укравший у мертвого урка.

На восток от Тайшета, где лечь приведется костью,
где стигийские волны все тоньше в ушах и бездонней,
вспомни пчел Персефоны, последнюю пайку прими,
как на вечную память, из добрых сибирских ладоней.
Виноградной строкою, наплывшей впотьмах на язык,
местечковый пиита, высокой свободы тайник
не в Тосканы холмах ты обрел и не в Альпах швейцарских,
но пробилась душа, как в глубинах родится родник,
в мир, где дали мирволят, голубят, загубят по-царски...
Там надменный старик,
словно лилия, никнет горячим тифозным челом,
к лику снов нашей крови причтенный с гурьбой и гуртом,
все мученья вменивший в богатство.
Там раздвинулся ширию целокупный прижизненный дом.
И бессмертны цветы. И небесным поет языком
Вечный колокол братства.

Таково это сочинение.

Чем оно меня, как выражаются ныне, «зарубило»? А даже не столько качеством текста (хотя и им тоже – в нашем случае это немаловажно: сегодняшний «любитель» версифицирует не хуже «профессионала»), сколько другим: в тексте ясно, к тому же адекватно-искусно проговаривается, видится автору или нет, – то и так, чем и как дышит в области художественного и просто менталитета большая-пребольшая часть нашей гуманитарной братии – не исключая и вашего покорного слуги.

Внимание мое привлек, если не духовный, то, скажем так, интеллектуально-психологический срез сознательно-бессознательного современного русского – мыслящего, читающего и пишущего: в тексте «отразился век, и современный человек отображен довольно верно». Человек, естественно,

определенного круга, к которому принадлежит и автор стихотворения, и пишущий эти строки, и вероятный читатель того и другого.

Ситуация тем стерильнее, что человек этот, повторяю, не профессиональный литератор и писал не **для** публикации, а **от** души. То есть просто – так высказаться ему оказалось, как тульскому косому левше, «всего натуральнее».

Ну и что же для него оказалось натуральнее всего? Массивная центонность текста. То есть использование элементов чужого высказывания (или чужих высказываний сразу нескольких авторов) для своей постройке, чужого как своего. То есть не закавыченные цитаты, по-своему сопоставленные и обыгранные. То есть – вторичное в качестве стопроцентно первичного.

Храм, сложенный из центонных камней-строк самого Мандельштама, во славу его же. Некий «Мандельштам» в квадрате или кубе. Кто только не употреблял этот прием со времен раннего русского (запоздавшего лет на... дцать) постмодерна...

Допустим. Но ведь и мы не лыком шиты – и тот, кто написал (пере-писал и сложил из юбилейных строк калейдоскоп типа «Камень на камень, кирпич на кирпич») все это, – адресовал сочинение именно шитым, как и он сам, не лыком. И эти последние тут же слышат в самом размере, синтаксисе, тоне, суммарно говоря, центонность *строительного каркаса* – интонации другого поэта, ставшего, наряду с Мандельштамом, для вот уже второго поколения занимающихся русской поэзией в теории ли, на практике ль, сладкой отравой, не меньшей, чем легализованная марихуана в Амстердаме, пусть несопоставимо высшего порядка. Ибо цитировать, не закавычивая, можно не только строки, но и интонацию, и вообще, скажем так, размер обуви поэтического хода...

То есть сначала все еще не ясно, все еще колеблется между центонностью строфики-интонации самого Мандельштама, его летящих двустуший, «двойною рифмой оперенного стиха», – и зыблемого морскою качкой челнока – строфикой Пастернака «1905 года»; но чем далее, тем больше изначальное подозрение, что в дело замешался кто-то третий-не-лишний, что по мере наката в конце концов подтверждается со всею несомненностью: конечно, это он, это строфо-интонация нового «нашего всего», то есть Иосифа Александровича Бродского (а именно – его «Конец прекрасной эпохи»), поэзия которого сама стала концом заразной, как инфлюэнца начала 20-го века, позднесоветской поэтической имитации мелоса Пастернака («Приедается все, лишь тебе не дано...») – и так далее, что там напоминать, любой школьник знает – или уж вообще о поэзии ничего не знает, – если это было при нас, это же с нами вошло в поговорку), мелоса, укрощенного – или попросту укороченного Бродским на пару стоп, чтобы детская очарованность Пастернака ударились и разбилась о куда более взрослое самосознание ленинградского интеллектуального разлива 60-70-х. Не надо глупых восторженностей, братец, не надо всяких прядей за ушком... – впрочем, отрицание всего земного, включая земную нежность «ушка» (собственно, если чего не найти, да незачем и искать у Бродского, так это именно умиления, отличающего столь многое у Пастернака) – полынная горечь питающих сосцов, отлучающая-отлучающая сына от матери. Что значит – «не дано»? С какой стати? Дано. Бросьте, в самом деле, всему, всему дано примелькаться. И антиромантическая, горько трезвая и горько пьяная поэзия Бродского – есть высшая и последняя стадия романтизма, вышедшего, наконец, как мечталось Новалису и всем-всем-всем им, за пределы или хотя бы на последнюю грань земной данности – и не обнаружившего, сколько ни плавай под парусом в тумане моря голубом, на всех болотах-широтах запредельности, не обнаружившего и следов реальности иного, трансцендентального порядка. Следов Голубого Цветка.

Наслаждение всем, что гибелью грозит, обернулось для того, кто вышел на линию огня, вовсе не залогом бессмертия – и оказалось тогда, понятное дело, не наслаждением, а простым, хотя и поневоле сложно выраженным ужасом не грозящей, а неминуемой, необратимой, полной гибели всерьез.

Потому что романтизм Бродского – не романтизм героя Байрона, не понятого обществом, а романтизм героя, которому нечего делать, некого любить в этом худшем из миров, но который ясно понимает, что альтернатива этой пустой и постылой жизни одна – смерть, и главного противостояния – заведомо и безысключительно – противостояния смерти не избежать и от победы ее над тобой – не убежать. «Звездный ужас» – странно, что это сказал не Бродский. Стран-

но и то, что не он написал: «И никто нам не поможет. И не надо помогать». Но уж, по крайней мере, воплотил и то и другое сильнее и страшнее всех – именно он.

Пастернак же взялся в приведенном выше тексте тоже не с потолка, а оттуда же, откуда и все остальное, – из коллективно-интеллектуального российского бессознательного. В этом чистилищном котле он, помимо прочего, еще и готовит нас к неведомому ему будущему Бродскому – его строфика: первый в поэзии (аналогичным первым прозаическим опытом был гигантский роман Пруста) опыт бергсоновской «длительности» (А знаком ли он был с философией Бергсона? Я нигде об этом не читал; но не мог не знать – философ по образованию; как странно, однако, что самое умозрительное у Пастернака – его философская выучка, марбургское неокантианство и все такое – напрямую ведет к самому непосредственно-живому: по-детски, от двух до пяти, захлебывающемуся, генеральному для русской поэзии обновлению строфо-интонации.) никак не может быть обойден Бродским – поэтом непрерывности, длительности *par excellence*; и строфика Пастернака, как бы она ни трансформировалась внутри строфики Бродского – это мичуринская прививка первого к последнему, сделанная, прожитая и никогда не пережитая до конца, вытесненная, стало быть, в область запрещенных влечений, никогда не сброшенная совсем змеиная шкура – последний. Знали бы американцы, какого коварного сионского мудреца, какого агента влияния русского Сиона-Парнаса они назначают Главным Американским Поэтом...

Шутки шутками, а ваш покорный слуга – среди многих «и др.» – потому и распознает центон под центоном и на центоне центон, что и сам отдал ему обильную дань – в прозе, «я не поэт и не скажу стихами», в частности, в тексте под названием «Любовь». Только там это было не от-себя-высказывание-чужими словами, а попытка характеристики самосознания героя, содержания ума и сердца русского культурноносца. Тут без пудов центона, казалось, не обойтись; казалось, я имею на нее право – потому что центонность, вторичность сознания героя как раз и есть одна из главных составляющих этого самого сознания. И кажется, то, чего я хотел, в общем получилось. Но с тех пор я знаю наркотический вкус центона, ломку, когда оказываешься без него, а все равно надо писать (своими словами, а ты уже привык к чужим!), знаю всем существом сотый и сто первый раз чистую правду отмеченного уже лет 25-30 назад латиноамериканским искусствоведом А. Бонито Олива: постмодерн есть следствие «семантической катастрофы», когда все смыслы в силу их чрезмерного накопления перестали быть серьезными в восприятии современного человека – и промежуточный выход, пока не произойдет чего-то ожидаемого, но непредсказуемого, и родившийся новый смысл не поразит всех наповал, став абсолютно серьезным, играть равно серьезными-несерьезными смыслами, сохраняя их на всякий случай в живом культурном архиве живых людей культуры. Нравится, не нравится – иного не дано. Тут, по крайней мере (добавлю уже от себя), бережно, как в морозильнике, хоть и игрово, да экологически ответственно сохранены смыслы и стили всех времен и народов. Сохранено все, кроме обязательности, насущности *только вот этого* стиля – а этот-то пустячок, поди ж ты, и решает все.

«We are the hollow men», – мы полые люди, сказал Элиот о тех, кого знал. И добавил: «We are the stuffed men». Мы – полые, но набиты всем, чем утрамбовывают чучела, наполнены – живым или мертвым? – фаршем. Мы вторично-третичные, десятеричные люди. Мы люди культуры – говорю о культуре исключительно светской, не затрагивая церковную, не вдаваясь в проблематику русской иконописи или «Слова о законе и благодати» митр. Иллариона, – которой всего-то двести лет, но которая сегодня шагу не сделает, не процитировав предшественника (накопилось, значит, много всего за двести лет!).

Евгений Стародубский, скорее всего, и не думал, что Мандельштам и Бродский, кажется, бессознательно обернутые им друг в друга, говоря словами третьего упомянутого немаловеликого поэта, «как образ входит в образ и как предмет сечет предмет», дают эффект не на грани аффекта, а на грани дефекта. Он просто писал как дышит и слышит. Здесь если не «человек сгорел», то душа воспламенилась, вспыхнув в 451° по Фаренгейту...

Эта энергия воспламененного сердца зажгла и меня; потому что давно уже я пытаюсь согласовать в себе Бродского и Мандельштама, а они вместе никак не уживаются. Поэтому мне стало интересно, как уживаются они в душе другого.

В самом деле, Бродский и Мандельштам – два совсем не рядоположенных поэта. Большие поэты всегда нерядоположены, но тут случай особый: один как назло все время противоречит другому. Он говорит: «Мы смысловики». А другой утверждает, что поэзия подвижна «не логикой мысли, но логикой языка». И оба подтверждают каждый свое, как мало кто другой: один в каждой из двух из каждых четырех строк плотной перекрывает смысловую бездну, а другой изливается каскадными водоподами словесных абзацев, самотекущими саксофонными периодами, достойными

«мессии джаза», гения джазового саксофона Джона Колтрейна, чья глубинная музыкальная медитация, чей могучий голос и строй породили целое поколение джаз-музыкантов – и до сих пор (Колтрейн умер в 1967, почти сорок лет назад) гипнотизируют многих – и далеко не последних – джазменов.

Положим, и мы, читали мы или не читали Витгенштейна и много кого ещё, знаем их всей душой, впитав через парной дух мировой культуры 20-го века, идя с матерью рука об руку в разрешенные часы материнско-сыновних свиданий, – и можем сказать, что то и другое равно друг другу, достаточно согласовать вопросы языка. Да к нашим услугам и постмодерная философия, например, Жиль Делез, показавший в своей совершенно непонятной (ну и перевод, скажу я вам, двести страниц на русском –и ни одной фразы по-русски!) и совершенно понятной работе «Логика смысла», что очень трудно построить, не нарушая законов грамматики, такое предложение, которое вообще лишено смысла. Труднее, чем верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Грамматический смысл уже логичен. Логичность априори осмысленна. То есть чтобы высказывание стало по-настоящему бессмысленным, надо постараться больше, чем сказать что-то осмысленное, например, «Данке» и «чууз», беря сдачу у кассы супермаркета.

Чего, впрочем, русским и не надо объяснять: с давних времен академика Л. Щербы с его «гломой куздрой», которая «кудрячит бокрёнка», вся гуманитария знает, что, пока остается грамматико-синтаксическая связность высказывания, смысл его никуда не денется с подводной лодки.

То есть получается: логика языка синонимична логике смысла и вполне позволяет впрямь в одну упряжку и коня, и трепетную лань.

Ан нет. Теория и практика частенько расходятся между собой. В настоящей поэзии же «частенько» становится правилом, а не исключением. Эта самая поэзия может проделать и невозможное – вот же пресволочнейшая штукавина, кроме шуток – и логику смысла «Стихов о неизвестном солдате» никак не поверить грамматической и синтаксической логикой языка. Это тройное сальто-мортале русской поэзии навеки останется сплошь непонятым и сплошь гениальным. А гений – друг парадоксов, то есть вещей вполне осмысленных, в отличие от чисто медицинского бреда (медицинское определение: «Бред – представления, не соответствующие реальности и не поддающиеся коррекции»). Но *осмысленных безумно*, в отличие от клинически здорового ума фининспектора. И странный гений Мандельштама – двулик: он слышен в порядке осмысленного бреда (я всегда воспринимал его стихи именно как гениальный бред, еще до того, как встретил у Г. Адамовича замечательные слова о принципиальной бредовости творчества Мандельштама и о том, что только это высокобредовое творчество одно и оправдывает существование зауми в современной ему русской поэзии). Светлый хаос и темный космос. Этого, по определению, не может быть – и все-таки это есть. Верую ровно в ту степень, в какую это абсурдно, то есть рассудком поверено быть не может; потому что все, могущее быть поверено рассудком, принадлежит не области веры, а области простого рассуждения обычного «знания» (и эту абсолютно ясную, логически непротиворечивую фразу «Credui, quia absurdum est», сказанную Тертуллианом по совсем другому и куда более серьезному поводу, – еще упрекают в неразумии...).

А Бродский навсегда останется одним из самых понятных, не таинственно-безумных вроде Гельдерлина и Батюшкова, но яснысложных мастеров сложносочиненного стихосложения, где надо только дать себе задачу дослушать фразу до конца, который конденсирует, но и вытягивает, из тьмы неназванности на свет, сгущая и просветляя все темное по ходу перегонки мутной известной браги, в огненносный первач глобально-пустынного измерения жизни, более всего знакомого поэту. Это осмысление-просветление абсолютно грамматично. Медленно, как полупонятную немецкую фразу, дочитай до конца – и всё ясно, всё на своих местах. «Бринген» – принести, доставить, «умбринген» – убить; многие глагольные приставки в немецком отделяются и ставятся на последнее место в утвердительном предложении. Значит, надо просто внимательно дочитать до конца фразы, где стоит «ум», – и все неясное во фразе станет ясным: он ее не «доставил», не принес – он ее убил. Время идет непрерывным составом, не грохоча на стыках абзацев; следующая остановка – в пустыне: в Цюрихе, похожем на «цурюк».

Всякое стихотворение Бродского – ровно одна мысль, один тотальный, недробимый смысловый ход – хотя мало кто так, как он, дробил свое поэтическое высказывание, отчего оно всегда имеет вид аналитического, – да и по существу аналитично, а не синтетично, то есть не вводя новые смыслы, не умножая их, раскрывает уже содержащиеся в начальной поэтической фразе, пытаясь исчерпать, выводя из главного и единственного Смысла все его ракурсы и перспективы – множественные малые смыслы. Прочитав стихотворение до конца, распутав все его петли, мы

возвращаемся к исходному – уже как к проясненному и посылно исчерпанному. Не обогащенные? Как бы не так! Нам затруднили вытягивание смысла-пыльцы из словесного цветка – и мы почувствовали через эту затрудненность свежий вкус старого стертого смысла, и главное – прожили смысл во времени, времени движущегося вместе с временем *нового старого смысла*.

Да, тут есть, невзирая ни на какие устаканивания языковых ниже терминологических вопросов, великая пропасть: язык уже *«прежде слов»* – перефразируя поэта – смыслово заряжен и в самом деле имманентно несет в себе логику, которую – в высшем смысле – и раскрывает говорящий в самом ходе развертывающейся поэтической речи; добываемый же смысл изначально еще не обряжен в языковые одежды – и поэту, танцующему от смысла, а не от языка, не «ведущему речь», а от нуля-из немоты заглядывающему в смысловую бездну, которая, собственно, и поведет речь через обнаружившего новые смыслы посредника-поэта, нужно еще выбрать – и «взять языка», и далее пробиваться неизвестным солдатом через окопную войну, через рукопашную с заточенной саперной лопаткой языка. Стихи Мандельштама – разведка боем, попытка возможно быстрее засечь и обозначить возникающий на пересечении внимательной души поэта и Реальности контакт, момент истины – как можно быстрее, при помощи пары быстрых слов в их молниеносно внезапном сопоставлении, ломоносовском «сопряжении далековатых идей» – и разведывать путь в Реальность дальше.

Стихи же Бродского строятся на уверенности в том, повторяю, что поэтическая фраза сама, априорно, уже содержит в себе искомый смысл – и осталось его развернуть медленно-подробно, чтобы внутренний смысл в самой логической последовательности высказывания раскрылся сам собой. Фраза Мандельштама – смыслоискатель, смыслоуловитель, чиркающий кремнем о кресало извне бытийствующей смысловой Реальности; фраза Бродского – априорно – смыслоноситель сокрытый внутри самой фразы, требующей только раскрытия той же реальности, но уже, как правило, с маленькой буквы.

И смысл этот всегда – один и тот же. Одна-единственная мысль: «Не горизонт вижу я – знак минуса». В каждом стихотворении минусуется что-то еще из списка земных «явлений». Весь бесконечный ряд явлений не минусуешь, но к этому нужно стремиться.

Мандельштам, словно впервые назвав вещь по имени, тем вызывает ее к жизни, вытягивая из черной дыры безымянного.

Напротив, Бродский, производя инвентаризацию мирового хозяйства вещей-явлений, всякий раз, назвав, вписав очередную вещь в опись, тем самым вычеркивает ее в ее потенции, обреченности стать аннигилированной – из списка живых.

Так и должно быть – тотальное утверждение не имеет одного смысла, утверждать можно бесконечное количество вещей материального и духовного измерений, лишь совсем уже по ту сторону имеющих единство – в своем Создателе. Множество сверкающих смыслов. Тотальное отрицание всегда имеет один смысл – зачеркивание всего, стало быть, и любой предстоящей вниманию художника вещи. Созидая, Бродский разрушает (Вопрос по ходу дела: какой смысл вызывать и вызывать к жизни для тебя потенциально умершие – «завтра» и во веки веков - вещи? Или, говоря словами второго нашего подопечного, «возможна ли женщине мертвой хвала?»; и не только мертвой женщине, но и всему мертвому – возможна и нужна ли тут и хвала, и хула?)

Но какая нам разница теперь? Этот гений и тот гений. В том смысле, что оба, каждый по-своему, равно достигли предельно возможной, опасной близости к математическому пределу художественных возможностей поэтического слова. «Не все ли равно, о ком писать?» – писал Бунин в «Снах Чанга»; не все ли равно и как писать, скажут наши двое – на той высоте, где все пишут лучше всех; не все ли равно, как попадаешь ты всегда в «яблочко», – держа пистолет одной или двумя руками. Да хоть бы и ногами.

Нуте-с, вот я и приплыл. Я вообще-то только хотел сказать вначале: мне это центонное изделие Евгения Стародубского и нравится, и не нравится. А вкусовые оценки не обсуждаются – при том допущении, что какой-то вкус у меня все же есть. А пошел и повел, и повел...А ведь только и всего хотел сказать: «Хорошо. Хорошо сделано. Но вообще все это – когда-нибудь кончится?!»

Я хотел только хмыкнуть: «Ребята, отчего не играете в буриме, как в него играет, ну, кто бы? Ну, хоть бы Гребенчиков. Этакое особенное буриме. Дисциплинируясь лишь размером и рифмой, играя без усилий случайной переключкой необязательных смыслов в наилегчайшем, потому что безответственном, квази-моцартианском стиле, вроде:

(Мой) третий отец Дзержинский,
Четвертый отец – кокаин.

С тех пор, как они в Мавзоле, мама,
Я остался совсем один.

У меня есть две фазы, мама –
Я чистый бухарский эмир:
Когда я трезв – я Муму и Герасим, мама –
А так я Война и Мир.

И так далее сто тысяч раз. Шиза. Стёб. Ништяк. Приятное и не обремененное душевными усилиями занятие. Ты – загруженный по полной программе текстами-текстами-текстами – только *поведи речь*, только дай пас рифмующимся словом, введи слово-«пароль» – и ставь первое попавшееся рифмующееся слово-«отзыв» (вроде гребенчиковского же «крокодила» – «паникадило»), а уж рифма сама выведет, на ее стержень нанижуются остальные слова, обязательно несущие неожиданные смыслы. (Чем случайнее слова, тем внезапнее смыслы – и по ходу ее, ведомой речи, всегда будешь небывало-новым; идет-грядет зеленый шум, ментальный шум, и его некуда девать. И в нем всегда живут невысказанные смыслы, как всегда оставались недожатые «нифеля» в заваренном чифире и в отжатом-женатом чае, и далее все равно еще чае – бывшей главной валюте советской тюрьмы, и вот эти смыслы разбились весенним дождем обо всех, их бросило-разбило друг о друга, друг на врага – и какие высеклись искры, летящие во все стороны коннотации, ассоциации и диссоциации! Произведение одного сюра на другой даст желательный сюрреалистический эффект в квадрате, *ожидаемый неожиданный эффект.*)

Не стесняйтесь. Нас стесняться не нужно – мы тоже так умеем. Именно так мы и умеем – и этого и хотим с незапамятных времен. Впрочем, эти незамятные – мне памяты. Так умел еще мой покойный приятель, стопроцентный русак, написавший в восемнадцать лет, году в 71-м, в солнцедарном просветлении (кажется, это была третья «ноль-восемь» на нас двоих):

Алое надгробие заката
Топчут междометья грязных ног.
Шире двери ателье проката
Белым силуэтам синагог.

При этом до синагог ему было дело, как мне до тайны двух океанов.

Это не центон. Но уже предчувствие-предсказание центона. Вкус случайно-обязательного, неожиданно-ожиданного, дождавшегося своего часа смысла здесь еще свежее, чем в грядущем центоне. Пуля со смещенным центром – вот что такое центон. Мы вооружены и вышли погулять – будет и в нашем микрорайоне праздник.

Тогда же, помню, один самарский ребенок шести с половиной лет, славившийся умением подобрать любую рифму к заданной фразе, вдогон за предложенными ему:

Солнце светит, но не греет,
Заглянуло за окно – ...

мгновенно продолжил:

Поздравляем всех евреев
С Днем советского кино!

Никаким Днем кино в 71-м еще и не пахло. И вот тогда – тут явственно проступал привкус квазидиссидентства, о чем ребенок, понятно, и не думал. То есть – стихи всегда имеют смысл, даже когда они составлены из совершенно случайных, посторонних друг другу строк. Похоже, связующая их рифма в поэзии служит чем-то вроде оси зеркала в калейдоскопе – оси симметрии, по которой все случайно встретившиеся стеклышки откладываются в зеркале-оси симметрии по другую сторону оси, и в итоге получается всегда симметрично-красивый витражный узор. В этом, кстати, принципиальное отличие сегодняшней поэтики профессионального сумасшествия от Мандельштамова безумия: им подходит любое сочетание «далековатых идей»-слов-смыслов, его устраивает одно-единственное сочетание, улавливающее единственный смысл (в «двойчатках» его – два единственных: тезис и антитезис), и надо как следует напрячься, чтобы его – «с голо-

са» – достать и выдать. Его «блаженное бессмысленное слово» - в высокой степени не легко, не эйфорично – ответственно, и добывается только «потом и пытом».

И вот – нам это разрешили считать серьезным приемом серьезной поэзии. Разрешили выпустить душу на волю.

И мы разбежались – до сих пор не остановить. Налетай – подорожало. К чему далеко ходить – в этом же журнале («Зарубежные записки»), в седьмом номере я нашел целых две поэтические подборки очень приличных стихов вполне одаренных авторов, явно из тех, кого «перепахали» не то Гребенщиков, не то Пригов; я бы причислил их к поколению (следующему заметному поколению после метафористов и соц-артистов) профессионалов «поэзии сдвинутой крыши». Вещи такого рода (при условии, что они, вот как упомянутые авторы, имеют отношение к действительной поэзии) всегда приятно читать; единственный их минус (еще раз – это мое сугубо приватное мнение) в том, что, читая их, прежде всего с удовольствием включаешься в классную игру в центон, что сразу уводит от возможности непосредственного со-переживания. Вот это и есть пустяковый, но неприятный парадокс центона: всякая попытка использовать его всерьез чревата чисто интеллектуальным наслаждением от искусной игры, уводящим в сторону от непосредственного переживания.

Хотеть-то я хотел это пробурчать, да чего-то задумался. Даже не о том, что – кто меня поставил судить людей, к которым принадлежу? И люблю ли я сам, когда безо всякого понимания судят меня? Нет, задумался я о нашей общей ситуации. Те, кто жил словами, их пища, ранее один в один серьезно и воспринимались теми, кто жил словами, их читая. Наблюдалось некое соответствие. А теперь? Теперь писатель-то пописывает, а читатель даже и не почитывает. Один, значит, такой симпатяга, – пишет, а другой, значит, сволочь такая, не читает. То есть, получается, писатели есть, а читателей нет. Потому что, словно следуя моему рецепту, читатель сам стал писателем. В элитно-усложненное буриме эрудированный гуманитарий и сам очень даже неплохо, со всеми удобствами может сыграть. Зачем ему поэт, когда он сам себе поэт? Эта демократическая ситуация в области аристократически духовной, где демократии нет, не может, не должно быть – либо ты родился поэтом и в тебе течет кровь царя Давида-Псалмопевца, либо нет, и делаю что угодно, издавай на свои деньги собственные сборники или пробивайся в ленинские или нынешние лауреаты, но когда прилив сменится отливом, от тебя ни одной устричной раковины на отмели не останется, – эта невозможная по определению, но состоявшаяся вопреки вероятно демократическая ситуация в корне меняет положение вещей.

В сложившейся ситуации не помогает и вторая, и третья степень защиты: центон в кубе, использованный Стародубским. Это кубическое сооружение местами в хорошем смысле удивляет – но за душу берет лишь поначалу. Затем сопереживание стихаэт. Перенасыщенность ведёт к выпадению в осадок. На смену трем эшелонированным линиям обороны высокой версификации, использованной им, грядет четвертая – четвертый ледниковый период замерзания-таяния великой традиции.

Грядет великое упрощение, предсказанное Достоевским, и, словно чувствуя это, сбегаются на трубный не слышимый никому, кроме них, зов защитники новых Фермопил. И это неважно, кто они – профессиональные поэты и философы или мыслящие дилетанты поэзии и философии. Сочтемся и узкой славою, и непризнанием в широких массах. Важно, что культура не хочет сдаваться на милость попсы. Она борется за жизнь.

Но потому-то она и обречена: она борется усиленно и начинает нервничать. А это не признак силы.

С какой-то прогнозируемо-насушной для пишущих стихи обреченностью каждый второй, переводящий сегодня немецкую поэзию, защищаясь сам и защищая высокую традицию Культуры, переводит из Рильке. Каждый четвертый, пишущий свое, пишет свое-из-Бродского.

Что набивает уже оскомину. Чище всякой попсы.

Между тем, опять-таки, сознательно ли Стародубский укутал Мандельштама в Бродского-Пастернака? Думаю, нет. Он просто воспринял на бумаге ту часть своего сознания (включающую бессознательное), где вышеупомянутые обретаются в качестве «восьмитысячников» русской поэзии, рекордсменов актуализации ее интеллектуального потенциала. А потому они как-то сами собой в сознании пишущего заворачиваются, закутываются друг в друга, чтобы вполне органично сосуществовать на ледяной высоте в горной цепи поэтических Гималаев.

А на самом деле Стародубский не укутал, но столкнул гениальное безумие с гениально-нормальным умом. Поэтическое безумие с поэтическим разумением.

Он столкнул мгновенно-вечные озарения-вспышки Мандельштама – с временным течением просодии Бродского.

У Мандельштама – бесценен миг осознания ядовитой сладости запаха белого, разбавленного водой керосина. У него прежде губ уже родился шепот, а Божье имя, как большая птица, уже вылетело из груди – и его неперенный глагол совершенного вида вовсе не отсылает к прошедшему времени, а перечеркивает его – отсутствием длительности. Даже там, где говорится о времени... Одиссей уже возвратился, пространством и временем полный. Время с тяжким грохотом уже подходит к изголовью – и несовершенный вид тоже не обозначает длительности настоящего, а взят лишь в том смысле, что все уже подошло, все как есть – и «времени больше не будет». Времени уже нет, потому что оно сконденсировалось, накопилось в душе человека до предельной, конечной полноты. Человек, из последних сил желающий уподобиться лучу и лететь туда, где нет его совсем, утверждает бытие не во времени, а в скорости луча – скорости света. Там, где ты луч, а значит – есть, но где нет тебя совсем – это не время, это вне-длительный момент скорости света. Только в вечности до-временный или вневременный шепот может родиться прежде губ или после губ или одновременно с губами, потому что в вечности нет «раньше» и «позже».

У Бродского, при феноменальной цепкости видения всех предметов, попадающих в поле его зрения, – а от его взгляда мало что ускользает – сама равномерность, властная монотонность их, нелюбимых, поэтического перечисления отрицает ценность перечисляемого.

Мандельштам даже в бессонницу осилил Гомеров список кораблей лишь до середины, так как для него не существует имени вещи без самой вещи, поэтому самые однородные вещи – здесь корабли – неоднородны, каждая несравнима и несравненна, а потому весь нескончаемый список непреодолимо труден, требуя усилия все более устающей воли.

Человек же, написавший «Осенний полет ястреба», не только мог бы прочесть список кораблей до конца, но мог бы добавить к списку еще и продолжение этого каталога, если бы у ахейцев имелись и другие корабли, – без усилия.

Один пишет: «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность»; но подтверждений этой пожизненной благодарности – у него надо еще как следует поискать. Что и дает многим возможность считать это выражением тотальной иронии. Я же склонен думать, что это серьезно. То есть поэт хотел бы, очень бы хотел, чтобы так оно и было – да что-то не выходит: как-то не испытывается, что ли. Плохо; а что делать? – как говаривал Розанов.

Другому, напротив, рот **уже** забили глиной, коль скоро он уже «лежит в земле, губами шевеля» – но и оттуда, из смерти, он утверждает, что «на Красной площади всего круглей земля» и т.д. Конечно, утверждение это для нас сомнительно, даже зловеще, но с пресловутыми мандельштамовскими «двойчатками» вообще все сложно, да тут и не место их разбирать. И все равно поэтическое высказывание имеет свою особую правоту – и смысл ее, как бы мы с нашей легкой высоты сегодня этот смысл ни отрицали, он в устах «переогромленного» поэта – субъективно создателен.

Один в своей страшной и смешной жизни обретает и обретает – до конца, до братской ямы. Другой до конца – теряет, расстается. Из четырех арифметических действий Бродский знает только одно – вычитание.

Потому что Бродский весь – во времени, и вещь для него лишь зверь для победы над ним охотника-времени. Время страшно для него, потому что вечность не дана ему как живая, а только как жерло, которым окончательно похрется **всё**. Ему остается лишь река времен в своем стремлении; она ведет всё к окончательному уничтожению, но только она есть жизнь. До-поры-до-времени-жизнь. Плохо? Что делать, если другой формы жизни просто нет, а эта жизнь, по Бродскому, есть «форма времени». А время имеет свойство утрачиваться. Полностью. Отмотал срок – умер: единственное правило, не ведающее исключений. Вся зримая органика мира неорганична, органично лишь незримое, не имеющее отношения к органической химии время. Оно незримо, но оно явственно является нам, наталкиваясь на очередную вещь из бесконечного перечня поэта: когда вещь пожирается временем, мы отчетливо видим звериную пасть. И эта одна-единственная мысль, дабы не быть однообразным, навязчиво-сучным самому себе, заставляет поэта находить все новые и новые лады, вереницы новых умозаключений, умоприключений и умозлоключений.

Единственное, кажется, исключение – это стихи Бродского на Рождество и Сретенье. Это стихи человека, в котором вера борется с неверием, и неверие побеждает всей своей критической массой, но победить до конца тоже не может. Стихи агностика, очень хотящего, чтобы у его веры были достаточные основания (ведь он и сам писал однажды: «Неверье – слепота», но никак не

раскрыл это утверждение, ни тогда, ни потом... потом, кажется, он вообще к этой теме не возвращался), но не находящего этих оснований ни вокруг, ни, главное, в себе. Евангельский персонаж воскликнул: «Верую, Господи; помоги моему неверию». Фразу лирического героя Бродского в этом случае можно сформулировать примерно так: «Не верю, Господи; не сможешь ли моей вере?.. А не сможешь – обойдусь». Трудно, однако, обойтись без Бога при таком напряженном видении смерти; и это наполняет резкую, охлажденную поэзию Бродского каким-то особенным, осознанным, трезвым ужасом.

Но и такая половинчатая позиция – повторяю, исключение (тут сразу вспоминается часто встречающееся в определенном кругу высказывание, что такой-то «имел мужество не верить»; я возгласен, что, по мере продвижения жизни к смерти, нужно иметь все большее мужество не верить, но не понимаю, почему в таком случае не говорят, что сякой-то, напротив, «имел мужество верить», – не в Русь православную, не в христианскую цивилизацию, а в Воскресение и жизнь вечную, – ведь правота и в том, и в другом случае равно недоказуемы и, стало быть, требуют усиления и от сознательно верующих, и от сознательно неверующих); я же говорю о правиле.

Сама поэтическая интонация Бродского, его поступь, невероятная энергетика его кантильных абзацев, как сказано выше, по крайней мере (центон, еще центон!), напоминает позднего Колтрейна – только тот в заключительном «Псалме» вершинной своей «A Love Supreme» играет, трубя в саксофон, как в древний рог, снизу вверх, к Богу, а Бродский стремится мощные абзацы непрерывного звучания – вниз, тяжелым водопадом. Ему не к кому их обратиться, кроме смерти. Он, со всей его тотальной иронией, – новый Державин, всегда писавший только всерьез, не знавший, кажется, вообще, что за штука такая ирония, – не тот, который написал великую оду «Бог» и сотворил вечную память князю Мещерскому, а Державин четырех предсмертных строк, может быть, самых страшных во всей мировой поэзии. Державину и Бродскому то и ужасно, что убивающая всё и вся река времен и есть единственная реальность. Не считая еще более ужасной вечности, жерлом которой пожрётся **всё** – без исключений, включая земную, условную «вечность» искусства, «лиры и трубы». А потому если уж писать – то только о ней, ненавистой реке времен, уносящей навсегда всех без исключений, но только и дающей жить. Если мы живем не во времени – то где еще?

Впрочем, время играет важную роль и у Мандельштама. Вот «Сумерки свободы». Да и с самого начала – Батюшкова ему противна спесь, когда на вопрос о времени – который час? – он ответил: «Вечность». А ведь его «спросили *здесь*». Стало быть, и на вопрос который час, он должен был ответить, скорее всего: «Сейчас». Это вечность Мандельштама – земная вечность, приготовительный класс на пути в вечность горнюю. Вот «мы поедем с тобою на А и на Б, посмотреть, кто скорее умрет». Но все это только **о времени**, из коего наша «трамвайная вишенка страшной поры» вытягивает вневременные смыслы. Сталин ли, демократия ль, но при всех режимах мы всегда едем на «А» и на «Б» посмотреть, кто скорее умрет. Эта поездка и есть вся наша жизнь. Всегда везде повсюду – и во веки веков. Век-волкодав набрасывается на поэта в любом веке. Как и слепая ласточка может вернуться в чертог теней вне зависимости от века, года, эпохи – непонятно только, что она такое, эта ласточка, – но мы ее так и видим наяву; и кто бы она ни была, а уж в чертог теней вернется при любом режиме, будьте благонадежны. Потенциально она уже вернулась. Считай, все уже совершилось, и тот, кто схватил этот миг превращения будущего в прошлое, дарит и себе, и нам «выпуклую радость узнавания».

Вообще-то слепых ласточек нет. То есть, может, одна-другая ласточка и родились слепыми или ослепли. Теоретически. Но это не относится к области художественного обобщения. Это больше относится к тому, что в логике называется «классом пустых понятий»: к тому, что по определению бессмысленно; например, «русобфка-луна» или «малодушный носок». Но невозможным образом слепая птица становится, при апелляционной непонятности образа, – *полным понятием*, моментально и навсегда входящим в состав души читателя, подобно «медному всаднику» или «ангелу полуночи». В то, что для нас – смысл бытия, самозванно, но полновластно влетает небывалая слепая ласточка: ещё одна осмысленная и необходимая отныне частица этого общего смысла; и мы чувствуем, что разбогатели. Это та область мирозерцания, которую не может заменить ни философия, ни теология, ни... – ничто, кроме стоящей на скрещении всех дорог ума-сердца странной области художественного.

Бродский же не пишет *о времени* – он пишет *самим временем*, как Некрасов, по слову Цветаевой, «заговорил народом». В некотором смысле Бродский «сам – лишь рупор» времени, пожирающего все, но, значит, и того, через кого говорит, свой «рупор» – самого поэта; пожрав свой голос, время остается безголосым, «тихотворение» – «немым». Время плывет, накатывая на каждую вещь, чтоб пожрать ее без усилий – и вычесть тем самым из списка вещей. Если

молоденький Маяковский ставил «нигил» «над всем, что сделано», то Бродский ставит его просто над всем. Нет – ничего, кроме пространства, не вне, а внутри коего – вещи нет. Романтический герой Бродского вполне реалистически отдает себе отчет: ему нечего ловить в мире явлений; а мир вещи-в-себе, мир по ту сторону нашего знания, пожизненного мышления всякого земнородного в заданных здесь формах пространства-времени, причины-следствия – этот мир ему, как и всем по эту сторону жизни, не дан.

Нет в пределе бытия – ничего. Значит, и самого бытия. Значит, и того, кто это говорит. Значит, и... Страшно додумать это до конца. Но если не додумывать, то нечего и читать Бродского: вся его поэзия и есть додумывание, разбирательство не с новыми, как у Мандельштама, но со «старыми», кажущимися старыми смыслами (жаль только, что увлекательно кропотливое разбирательство это всякий раз кончается абсолютным нулем).

Время протяженности его стиха, время говорения совпадает с реальным временем события – и это необходимо: если не верить в жизнь вечную, единственный способ жить – это сделать для себя и читателя длительность времени, несущего тебя по жизни, чтобы убить, когда ты достигнешь, наконец, причала, – физически ощутимой; проще говоря: если затянуть время и затруднить его переживание – дольше и, главное, ощутимо дольше проживешь. Картавая кантиленность его рулад – это и есть музыка: заколдованное время, по Томасу Манну. Быть может, лучшие в этом смысле его стихи – нелюбимые мною статичные, холодно-виртуозные, из «Урании» и «Осеннего полета ястреба», где логика уничтожающего все по мере жизни времени – оборачивается пожиранием и пишущего, и читателя, перестающего, от усталости ль, от оцепенения кролика перед удавом, воспринимать эту холодно олимпийскую поэзию, предстоя приливу временного моря. Да, все так, но настоящий поэт, как и завещано (или просто наблюдено и выведено в качестве вечного действующего закона всякого настоящего творчества, любой езды в неизвестное, а не требования-императива), не отличает поражения от победы, а побед этих у Бродского несоизмеримо больше – тем досаднее его поражения; а главное, поэтические смыслы и смыслы логико-смысло-сюжетные – это две разные вещи, и то, что они так часто совмещались у Пушкина или Тютчева – вовсе не единственный способ поэтического высказывания. Шире – художественного высказывания. Ведь в конце концов критерий искусства – один: врезается вещь поневоле в душу, запоминается навсегда песня – или нет. Если да – перед нами гений, ровен он или неровен. В этом простом и главном для любого человека смысле гений – Высоцкий. А ведь из сотен его песен только двадцать-тридцать сработаны безупречно. И гений – Бродский. Есть логика музыки. Вот «Болеро» Равеля. Двадцать минут музыка вроде бы пробуксовывает на месте, повторяя одну и ту же мелодию, лишь энергетически меняясь, приобретая от повтора все более высоковольтное напряжение, темп, ритм. Но мелодия буксует на месте. И что же, это не музыка? Еще какая музыка. И стихи Бродского, его мощный, сразу узнаваемый голос, невзирая ни на какие частные невнятности, неровности, имитации смысло-аналитической мысли, пожизненное пижонство демонстраций своей высокой образованности, пустот незнания элементарных для образованного человека вещей, несмотря на частую поверхностность, кавалеристскую быстроту и натиск его «самоломаных», почти базаровских суждений обо всем-всем, о вещах, требующих тонкого подхода (огласим весь список возможных претензий, чтоб уж разом согласиться с ними и выдохнуть: «Пусть так; и все равно – поэтического голоса равной или хотя бы соизмеримой силы и оригинальности со времен смерти Пастернака и Ахматовой в русской поэзии не было!»), – словом, невзирая ни на что, стихи Бродского – еще какая музыка.

Все буксует на месте – значит, сколько ни переключай скорости, все стоит. В жизни – именно так. А во второй жизни: жизни искусства, параллельной первой (но лобачевские параллели эти всегда сходятся) – так далеко не всегда. Машина буксует – и тем-то самым и едет.

У Мандельштама же, напротив («Золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго...» – и так далее, все помнят), машина идет, время длится – и в конце возвращается на круг, чтобы длиться только в настоящем, «буксовать» в вечном «сейчас». Это время, полнящее Одиссея, возвратившегося домой. Момент-вечность, приговорительный класс бытия в вечности небесной. Это стихотворение Мандельштама – воплощение абсолютного совершенства, дышащего статическим движением вечности во времени, абсолютным покоем и безопасностью уверенной в себе силы, так что читатель может укрыться в нем от всех тревог – во времена, когда надежное укрытие было (и остается) самоважнейшей вещью. Поразительна сама эта сила во времена полного бессилия мирного маленького человека, времена зверские; откуда она у маленького смешного – по всем воспоминаниям – человечка, истерика, скандалиста, «опущенного», как и все в стране, интеллигента?

Завернуть Мандельштама в Бродского, прослоив Пастернаком, – все равно, что завернуть невременно-сиюминутного, мгновенно-внезапного Достоевского в последовательную хронику, безукоризненно логично следующую от пролога к эпилогу историю любви-нелюбви Анны и Вронского, – и прослоить все это Фетом типа восторженно-свежего «я пришел к тебе с приветом...»

Что же выходит из этого всего?

Знаковые строки Мандельштама, вырастающие из контекста одного и только одного Мандельштама и отсылающие к нему же, заряжающие его только здесь-и-сейчас энергетикой, берутся отдельно уже как знаковые скрипично-ключевые строки, определяющие абсцисс-ординатные параметры сознания современного интеллектуала, неперенные слагаемые его «базового языка» – и сопрягаются с другими такими же, погружаются все разом, «гуртом и гурьбой», в поле совсем другого, казалось бы, говорящего совсем наперекор, но столь же базово-составными слагаемыми сознания русского интеллектуала, поэтического дискурса (если дискурс вообще может быть поэтическим, то это только к Бродскому, с его непрерывным языковым смыслоходом, идущим разве лишь от «Рождественской ночи» Пастернака, превращающей таинственным образом, ничего не делая, кроме записи слов не в строчку, а в столбик, абсолютную прозу в абсолютную поэзию, и относится).

Но у гения смысловых вспышек грамматико-поэтическая структура не так уж и важна. Его кристаллическая решетка чаще всего совсем не виртуозна. Потому что структурно-смыслово значимы только эти вспышки, озарения. Они – не заданы заранее. Они могут быть, а могут не быть. А если они и есть – они непредсказуемы. Поэтика Мандельштама предельно рискованна – только музыка погони за смыслом, наполняя его строки светом и силой, одухотворяет и преображает их. Нет вспышки, открытой и перекрытой смысловой бездны – нет ничего. Лишённая преображающего света, за вычетом «высокой болезни», его поэтика вполне традиционна, не претендует на какое-либо новаторство, да и вообще она не слишком изобретательна. Обычная строфика, часто бедная рифмовка, да к тому же ещё и глагольная, имеющая плохую репутацию, тугеее монотонное дыхание. (Тут я сам себе начну приводить контрпримеры: «Цыганку», там, или «Александра Герцевича» и все такое – но что с того, я уже говорил, что принимаю во внимание лишь преобладающую – в моем, конечно, восприятии – тенденцию.) Только свет нежданного, непредсказуемого смысла исполняет музыкой его мир, делает певчими его бесчисленных птиц, жужжащими его стрекоз, летуче-лёгким его тяжёлый стих, моментально узнаваемой его интонацию.

Между этими двумя я вижу лишь одно общее (хотя сказал это только один из двоих, но и второй мог бы подписаться под этим): поэзия обоих имеет в равной степени терпкий, острый, всегда узнаваемый «привкус несчастья и дыма» – и в равной степени сама вторгается в душу читателя, так что и просить не надо: «Сохрани мою речь...» – сама собой сохраняется, запоминая моментально, сколь бы малопонятна с первого раза ни была. И Стародубский это подтвердил, возможно, полусознательно, сохранив речь того и другого. В том-то и фокус, что он стремится изначально игровой центон использовать в совершенно серьёзных целях – ведь перед нами реквием, а не примочки с прибамбасами, не феньки с мультками.

Это – все. В остальном соединить их – ... Еще Надежда Мандельштам писала, что любить одновременно Мандельштама и Хлебникова невозможно. Ну, Хлебников – он Хлебников и есть, он вообще стоит особняком – от всего и всех. А вот любить одновременно Мандельштама и Бродского – это...

Но русский человек на randevу с Культурой и не то может вместить в свою расширенную, безмерную (и безразмерную) душу. На всей земле, от самой Москвы до самых Петушков, для него «нет ничего, что было бы слишком многим».

А, собственно, варум бы, как говорится, да и нихт? Произведение двух положительных чисел просто обязано дать большее положительное число. Произведение двух художественных миров должно, соответственно, дать мир сверхвысокохудожественный, мир уже не планетарный, а галактический. Это кажется аксиомой. Один мой друг, любящий поест, человек в этом плане широкообъемлющий, говорил: «Не может быть, чтобы блюдо, составленное из любых, но высококлассных продуктов, не было бы совсем высококлассным». Это как сказать. Бельгийская кухня, где мясо и устрицы тушатся вместе в густом и сладком пиве, это подтверждает. Но в литературе – не всегда получается. Нельзя безнаказанно сливать два художественных мира.

Между прочим, центон центону рознь. Не говоря уж о том, что центон не с Ерёмченко начался. Где-то в начале истории русского центона стоит человек, менее всего расположенный быть отцом постмодерна.

Вот общеизвестная строка. Это строка Жуковского из стихотворения, написанного ко дню свадьбы его воспитанницы и родственницы Саши Протасовой.

Вот она: «Гений чистой красоты».

Пушкин потому и не закавычил ее в своем стихотворении, что всей читающей публике она была известна как строка Жуковского. То есть поступил, как Еременко или Кибиров.

Но, в отличие от последних, этот центон поднял весь остальной авторский текст, все равняющиеся на него предыдущие и последующие строки, задав им высоту и насытив их величавостью, «маньера гранда» рафаэлевой классики. Одно пришлось впору другому, совпав в общем для обоих высоком тоне. Центон есть, а постмодерна – отнюдь нет.

Да, гряло-гряло великое упрощение. И грянуло. И маскультура приветствовала его – сначала изнасилованная им, а потом, привыкши к своему насильнику-хозяину и полюбив его, как в «Ночном портье»; а еще потом, когда пришла свободоушка, запела добровольно, свободно расправив грудь, голосами уже новых кумиров, всех освобожденных от всяческих цепей и оставивших себе только золотые цепочки Басковых и Шуфутинских. Потому что уже и не знала, и не хотела другого – а то и знала и хотела бы, да выбрала это. Публика ждет, шоу маст гоу он. Невыносимый, презренный официальный сов-времен песняк вроде «Я, ты, он, она..» – или «Наша родина – революция», переселив душу, обернулся двумя притопами-тремя прихлопами невыносимой, презренной попсы, советское холопское кино типа «Освобождение» и «Солдаты свободы» – сотнями невыносимо пошлых киносериалов.

Но укромно укрытый среди масс одиночный носитель Культуры высокой – выживший и при терминаторах российский интеллекул – остался. И всем естеством своим решил защитить Культуру или по крайней мере защититься от масскульты самому. Потому что он сам и есть – порода, культура; что же еще ему оставалось?

Отважен он же стал Человек Культуры потому, что прежде всего – боится. Он хочет защититься от падения в болото упрощения, масскульты. И вот он строит бастионы и брустверы. Блиндажи в три наката. И чувствует сознательно-бессознательно, что два, три, восемь бастионов, выстроенных им из высочайших созданий Культуры, одновременная стрельба из всех культурных орудий по попсе будет всего вернее. Массивный артобстрел масскульты.

Но страх, по слову св. Иоанна Богослова, изобличает несовершенство любви. Вот на наших глазах свершается алхимический брак главных культуроробожеств, и искрятся шампанские пузырьки реакции. Текст зажигается пламенем горячей души его написавшего, и температура держится энергией используемых как топливо чужих слов и интонаций. А далее...

Воспользуюсь мыслью Розанова о двух линиях в русской литературе: пушкинской гармонически-созидающей и гоголевской дисгармонически-умерщвляющей; мысль, как всё гениальное у Розанова, как его единственный в своём роде антисемитизм-филосемитизм, односторонняя и взъерошенная – но хромает она не на обе ноги. Вот и в моей душе Мандельштам и Бродский отмечают эти два полюса, созидательный и разрушительный. И будучи всего лишь слабым человеком, то есть судя другого, как водится, по себе, полагаю, что то же место они занимают и в восприятии Стародубского, думал он об этом или нет. Разумеется, я могу ошибиться, более того, я наверняка только и делаю, что ошибаюсь – как всякий, кто делает. Кто занимается делом писания, начинающимся вообще с обострения, с приступа большой субъективности и кончающимся закономерно – полным субъективизмом. Тут почти нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную глухоту. Риск есть; тем более велик он, когда покушаешься на свои же святыни.

Но куда деваться? Как известно, риск – благородное дело. И вот я, воспроизводя известную русскую парадигму дурака, которому досталась умная голова, продолжаю ошибочно, но упорно думать, что Стародубский хотел, сознательно или нет, извлечь электричество поэзии, подсоединив друг другу полюса своей души, созидательный и разрушительный, которым соответствуют один и другой его любимцы. То есть он хотел извлечь высоковольтную энергию из физического контакта положительного и отрицательного полей художественного смысла. А контакт (непредсказуемая все-таки штука вообще это занятие – попытка сочетать слова венчанным браком, и приводит к самым невозможным последствиям) получился не физический – химический. Чем далее, тем сильнее соляная кислота Бродского нейтрализует щелочь Мандельштама, его едкий натр – и пламя гаснет.

Хочется, ох, хочется крикнуть: «Пиши своими словами из своей души!»

Сколько можно выговариваться чужими словами? Дашь свои.

Да-а? Свои-и?

Да любое сказанное сегодня слово – свое ли? И наоборот – а что, если гениально, абсолютно

точных словесных носителей-выразителей ума холодных наблюдений и сердца горестных замет в гениально точных словесных формулах накопилось уже столько, что их достает на все возможные состояния ума и сердца, что комбинацией чужих слов куда точнее, чем своим доморощенным словом, можно и нужно выразить самое что ни на есть свое-пресвое чувство или мысль? Это уже не чужие слова, это уже терминология, которую можно и должно использовать, тем более, что художественная терминология, подвижная и податливая, позволяет играть ею как хочешь.

Может такое быть? А почему нет. Еще как может.

Что, если своя душа неизбежна, а свои слова – избыточны? Если мы в блокаде чужих слов, куда как лучше выражающих нашу душу, чем наши собственные? Что, если человек, подошедший к себе вплотную, увидел – все его чувства уже описаны, мысли изречены, и лучше всего выразить себя, орудия чужим, но комбинируя его по-своему? Как в шахматах – ну нет, нет никакого начала, кроме чужих дебютов, никакой защиты, кроме защиты Филлидора или староиндийской защиты. И свое – это только *по-своему разыгранная чужая* защита, по-своему интерпретированное чужое. И нет ничего нового под солнцем.

По существу, центон играет важную роль в выработке защиты не Культуры, но людей Культуры. Возведение крепостной стены, отделяющей людей Культуры от массы-попсы. Мастер игры в центон (что предполагает немалую эрудицию, хороший вкус, некоторую стильность и вообще ощущение языковой стихии как своей, родной) всегда будет корреспондировать только со своими, понимающими и умелыми. Это литературный джаз, словесный джем-сешн виртуозных импровизаторов на заданную чужую тему; это новая Кастилия новых игроков в бисер, который надежно защищен от свиней уже тем, что те не знают, не умеют – и не поймут. Не затопчут незамеченное культурно-игровое поле. Конечно, есть разница: гессевская Кастилия субсидировалась государством. Простые налогоплательщики, видимо, не возражали; значит, они понимали, кто они, а кто – Мастера Игры. Всяк сверчок тихо-мирно сидел на своем шестке. Быть членом общепризнанной человеческой элиты, попасть в члены ордена, имеющего высокий статус, охраняемого просвещенным государством, лестно и комфортно. В современной действительности – не так. Новая Кастилия отнесена на обочину жизни. Знают и почитают ее только сами участники игры в центон и их немногочисленные читатели. Вместо комфорта – трудное выживание. И все же – лучше умереть мастером Игры, мастером Культуры, чем жить с гурьбой и гуртом в низовом масскульте, когда, по счастливому слову Мережковского, «**пошло то, что пошло**».

Ну так и что же плохого в таком случае в хорошей, мастерской игре в центон? Да ничего. Все хорошо или очень хорошо. Вот какой-нибудь Ли Бо через сотни лет использует центон-строку... ну, там, я не знаю, Тао Юань Мина или, там, Бо Цзюй-и – и это не вторичность, а великая традиция многотысячелетней китайской поэзии – переключка двух голосов сквозь столетия, культурная память-живое-сегодняшнее-сквозь все-сегодняшние-века продолжение традиции – продолжение культурной жизни.

Аллес ист мёглих. Да только то, что серьезно у китайцев, вовсе не обязательно, да просто не всегда и может быть серьезным у европейцев – а у русских с их гениальной релятивистской половицей, опередившей Эйнштейна невесть на сколько веков: «Закон что дышло – куда повернул, туда и вышло», – у русских и вовсе серьезным быть не обязательно. Если они кого цитируют, то чаще всего не для продолжения культурной памяти, а – для прикола. Слово «прикольно», которое за последний год навязало у меня в ушах, как ни одно другое, сегодня является не определителем одного из видов комического, а просто главным комплиментом всему чему угодно; например, мне несколько раз говорили за последний месяц: «Прикольная у вас экскурсия была. Здорово. Спасибо». Между тем города Брюгге и Страсбург или Рембрандт и Вермеер в амстердамском Рейксмузее совсем не располагали меня к «прикольности» разговора. Вроде бы я говорил всерьез. Совсем. И картина «Еврейская невеста», и картина «Служанка, наливающая молоко» написаны всерьез – и довольно надолго всерьез.

Постмодерн мертв, а центон еще нет. Потому что он играет другую, чем раньше, роль. Потому, что сейчас идет другая пьеса. В которой центон играет роль не отстранения, не неожиданного облома знакомой строки, поставленной в незнакомый контекст, а – культурной защиты от варварски-агрессивного нападения.

Ей-богу, я готов это принять. Отдаю должное искусству. Тема раскрыта. Мысль воплощена. Однако пепел нового Клааса напрасно стучит в мое глухое сердце, так и не «пробитое» – по Достоевскому – этим искусным сочинением. Тут кончается искус центона – потому что в нем не дышат почва и судьба.

Почему музыкальный джем-сешн был и остался интересен и питателен, а словесный – все меньше и меньше? Кто ж его знает... Знаю одно – есть, есть «ценностей незыблемая скала», слову дан особый закон, ему изначально дана некая высшая мера, от него упорно ждешь чего-то такого главного, что им нельзя долго играть безнаказанно – оно обесценивается. Точнее, им можно и нужно играть сколько угодно, но только в том последнем смысле, в котором «достигается потом и опытом неподкупная неба игра».

Лучшая защита – нападение. И стихотворение – применим тут слово Мандельштама из «Разговора о Данте» – «орудийно». Многоорудийно. И использование чужой речи как части речи своей – одно из главных его орудий. Оно безотказно очерчивает территорию Культуры и выбивает любого возможного неприятеля за черту, за бугор. *Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим.* И в каждой бомбе – как пели по дворам когда-то, переиначивая взрослую американскую песню на свой подростковый лад – шестнадцать тонн. 16 тонн центона.

Но в обороне и нападении, в борьбе за воздух прожиточный мы забыли свое назначение и ушли от него за угол, в углы, откуда выступают угланы.

Ушли от любви к настоящему делу художественного слова. Его дело – послание. Слово этого послания – называние. Вызывание еще одного голоса из тьмы безымянного.

Снова и снова : дело художника слова – называть. Называть все неизреченное в нас и вокруг. Пусть мысль изреченная будет – ложь. Чтобы установить истину, надо сначала обозначить и изречь, а уж потом другие оспорят. Было бы что оспаривать. Вызвать, не заклиная, не духов, а Духа из кромешной тьмы неназванного, а тем самым как бы и не существующего. Собственно, всего и делов-то у словесника – быть приёмником не слышных, но существующих в безымянном имен, превращать мрак в свет опознанной местности, сотворенной Богом, отданной для освоения в себе и вокруг – нам. Быть участником, известным или неизвестным (по большому счету это едино) солдатом, выполняющим на своем месте Божий приказ о продвижении к тому, что есть – на самом деле. *Кто есть на самом деле.*

Вглядеться, вслушаться. Забыть о своем, сказать свое слово как «общее место». Забыть о защите святых хоругвей Культуры, о Бродском, Мандельштаме. Забыть их всех (сохранив в памяти сердца). Вглядеться, прислушаться к себе и вокруг – и оно выйдет из немеющего времени мученика светотени Рембрандта. Он назвал его, это время, и оно стало говорящим.

Услышать и назвать. Одной из условных единиц немоты и темноты – станет меньше. Одной из единиц абсолютного измерения зияющей темной дыры вселенной в тебе и вокруг – больше. Мы отвоевываем по частицам – Богом созданную, но не названную, предоставленную человеку сделать это – вселенную. Или по крайней мере – землю, стоившую нам десяти небес. Не для Него, Он и так все знает – для нас.

Странно, но это значит все-таки – и для Него тоже. В этом деле Он положился и надеется на нас. Он ни в ком и ни в чем не нуждается, Он единственный, кто самодостаточен в точном смысле слова – и все же нуждается в нас; робко-робко дерзну сказать, что Он – зависит от нас, как все любящие от своих любимых. Он же нас – любит...

Можно ли это сделать чужими словами, комбинируя их по-своему? «Вторичной поэтической речью»?

Если да, то центон навсегда останется частью речи подлинного искусства. Если нет – значит нет. Это вопрос. Для меня, во всяком случае.

Я не знаю ответа.

Все мы пишем чужими словами – ведь слова, если они не наши собственные неологизмы, созданы до нас.

И грамматика, и синтаксис образовались до нас. И все равно мы пишем – своими словами. Потому что до нас бывшие слова, и порядок их – нам завещаны *как свои*.

Но маркированные чужие слова – уже выработанная порода. Это уже вырвано у немоты.

Так можно ли... А точнее – можно, но стоит ли игра свеч?

Еще раз – не знаю.

Вот и эти заметки... Оглядываясь на сказанное выше за и против центона, вижу, что текст весь полубессознательно исцентонен – в том числе цитатами, прямыми или обыгранными, из тех, кто упоминается здесь чуть ли не снисходительно. Зря я это. Но без вредных привычек, похоже, не обойтись, они – вторая натура... *Прикольная*, скажу я вам, ситуация.

ВРАЩАЯ РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГЛОБУС

Продолжение¹

Мы уже давно в Европе – но нигде, как говорится, конкретно. В любой стране, с крайнего востока и до крайнего запада. И везде мы находим следы (и последствия) могучей европейской культуры, которая и сформировала современный мир. Весь мир, это не преувеличение. Исключением могут быть лишь закрытые от цивилизации внутренние долины Новой Гвинеи или Амазонии.

Наиболее закрытая от внешнего мира культура – китайская – смогла выйти из жестких рамок и интегрироваться в мировую культуру. Поначалу – через фильмы кун-фу, дальше – через совместное производство. Результатом было возникшее понимание того, что и у европейцев, и у японцев, и у китайцев – общее для всех понятие чести. Это немало – хотя бы для того, чтобы поддерживать отношения и иметь тему дальнейших переговоров.

Иной облик имеет мусульманское сообщество в Европе. В одной Германии – два с лишним миллиона турок, и никто не может сказать, что они интегрированы в немецкое общество. Боже, какую критику вызвало в свое время предложение заставить их признать «немецкую ведущую культуру» – «Deutsche Leitkultur» – в качестве основы интеграции! Или уж совсем недавно: «красно-зеленые» проблему заболтали, что привело вместо интеграции к формированию параллельных сообществ. Теперь все стало гораздо сложнее... Интеграция – «священная корова» и «красно-зеленых», и «черно-красных», привела не просто к нулевому результату – она вызвала образование в Германии новых точек противостояния. Параллельные общества не слишком просто преодолеть и подчинить влиянию власти – это не какие-то временные группировки. Когда на переговорах Ангелы Меркель в Турции идет речь об ускоренной интеграции двух миллионов турок в германское общество, ни у кого толком нет понятия, в чем же должна эта интеграция состоять. Арабские исламистские идеологи, поощряя иммиграцию, утверждают, что переселенцы из арабских стран должны отрицать европейскую культуру и создавать свое общество, базирующееся на традиционных, «священных» мусульманских ценностях. Главный довод: оно распространится по всей Европе, если не убеждением, то силой. И когда министр Шойбле заявил, что предпочел бы разговаривать с мусульманскими женщинами, когда они не заматывают голову в непроходимые тряпки, реакция была немедленной – и жесткой. Не троньте, дескать, не ваше дело!

Давний опыт – я сразу чувствую, когда меня воспринимают как «чужого». Не обязательно иностранца – иностранец может быть и своим, близким по духу. Есть ситуации, когда ты действительно «чужой» – и тогда лучше смяться. Так было всегда, когда вокруг были мусульманские молодые люди, толпящиеся у немецких вокзалов. Пара арабских фраз меня спасала – другие же становились жертвой абсолютно хулиганского грабежа.

«Brother, can you spare a dime?» – вопрошает огромный негр, попавшийся тебе навстречу в Сентрал-Парке в Нью-Йорке. Даст Бог, обойдешься кошельком. Опустошенный, идешь, и в голову приходит перевод. «Песня американского безработного», Леонид Утесов: «Вы мне говорили

¹ См. №№ 6, 7, 8.

– я ваш брат, – дайте ж мне хоть что-нибудь». Дал. Но ситуация другая. Расовая проблема и расовые разногласия – какие бы причудливые формы они ни принимали в условиях нынешней предельно политкорректной Америки – это всё-таки специфическое дело Америки. Никогда чернокожее население не претендовало ни на первенство в преимущественно белой Америке, ни на какую-либо особую компенсацию за «притеснения в прошлом». И тем не менее – во многих городах, особенно пригородах, – «проблемный контингент». Причина – гетто, «параллельное общество».

Можно ли говорить об успешной интеграции иностранцев в Европе, пока такие сообщества определяют их жизнь? Кто из них, за исключением единиц, сможет на внятном языке заявить о своем принятии «немецкой ведущей культуры»? Подучив немножко турецкий язык (не такой уж сложный), задавал вопросы немецко-турецкой молодежи: как вам нравится Орхан Памук? Никто даже имени не знал, хотя этот писатель является гордостью современной турецкой литературы, лауреат многих престижных премий (в том числе Нобелевской 2006 года), переведён на десятки языков мира. Его хорошо знает германская публика; турецкая публика в Германии о нем и не слышала. Наконец, совершенно заслуженно, он получил Нобелевскую премию по литературе 2006 года.

Возможно, мне не повезло. Наверняка есть и германские турки, находящиеся в курсе крайне интересного турецкого литературного процесса. Не отвык от российских мерок, когда все новинки читали в метро и обсуждали на кухне. Впрочем, турецкая литература, со времен Яшара Кемалю и его романа «Тощий Мемед», то есть с 50-х годов двадцатого века, уже не воспринималась как нечто отсталое. Впрочем, ни о Яшаре, ни о явном футуристе Назыме Хикмете (мне удалось раз с ним встретиться), ни о блестящем новеллисте Ханчерлиоглу не слышали мои турецкие собеседники. Я могу себе представить, что это в принципе не читающая публика, ориентированная больше на базар, на куплю-продажу и обеспечение семьи. Почему же тогда на улицах немецких городов так много мусульманских дам в традиционных одеяниях, почему дети, толпящиеся вокруг них, не в школах, не в детских садах?

Их туда не пускают. Есть домашнее образование, мусульманские страны выпускают огромное количество книг для детей. Например, сказку «Злодей Шарон». Ну, сказка и сказка, добро побеждает зло. И послесловие: «События книги связаны с персонажем по имени Шарон, который символизирует правителей Израиля. Это образование было создано посредством изгнания палестинского народа с его земли – народа, обладавшего своей историей, своими ценностями и своей культурой. В Палестине поселились изгои со всего мира, между которыми нет никакой связи, кроме жажды крови, желания убивать, разрушать и распространять коррупцию по всей планете. Настоящие герои книги – это дети Палестины, которых сионизм лишил спокойной и достойной жизни...»

Борьба культур. Или противостояние культур; или, возможно, взаимодействие? Вся история Европы насыщена именно этим содержанием, противостоянием и взаимодействием культур. Крито-микенская культура дала мощный толчок Древней Греции, завоевания Александра, столкнувшегося с Востоком, породили эллинистическую культуру, в позднем Риме, завоевавшем Грецию и все ее владения, греческий язык стал языком интеллигенции... и торговли. При этом Рим, изначально политеистический, впитал в свой обиход и египетских, и сирийских, и малоазиатских, и даже персидских богов. Храмы Адониса, Астарты, Митры сосуществовали наряду и даже рядом с храмами исконно римских богов. И посещали их отнюдь не только иностранцы – напротив, по большей части римляне. Митра, индо-арийский солнечный бог, впитавший в себя дуалистическое мирозерцание зороастризма, в первом – втором веках нашей эры получил особенную популярность в легионах на западе империи, практически полностью вытеснив традиционный пантеон. Храмы старым богам строились, но почитались не больше, чем мавзолей Ленина в наше время. Считалось, что Митра приносил победу – так оно, в общем-то, и было, это был высший период подъема империи, и противостоять ей не мог

никто. А на востоке империи место греческо-малоазиатско-сирийско-египетских богов, равно как и недоступного для иностранцев еврейского Яхве, все больше занимал Иисус Христос. Мы все знаем о преследованиях ранних христиан в Древнем Риме, об их несчастной судьбе в гладиаторских цирках. Впрочем, речь шла тогда преимущественно о «еврейской секте», которая демонстративно ставила своего единого Бога выше всех других богов, в том числе и римских. Это было непростительно в тогдашнем обществе, политеистическом в своей основе, и на этой основе принимавшей и чуждых богов – неприемлем был лишь единый Бог, заменявший и устранявший всех остальных. Яхве, единый – такого не может быть, значит – надо подавлять его сторонников. Это было не так уж и сложно, судьба Иосифа Флавия убеждает. Но это всё-таки касалось евреев, жалкого меньшинства не в империи – а в Риме, где лишь очень немногие евреи обрели права гражданства.

Иудаизм в Риме так и не получил сколько-нибудь широкого распространения, во всяком случае, сведений об этом нет. А вот христианство – с регулярной заменой легионов – распространялось всё шире, и митраизм, по сути дела, остался верой римских ветеранов на западе. Впоследствии он оказал влияние и на христианство, вместе с восточным же манихейством породив ересь катаров, или альбигойство. Впрочем, до этого оставалось еще целое тысячелетие. Так или иначе, Рим стал христианским, и даже мощные конвульсии многобожия (в лице, скажем, Юлиана Отступника) ничего не смогли изменить.

Впрочем, о каком Риме мы говорим? Великое переселение народов начала первого тысячелетия смешало все геополитические представления того времени, и уже не западные легионы, а свирепые готы, выросшие и окрепшие в причерноморских степях, определяли судьбу будущей Европы. Споры о том, как готы, германские племена, оказались на нынешней Херсонщине, продолжаются до сих пор; так или иначе, им не было никакого дела до зарождавшихся на севере славянских племенных объединений, обычно обозначаемых как «анты». Думаю, что и анты, когда готское войско пошло на Запад, постарались остаться в стороне. К великому походу присоединились многие – кто-то оставил след в истории, кто-то из нее исчез – до того времени, как дотошные студенты, в условиях длительного и гарантированного мира, попытаются восстановить то, что было или, хотя бы, похожее на то, что было.

Мне не нравится принятое в германской исторической традиции и по-обезьянью воспринятое российской историей разделение готов на «восточных» и «западных» – остготов и вестготов. Языки готов достаточно хорошо изучены; известен и перевод Библии на готский, великий труд, автором которого был епископ Ульфила. Это единственный убедительный памятник древнего готского языка, так называемый «Серебряный кодекс», других не сохранилось. Разделение на «остготов» и «визиготов» не имело этнического смысла, просто были разные вожди, в разное время имевшие преимущественное влияние.

Готские племена, начавшие движение на Запад, очень скоро подверглись давлению совсем уж чуждых гуннов, никак не признававших европейские традиции воинской чести. Сила гуннов была столь убедительна, что готы буквально побежали на Запад – и в этом движении сокрушили беспомощный Рим. В 410 году н. э. король визиготов Аларих разрушил Вечный город. Впрочем, визиготы достаточно скоро объединились с римским полководцем, «последним римлянином» Аэцием, чтобы победоносно противостоять ордам Аттилы в знаменитой битве на Каталаунских полях. Может быть, уже тогда это была «битва народов». Вовсе не только римляне в ней участвовали – и готские отряды, и соседи-германцы, и галльское ополчение из соседней – будущей – Франции. И даже далекие по происхождению аланы, народ скифо-иранского происхождения, предки нынешних осетин и карачаевцев. Их движение далее на Запад (вместе с вандалами, другим германским племенем) можно проследить по некоторым топонимам и в Испании, и в Северной Африке, и на близлежащих островах. Вандалы же – вовсе не «вандалы». В 455 году они действительно захватили Рим, но, по сравнению с грозными предшественниками, совсем немного пограбили, оставив город практически нетронутым. Имя стало нарицательным

лишь в XVIII веке, «вандализм» до сих пор не имеет никакого отношения к вандалам, народу вполне цивилизованному. Была и «Империя вандалов и аланов» в Северной Африке, безжалостно разрушенная византийским императором Юстинианом в начале шестого века нашей эры. Можно лишь предполагать, что поводом к нападению было арианство вандалов – ересь, подвергшаяся осуждению еще на Никейском соборе в IV веке.

Готы основательно изменили этническую карту Европы – прежде всего потому, что их движение с востока (под давлением совсем уж чуждых гуннов) вызвало и переселение других народов, по большей части германского же корня, в первую очередь лангобардов и франков. Было дело – остроготы завоевали всю Италию, основали королевство со столицей в Вероне. Победоносный Юстиниан разгромил их, и на освободившееся место пришли лангобарды, ставшие одними из предков нынешних итальянцев. Визиготы двинулись дальше на запад, завоевали Аквитанию и почти всю Испанию, вытеснив или растворив в себе немногочисленное галльско-римское население. По их следам шли другие германские племена – англы, саксы и юты добрались до крайнего запада континентальной Европы и оттуда покорили Британию; выжившие после жестокой резни кельтские племена бриттов частью пребрались на континент и заселили полуостров Бретань; франки перебрались на левый берег Рейна, в нынешнюю Бельгию и Голландию, и постепенно дошли до Парижа, который в 508 году стал столицей франкского королевства. Незадолго до этого франкский король Хлодвиг I из династии Меровингов разгромил последние римские легионы в Галлии, и Западная Римская империя окончательно перестала существовать. Впрочем, даже не сама империя – лишь последние о ней воспоминания... Рим уже давно был не светской, а духовной столицей западного мира, престолом Папы Римского, и само название «Рим» связывалось уже не с грозными императорами и полководцами, а с волей «наместника Божьего» на земле. Движение готов на запад было мощным и убедительным, вызвав явление, названное впоследствии «великим переселением народов». Возможно, кочевники-гунны это движение подтолкнули, но причерноморские готы были явно к этому готовы. Лишь крошечная часть их осталась в Крыму до XII века – упоминания об этом есть в древнерусских письменных источниках. Именно в это время европейский мир столкнулся с понятием «готика», «готический стиль». Как ни странно, к готам как таковым это не имеет ни малейшего отношения. В Западной Европе их в то время уже не было, в одной Испании остались кое-какие следы в языке и в популярных личных именах, таких как, скажем, Родриго, Гонсало, Гарсия.

Дело в том, что в итальянском языке того времени слово *gotico* означало «варварский», «непривычный», и впервые его употребил знаменитый Джорджо Вазари для того, чтобы отделить эпоху Возрождения от Средневековья (оно-то как раз и было сочтено «варварским»). В само же время строительства Шартрского, Кёльнского или собора Парижской Богоматери никто этого термина не употреблял... Значительно позже, в последней трети XVIII века, появился «готический роман» (Х. Уолпол, А. Радклиф и др.) – жанр завоевал поклонников и продолжается до сих пор. В наше время есть и «готические фильмы», и «готик-рок», и целая молодежная субкультура, наследница субкультуры панков. Ее сторонники ничтоже сумняшеся именуют себя «готами», не имея ни малейшего представления, кто же это такие были. Впрочем, не исключено, что кто-то и заинтересуется.

Королевство визиготов было первым в Европе, подвергшимся нападению арабских завоевателей в начале VIII века. В 711 году семитысячный отряд арабов и берберов под командованием Тарика ибн Зияда переправился из Африки и под Хересом разбил наспех созданную армию последнего визиготского короля Родериха (Родриго). Сам Родриго бесследно пропал во время битвы, остатки армии под руководством герцога Пелайо отступили далеко на север. Арабы, не встречая организованного сопротивления, захватили Кордову, столицу королевства Толедо и множество других городов. Визиготская Испания пала. Пелайо добрался до предгорий Пиренеев и там основал маленькое королевство Астурию. Укрепив ее, он успешно отразил экспансию

арабов, или, как их тогда называли, мавров в битве при Ковадонге – это было в 718 году, и с этого момента начинается Реконкиста (отвоевание), продолжавшаяся восемь столетий...

Правившая во Франции династия Меровингов не смогла эффективно сдерживать продвижение мавров в Европу. Они осадили Тулузу, захватили крупный город Нарбонн, часть Прованса (Арль им отдали соперничавшие с Францией бургундцы), Балеарские острова, Мальту, Сицилию, юг Апеннинского полуострова... После смерти основателя династии Хлодвига I Меровинги все больше и больше забрасывали государственные дела. Их любили и почитали в народе, некоторые были даже причислены к лику святых, но править страной они не умели и не хотели. Все заботы были возложены на майордомов – фактических правителей Франции. Один из них, Карл Пипин по прозвищу Мартелл – «молот», сыграл особенно выдающуюся роль в истории. Он провел военную реформу, в результате которой появилась тяжелая конница, ставшая прообразом европейских армий в последующие века. Когда в октябре 732 года арабы разграбили Пуатье и Тур, Мартелл выступил им навстречу. Битва длилась весь день с преимуществом для франков; решительной победы все-таки не удалось достичь, но наутро арабская армия бежала. Мартелл стал развивать успех, и вскоре очистил от захватчиков всю страну вплоть до Марселя. Больше арабы не предпринимали походов против Франции. Их продвижение было убедительно остановлено, и это ознаменовало собой важный этап в европейской истории.

Последний Меровинг, Хильдерик III, умер в монастыре, куда его заточил майордом Пипин Короткий, сам с согласия Папы Римского ставший королем Франции. Перед заточением Хильдерик устрил волосы, лишив его тем самым королевского достоинства – все представители этой династии носили необычайно длинные волосы, иногда достигающие до колен, в то время как придворные и простолюдины должны были их стричь. Об этих «длинноволосых королях» существует множество преданий, в том числе и о чудесах, которые они творили – исцеляли больных наложением рук, обладали даром ясновидения, могли зажигать свечу взглядом... Современный вариант легенды, согласно которой Меровинги произошли от Иисуса Христа и Марии Магдалины, изложен в нашумевшем романе Дэна Брауна «Код да Винчи». Известна и реальная история: Архиепископ Реймса Святой Ремигий (по-французски Сен-Реми), обративший язычника Хлодвига в христианство, предсказал, что его династия будет длиться до конца света. Но ведь последний король из этой династии умер в 751 году! Оказывается, последующая династия – Каролинги – была связана с Меровингами (по материнской линии), и почти у всех последующих королей Франции была доля меровингской крови. И не только у них – у других династий тоже, у испанских Бурбонов, например. И даже у Ивана Грозного и поздних Романовых...

Итак, Пипин Короткий, став королем, основал новую династию, получившую название Каролингов (до сих пор спорят – то ли по имени его отца, Карла Мартелла, то ли – сына, Карла Великого, первого императора Запада со времен падения Рима). Оставалась ведь еще Восточная Римская империя, Византия, где часто и, как правило, насильственным путем менялись императоры, но и после арабского вторжения на Ближний Восток Византия оставалась грозной силой. Тем не менее, императорский титул Карла Византия, хоть и не всегда, признавала. Путь Карла к этому вовсе не был усеян розами – сначала консолидация власти внутри страны, покорение лангобардов, походы за Рейн, против упорствовавших в язычестве саксов. В 777 году эделинги – саксонская племенная знать – на сейме в Падерборне признали Карла своим повелителем. Увы, тут же пришла нерадостная весть – Абдуррахман, халиф Кордовы, стал притеснять арабских князей, союзных христианским государствам Испании. Рыцарская честь повелела Карлу броситься далеко на юг, в 778 году обширная область между Пиренеями и рекой Эбро была присоединена к Франции под названием Испанской марки. Обратный путь ознаменовался трагедией – авангард под командованием Роланда, графа Бретонской марки, попал в засаду горцев-басков и был уничтожен. В знаменитой «Песне о Роланде» говорится о предательстве, о нападении мавров; это скорее относится к поэзии, нежели к действительному ходу событий. Так или иначе, из Испании Карл вновь бросился за Рейн, где опять восстали саксы. Он их разгромил и оттеснил далеко – к берегам Эльбы. Впрочем, восстания саксов

вспыхивали еще чуть ли не четверть века, пока не был заключен окончательный мир. Подчинены были баварцы и союзные им авары – кавказское племя, обосновавшееся за Эльбой в ходе еще Великого переселения народов. Сыну Карла Людовику Аквитанскому (впоследствии Людовик Благочестивый, король Франции) удалось отвоевать у арабов Барселону и Балеарские острова. В результате Карл Великий смог раздвинуть границы прежнего франкского государства на огромные расстояния. При этом я не назвал бы его великим полководцем – не раз и не два он терпел достаточно унижительные поражения, но в конечном итоге всегда приходил к намеченной цели – часто и путем дипломатии.

В 800 году Папа Лев III обратился к Карлу за помощью против восставших римлян. Карл, уже обладавший титулом «защитника папского престола», поспешил на помощь. Подавив мятеж, в первый день Рождества Карл молился у алтаря в соборе Святого Петра. И тут, неожиданно для него (так уверяют хронисты) Папа возложил ему на голову императорскую корону и произнес формулу провозглашения. Скорее всего, сделка была заключена заранее, но хоть маленький-то спектакль быть должен!

Дела огромного государства во времена правления Карла неуклонно улучшались. Административные реформы действовали, налоги регулярно собирались, армия находилась в полном порядке и постоянной боеготовности. С этим правлением связывают и период так называемого «каролингского Возрождения», бурный расцвет образования и культуры. И хотя сам Карл был не слишком грамотен, он предусмотрительно окружал себя лучшими учеными того времени, учился у них и часто прислушивался к их советам. Авторитет его в мире был необычайно высок, к его двору стремились посольства из самых отдаленных стран. В 798 году фурор произвело посольство халифа Багдада Харуна аль-Рашида, когда франки впервые увидели живого слона... Заметьте, халифа, повелителя правоверных мусульман, вовсе не смущало, что Карл – христианский государь, не раз воевавший с арабами. Отношения между христианством и исламом были тогда совсем иными, обе веры чувствовали родство, основанное на единобожии. В то же время и та и другая были абсолютно нетерпимы к язычникам, таким как анимисты – обитатели Черной Африки или фризы, поклонники древней германской веры.

Культурные контакты мусульманских и христианских государств были весьма интенсивными, и уже в раннем Средневековье изучение арабского языка в европейских монастырях, а впоследствии и университетах, было обычным делом; впрочем, как и изучение латыни и греческого в восточных центрах науки. Война постоянно шла лишь на территории нынешней Испании, но она вовсе не носила характера столкновения религий – со стороны крепнущих испанских государств это было то, что теперь называется «национально-освободительное движение». Впрочем, и термин «реконкиста» – «отвоевание» – вполне исчерпывает этот процесс.

Взаимодействие культур давало удивительные плоды. Нынешние мусульманские идеологи настаивают на том, что именно арабы принесли в Европу более высокую культуру, чем та, которой характеризовалось «мрачное Средневековье». С одной стороны, это действительно так. Но была ли эта культура действительно арабской, или, тем более, мусульманской? Мог ли так быстро развиваться народ, который в седьмом веке, в момент возникновения ислама, только-только выходил из родового строя, из кочевого образа жизни, которого и до сих пор придерживаются бедуины, вовсе не «носители культуры»? Столкнувшись с внешним миром, арабские завоеватели быстро почувствовали эту свою слабость и нашли простой выход – пользоваться знаниями этого внешнего мира, переводя труды ученых Древней Греции и Рима, Византии, привлекая ко дворам халифов еврейских, китайских, индийских, да и европейских мудрецов. Приводят пример – разоренная войнами и безразличием последних визиготских правителей, разбойным наступлением феодального строя Андалусия с приходом арабов превратилась в цветущий сад. На самом деле так и было – восстановился порядок, а для низшего сословия и для крестьян, оставшихся собственностью феодалов (религия здесь уж совсем не имела никакого значения), порядок означал возможность производить и увеличивать свою долю. Арабские

инженеры, научившиеся у византийских, которые, в свою очередь, изучили ирригационные системы Древнего Египта и Месопотамии, смогли уже конструировать и собственные системы, остатки которых до сих пор действуют.

Великая мавританская архитектура. Это повторяется постоянно, и в исторических, и в искусствоведческих трудах. Когда армии Омейядов пришли в Испанию, сопротивление было минимальным, и даже после поражения армии Родериха и горожане, и крестьяне остались на своих местах. «Законную» военную добычу арабы, конечно, забирали, но традиционным занятиям мирных жителей не препятствовали. Где-то наверняка и без всяких инженеров обошлось – визиготское население было в значительной степени грамотным. Их стали называть «мосарабами» – то есть подчинившимися арабам христианами. Сохранившиеся церкви раннего романского стиля арабы превращали в мечети – всего-то и нужно было пристроить минареты. Это и делали мосарабы, многие из которых оказались умелыми каменщиками, участвовавшими в строительстве городов и крепостей юга Испании. Одна лишь проблема – скульптурные изображения святых, а в исламе изображения людей запрещены. Тогда были призваны мастера с Востока, изощренные в скульптурном выражении растительных и геометрических орнаментов. Основательные романские церкви перестраивались долго, а тем временем одна область за другой отвоевывались христианами, и чаша стала склоняться на другую сторону весов. Пришедшие на смену Омейядам Альморавиды, выходцы их Северной Африки, оттеснили христианские армии на север и впервые провозгласили джихад. Мосарабов и евреев насильственно обращали в ислам. Многим удалось бежать на север; до сих пор сохранился мосарабский церковный обряд, своеобразный архаичный язык, существенно отличающийся от испанского. Евреям повезло меньше – на этот раз их насильственно заставляли креститься. Так появились мараны – крещенные евреи, тайно соблюдающие религию предков...

Но был и совершенно обратный процесс. В областях, отвоеванных христианами правителями, воцарялся относительный мир, и арабские поселенцы охотно оставались на своих местах. Еще не было тогда инквизиции, и многие из них сохраняли свою веру. Некоторые – принимали христианство и активно вливались в тогдашнее общество. Названия поселений замиренных арабов во множестве сохранились в Испании – Бенисалем (Дети мира), Бенидорм, Алькантара (крепость) и сотни других. Величие побед требовало соответственного художественного выражения, и, начиная с XII века, строится множество величественных соборов, ратуш и дворцов. Замиренные арабы – их называют мудехар – принимают в этом самое активное участие. Появляющиеся здания уникальны – сочетание ажурной мавританской легкости с мощными элементами готики, романского стиля, а позднее – с мотивами Ренессанса. В Испании это так и называют – стиль «мудехар». Упрощенно – «мавританская» архитектура, хотя на самом деле она таковой не является.

К северу же от Испании и Франции «каролингское возрождение» не получило сколько-нибудь серьезного развития. Империя Карла распалась, превратившись в три крупных государства – Францию, Лотарингию и Германию – впоследствии «Священную Римскую империю германской нации». Разгул «дикого феодализма» превратил и эти страны в пестрый ковер герцогств, графств и прочих владений, зачатую лишь номинально подчинявшихся монарху. Феодалы постоянно воевали друг с другом, что вредило и экономике, и культурному развитию. Впрочем, культура всецело находилась в руках церкви, которая была, вероятно, и крупнейшим землевладельцем. Феодалная раздробленность обусловила и военную слабость Европы, и прибрежные районы все чаще становились объектами набегов норманнов – свирепых выходцев из Скандинавии. Их драккары – боевые суда удачной конструкции, способные плавать и по морю, и по рекам, доходили до Исландии и даже до побережья Америки. По внутренним водам Франции они добрались до Парижа и разграбили его. В 911 году французский король Карл Простоватый уступил предводителю норманнов Хрольфу Пешеходу часть Северной Франции – Бретань и провинции Руан, Кан, Эр, впоследствии получившими название Нормандии. Хрольф (франц. Ролло) вынужден был принять христианство и принести ленную присягу королю. Под христианским именем Роберт

(по прозвищу Дьявол) он стал известен как первый нормандский герцог. Его потомок Вильгельм Завоеватель в 1066 году покорил Англию – с тех пор эту страну никто не смог завоевать.

Норманнские драккары легко проходили Гибралтарский пролив, арабы не смогли им воспрепятствовать. В XI веке они создали сильное норманнское государство в Южной Италии и Сицилии, освободив эти районы от мавров. Добирались они и до Греции, где некоторое время владели Салониками. Нанимались на службу к христианским государям Испании, отважно сражались в битвах Реконкисты. Гвардия византийских императоров практически целиком состояла из норманнов-варангов (русск. варягов). А в европейских хрониках тех времен норманнов, совершавших опустошительные набеги на европейское побережье, иногда называли «руссами» или «русами»...

На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры религиозное рвение европейцев было, по сути дела, главной отличительной чертой европейского культурного ландшафта. Паломничество к святым местам считалось почти обязательным для каждого верующего; такая же традиция складывалась и в мусульманском мире, правда, паломничества в Мекку из-за огромных расстояний в невероятно разросшемся Арабском халифате далеко не всем были под силу. Что же Европа? На всем континенте было лишь одно святое место, Сантьяго-де-Компостела в Испанской Галисии, где, по преданию, в первой половине IX века были перезахоронены останки апостола Иакова. На первом месте как цель паломничества стояла, конечно, Святая земля – Палестина. Удивительно – многие тысячи паломников, в одиночку или группами, достигали святых мест и благополучно возвращались обратно. Даже после арабского завоевания Палестины для паломников не возникло никаких препятствий, и даже пошлина за вступление в Иерусалим осталась той же самой. Византия, хранительница святых мест, потеряла над ними контроль, но сохранила его над Малой Азией, главной своей житницей, через которую шел путь в Палестину. Его охраняли византийцы, и даже для безоружных паломников путь этот был относительно безопасным.

Все изменилось в один день. Нашествие с востока воинственных тюркских племен сельджуков тревожило, конечно, Византийскую империю, но так или иначе с ними удавалось договариваться. Но в конце 1071 года император Роман IV Диоген послал против них огромную армию, почти целиком состоявшую из наемников, – не норманнов, а кочевников-печенегов и половцев. Увы, в сражении под Манзикертом эта армия потерпела сокрушительное поражение, а сам император Роман стал пленником султана Альпарслана. И хоть он его потом отпустил, практически вся Малая Азия была для Византии потеряна. Как были еще раньше потеряны вся Сирия и Палестина, со всеми святыми местами и иудейской, и христианской религиями. Тем не менее, централизованного сельджукского государства так и не возникло, существовали лишь отдельные султанаты, зачастую враждовавшие меж собой, особенно после 1092 года, когда исчезло всякое подобие центральной власти. Были разрушены мусульманскими фанатиками и некоторые христианские храмы, в том числе даже храм Гроба Господня (чуть позже он был всё-таки восстановлен). Какое-то подобие порядков, установленных арабами, еще сохранялось – паломники могли достигать священных мест и посещать Иерусалим, но уже под алчными взглядами новых завоевателей. При этом остался только морской путь – пилигримы, шедшие по суше, легко становились добычей разбойных банд, их грабили до нитки и продавали в рабство. Положение не устраивало ни арабских халифов, ни византийцев. Разговоры о возможном походе европейского рыцарства в Палестину шли уже давно, но Византия, надеявшаяся справиться с угрозой без посторонней помощи, всячески оттягивала этот момент. Развязка наступила в 1095 году. В марте византийский император Алексей Комнин обратился к Западу с просьбой о помощи. В ноябре на Клермонском соборе Папа Урбан II призвал к походу против «неверных». Некоторые считают, что это была самая эффективная речь во всей европейской истории. Во всяком случае, последствия ее были огромными и открыли целую эпоху, названную впоследствии «эпохой Крестовых походов». «Всем идущим туда, в случае их кончины, отныне будет отпущение грехов, – сказал Папа. – Пусть те люди, которые привыкли воевать против своих единоверцев- христиан,

выступят против неверных в бой, который должен дать в изобилии трофеи... Земля та течет молоком и мёдом. Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителем, сражался против братьев и соплеменников. Кто здесь горестен, там станет богат». Речь Папы прерывалась возгласами слушателей: «Dieu le veut!» («Так хочет Бог!»). Тот же лозунг на средневековой латыни: «Deus vult!» стал боевым кличем крестоносных воинов, говоривших на разных языках, но в той или иной мере знавших латынь по церковным проповедям. На этом же языке, не исключено, что с сильной примесью старофранцузского, они и общались между собой. Он получил название «Lingua franca» – не «свободный язык», как утверждали некоторые лингвисты, а совершенно буквально – «язык франков». Лишь в наше время это понятие стало обозначать средство, на котором общаются разноязыкие народы или племена, такое, скажем, как индонезийский язык, ни для кого не являющийся родным, но на котором общаются жители тысяч островов, и на каждом – свой язык, иногда совсем непохожий на соседние!

Собственно, самого понятия «Крестовые походы» тогда еще не было. Называли «expeditio», то есть поход, «iter in Terram sanctam» – «путь в Святую землю», или как-нибудь еще. Термин «Крестовые походы» во Франции появился уже при Людовике XIV, а в Германии его впервые употребил Г. Э. Лессинг.

В августе 1096 года огромное рыцарское ополчение под предводительством герцога Лотарингского Готфрида Буйонского, потомка Меровингов и Каролингов, тронулось в путь. Из Южной Франции пришло войско Отважного Раймунда Тулузского, из Южной Италии – свирепые норманны под предводительством Бозмунда Тарентского, сына великого воителя Роберта Гвискара, и его племянника Танкреда, которому еще предстояло стать героем. Правда, еще до начала большого похода выступил сын французского короля Генриха I Гуго Вермандуа, внук Ярослава Мудрого. Его называли Гуго Великим, но особых подвигов за ним не числилось.

История походов описана достаточно подробно и в хрониках, и в романах, и в исторических исследованиях. Насчет последних – меня удивляет, как это Папа проводил практически марксистский анализ, призывая к прекращению междоусобиц и призывая обратить внимание на Восток с его богатствами? Или это Маркс списал у Папы Римского? Что ни обширное исследование, то персонажи Крестовых походов предстают такими подонками, что сомнение закрадывается – а как же они смогли выдержать десятки жестоких битв и взять Иерусалим, да и всю Палестину?

Потом, правда, они стали Палестину делить на феодальные владения, получать иллюзорные королевские, герцогские, графские титулы. И по инерции, как было принято в Европе, враждовать друг с другом. Лишь предводитель похода Готфрид не принял короны – он настаивал лишь на титуле «защитника Гроба Господня». Правда, вскоре иерусалимский трон всё-таки был занят другим выдающимся руководителем похода, Балдуином Фландрским, а потом сменяли друг друга маленькие и вовсе не заметные в истории короли...

Второй крестовый поход закончился полным провалом, о нем обычно даже и не упоминают. Лишь третий, который возглавили французский король Филипп II, германский Фридрих Барбаросса и английский Ричард Львиное Сердце, остался в истории, в романах, в легендах и фильмах. Султан Саладин, не принадлежавший к царскому или халифскому роду (он и вообще был курдом), сумел объединить разбежавшуюся после тюркского нашествия державу и наносил одно за другим поражения неокрепшим крестоносным государствам. Иерусалим, захваченный во время Первого похода, вновь был в руках арабов. Крестоносцы осадили мощную крепость Акру (совр. Акко), но они и сами со всех сторон были окружены войсками Саладина... Французский король уже вел тайные переговоры о снятии осады, и в этот момент прибыл Ричард со своей армией – он задержался на Кипре, который успешно отвоевал у племянника византийского императора Исаака Комнина. Тот потребовал, чтобы его не заковывали в железные кандалы – это не подобало императорскому достоинству. Впрочем, Ричард сначала отпустил его на свободу;

когда борьба за трон вновь оживилась, новый король Кипра заковал несчастного претендента в серебряные цепи и сослал его в отдаленный замок в Сирии. Эти замки мы можем видеть до сих пор – нетронутые и неприступные. Ричарду удалось сорвать заговор потерявших мужество крестоносных властителей – и он начал войну, которая с самого начала была безнадежной. Он отвоевал Акру, но она стала последним бастионом крестоносцев в этом походе – и в последующих. Ричарду, талантливому военачальнику, удалось взять Яффу и даже Аскалон – но все пришлось потом отдать армиям Саладина. Едва ли он легко отдавал свои завоевания; тем не менее, Ричард был воином, воителем – как и противостоявший ему Саладин, его злейший враг. Тем не менее, Ричард посылал Саладину дорогие доспехи, а Саладин Ричарду – экзотические фрукты к столу и даже корзины льда, в которых их можно было хранить. Они, по слухам, даже встречались – и никто из них не боялся измены, рыцарская честь была превыше всего. Сейчас ничего от рыцарской чести, даже приближенной к понятиям Второй мировой войны, на Ближнем Востоке не осталось. Обмануть «неверного» – вот это «долг чести». Данное слово – не сдержать. Можно даже клясться Аллахом, но в сделке с неверными это не имеет никакого значения... Нужно иметь за собой очень серьезную силу, чтобы совершить солидную сделку в арабском мире. Весьма богатое российское финансовое сообщество не имеет никакого веса в арабском мире, потому что не подозревает, что там нужно вести дела не по-русски.

Ричард Львиное Сердце был последним настоящим рыцарем этого мира, который совершил деяния, вошедшие в историю. И клятва, и договор в его время были обязательными; не взяв Иерусалим, он договорился с Саладином о беспрепятственном доступе туда христианских паломников. Кстати, именно для охраны паломнических караванов еще во времена Первого похода были созданы рыцарско-монашеские ордена тамплиеров и госпитальеров (иоаннитов). Иоанниты, или Мальтийский орден, сохранились до сих пор; больницы, которые они создали в Германии, приводят в восхищение. Тамплиеров уничтожил французский король Филипп Красивый; впрочем, и сегодня есть общества, называющие себя «тамплиерами».

Первого и Третьего крестовых походов достаточно; остальные были настолько невыразительными и безрезультатными, что историки не могут назвать даже их точное число. Что принесли они Европе, что принесли они миру?

Вспомним речь Папы Урбана II: «Земля там течет молоком и медом... Кто здесь горестен, там станет богат». И действительно, многие крестоносцы обогатились – не только сеньоры, но и простые воины, кто выжил, вернулись домой не только с малопонятными сувенирами – некоторые и с солидными суммами в золоте. А был ли действительно так богат загадочный Восток, лишь край которого затронули Крестовые походы? Хроники рассказывают: захватив шатер сельджуцкого бея, воины выносили оттуда целые мешки драгоценностей. То есть то, что сельджуки награбили ранее, в разоренных ими арабских городах. Но у арабов-то откуда столько? Ведь они, нищие кочевники, пришли совсем недавно, опять же ограбив города, попадавшие им на пути! А поскольку лишь немногие из жителей этих городов остались в живых, богатства, доставшиеся крестоносному воинству, никому толком не принадлежали. Вероятно, там были произведения искусства древних и не слишком известных нам культур; практически всё было переплавлено в монеты.

Так или иначе, Крестовые походы стали первым серьезным столкновением между христианским Западом и мусульманским Востоком. Султан Саладин объявил даже джихад, но скольконибудь серьезных последствий это не имело. Забот хватало – вскоре на Средний Восток обрушились монголы, вслед за ними – безжалостный Тимур. Дважды был разрушен Багдад, дважды – Дамаск. Один раз даже Дели, столица Индии. Грозный египетский султан Бейбарс и его наследники, потомки рабов-мамелюков, отвоевав все остальное, покончили с последними владениями крестоносцев на Ближнем Востоке.

Что взяла Европа от Востока в этот период? Не так много, но и не так уж мало. Сахар, тростниковый сахар – в 1098 году голодавшие крестоносцы, осаждавшие Антиохию, поддерживали

свои силы «сладкими тростинками». До этого в Европе источником сахара был лишь мёд. Гречиха, рис, абрикосы, арбузы, лимоны – всё оттуда. И даже – почтовые голуби. Впрочем, такие ремёсла, как шелкоткачество и вообще изготовление дорогих тканей, бумагоделание пришли в Европу вовсе даже из Китая, но не через Ближний Восток, а через арабизированные Испанию и Сицилию. И, естественно, огромное количество знаний и обычаев (в том числе, кстати, горячие бани) пришло на Запад из Византии, поработенной и расчленённой теми же крестоносцами.

Богатые морские республики – Генуя, Пиза, Амальфи и особенно Венеция вели оживленную торговлю с Ближним Востоком, несмотря на усилившуюся опасность пиратства. Правда, хорошо укрепленную венецианскую галеру очень нелегко было одолеть в морском бою. Ни о каком джихаде уже никто не поминал – все бывшие арабские владения, за исключением Марокко и Турции, подчинила новая держава – Османская Турция. На Западе наступало время Возрождения, на Востоке – то, что гораздо позже было названо «застоем». Но кто решился бы утверждать, что в эпоху «застоя» Советский Союз не мог представлять угрозы какой-либо конкретной стране и вообще международному миру? «Застойная» Турция, поработив все государства Балканского полуострова, потерпела поражение при второй осаде Вены в 1683 году – и с этого начался её закат.

Вернемся назад – к концу эпохи Крестовых походов. Что принесли они Европе? Награбленные богатства, конечно, не в счет. Но – они покончили со средневековым представлением о мире и тем самым подготовили наступление эпохи Возрождения. Более конкретно: в эпоху, когда единственной наукой считалась теология, люди занялись прикладными, позитивными науками – геометрией, астрономией, механикой, алхимией; этого требовало мореплавание, ставшее в конце концов единственным разумным способом доставки войск на Восток, этого требовала нужда в осадных машинах и другой военной технике. Кто знает, если бы не было походов, когда европейцы добрались бы до Америки? В самой Европе это привело к закату баронской вольницы и консолидации национальных государств; прямо скажем, политическая карта этой части света не пертерпела с тех пор принципиальных изменений. Крестовые походы остались в истории – как отчасти наивное, но вызванное добрыми помыслами предприятие, порожденное легендами и породившее сотни легенд и реальных историй о героизме и отваге рыцарей без страха и упрека, о трусости и предательстве феодальных властителей, о морях крови и годах страданий, о славе побед и позоре поражений... Имея религиозные корни, Крестовые походы не были, по сути, религиозной войной, как, скажем, последующие войны Реформации, не были и фатальным столкновением противоположных по устремлениям культур. Эго сейчас, в свете нынешних событий, им такое значение приписывается. Видимо, исходя из нынешних представлений, Папа Иоанн Павел II принес извинения за Крестовые походы... А ведь это была просто война, средневековая война, с вопиющими жестокостями с обеих сторон. И с обеих сторон, как ни странно, война завоевательная. Действительно ведь султан Саладин или сельджукские беи воевали вовсе не за родную землю, на которой они выросли, а за бывшие владения разгромленной ранее Византии, которой крестоносцы (хотя бы формально) пришли на помощь! И хоть закончились эти походы плачевно, причин для извинений нет – они были и останутся славной страницей в европейской и мировой истории. Это только у мусульман слово «крестоносцы» вызывает однозначно отрицательные эмоции (как и слово «евреи», вспомним знаменитый призыв Усамы бин Ладена к «войне против евреев и крестоносцев»). У меня же, как и у большинства, я надеюсь, моих европейских соотечественников, оно вызывает чувство гордости за героическое прошлое. Прошлое, которое так неожиданно экстраполировалось в настоящее и стало аргументом в нынешней ожесточенной идеологической борьбе между Востоком и Западом.

Продолжение следует

Александр МЕЛИХОВ

ТРАЕКТОРИЯ ПОКАЯНИЯ

Когда моего слуха коснулась первая волна шумихи, произведенной «самым скандальным романом Гюнтера Грасса», как значится на обложке «Траектории краба» («АСТ», «Фолио», 2004), я отнюдь не поспешил приобщиться к очередному шедевру нобелевского лауреата: если я не питал ни малейшего почтения к лауреатам Ленинской премии, то почему я должен становиться навтыжку перед трибуналом никому неведомых академиков прелестной страны, давшей миру, в сущности, лишь одного великого писателя – Стриндберга? Для того ли я годы и годы воспитывал свой вкус на бесспорных шедеврах, чтобы вот так вот взять и подчинить его какой-то внеэстетической, социальной иерархии? А никакая другая иерархия в принципе невозможна там, где что-то делают, а не создают.

Если заглянуть лет на сорок назад, в эпоху, относительно которой время уже более или менее твердо вынесло свой приговор, то обнаружим, что в списке нобелевских лауреатов отсутствуют Толстой, Чехов, Марк Твен, Ибсен, Стриндберг, Пруст, Джойс, Кафка, Булгаков, Платонов, а среди присутствующих лишь что-нибудь около четверти истинных классиков, остальные же просто «крупные писатели», чьи имена в основном помнят лишь специалисты. (Это особенно заметно в парах «физиков и лириков», получавших Нобелевскую премию в единой церемонии: имя физика, как правило, до сих пор отзывается бронзой, лирика же – деревяшкой, хотя должно быть наоборот: ведь именно искусство призвано творить бессмертные образы.) Нет, я не буду проводить параллель между Ленинской и Нобелевской премией слишком далеко: Ленинскую премию по политическим мотивам чаще всего получали конформисты, а Нобелевскую – неконформисты, причем не так уж важно, чему именно они неконформны: в мире левых приоритет имеют правые, в мире правых – левые, но главная разница – Ленинская премия в основном пыталась выдать за золото глину, а Нобелевская – всего только латунь. Правда, и наносимый обеими премиями эстетический ущерб несопоставим: авторитет Ленинской премии не выходил из границ Советского Союза, да и там очаровывал одних лишь простаков, а авторитет Нобелевской премии поистине всемирный, а потому и искажения, вносимые ею в ценностей незыблемую скалу, неизмеримо более велики.

Вот и Гюнтера Грасса невольно начинаешь числить в одном ряду с Кипплингом, Гамсуном, Анатолем Франсом, Томасом Манном, Буниным, Камю, Фолкнером, Хемингуэем... А потому ждешь, что с первой же страницы тебя охватит ощущение силы, лиризма, остроумия, изящества, пластичности, глубины – чего-нибудь, но из ряда вон, а здесь все до оторопи ординарно. Ну, очерк как очерк, серенький язык (которому, правда, можно найти казуистическое оправдание: повествование ведется от лица серенького журналиста), едва намеченная среда, еле живые персонажи... Нет, если бы это было рядовое произведение текущей литературы, так можно было бы даже и похвалить, но когда речь идет о классике – это просто ни в какие ворота. Именно так и бывало с советскими классиками: когда тебе втюхивают «Молодую гвардию» за выдающееся произведение – тут ангел божий выйдет из терпения. Поэтому, чтобы не наговорить лишнего, воздержусь от разбора полностью отсутствующих художественных достоинств. А выделю действительно очень интересную публицистическую схему. Почти аллегория, а может быть, даже и просто аллегория, которая была бы даже способна сделать произведение значительным, не будь оно столь безумно растянутым: при очень небольшом для романа объеме плотность художественных находок на единицу текста все равно оказывается заметно ниже предельно допустимой концентрации.

Схема примерно такова. Бабка, набитая дура и во все физически позволяющие годы своей жизни простодушная потаскушка, пичкает маленького внука одними и теми же ужасами, свидетелем которых ей пришлось стать в качестве одной из пассажирок лайнера «Вильгельм Густлофф», торпедированного Александром Маринеско. Разумеется, военный аспект это дитя

природы не интересует – она вспоминает лишь действительно несчастных и ни в чем не повинных деток. А заодно безоблачные довоенные годы, когда «Вильгельм Густлофф» катал в недорogie круизы счастливых арийских трудящихся. В итоге внук заделался ярым интернет-пропагандистом великого рейха, чья история воплотилась для него в судьбе нацистского «товарища Нетте» – Вильгельма Густлоффа, которого застрелил в Швейцарии студент-еврей Давид Франкфуртер.

Мы все время твердим об их страданиях, а полюбитесь-ка, что они с нами творили, – таков был пафос юного агитатора, находившего во многих сердцах самый теплый отклик. Но и протест тоже: некий всезнайка вступил с ним в упорный спор, напирая на то, что эру массовых убийств открыли сами немцы, а потому им нужно думать не о вине других, но о собственном покаянии, о собственной безмерной вине – прежде всего перед евреями.

Кончилось тем, что оплакиватель страданий немецкого народа застрелил его обличителя, ошибочно приняв его за еврея. Тем не менее, тайные реваншисты открыли специальный сайт для восхваления юного мстителя: «Мы верим Тебе, мы ждем Тебя, мы идем за Тобой...»

«Никогда этому не будет конца. Никогда», – так завершает свою слишком уж бесхитростную историю герой-рассказчик, чьим сыном в довершение всего оказывается герой-мститель. И он совершенно прав: люди всегда будут принимать ближе к сердцу свои, а не чужие страдания.

Схема Грасса отчетливо демонстрирует, сколь трудно и даже почти невозможно применять уголовную статью о разжигании межнациональной розни, ибо для этого самого разжигания вполне достаточно рассказывать народам правду об их совместной истории.

А кроме того, Грасс мало что оставляет от сладенькой сказки «немцы покаялись»: он ясно показывает, как требование некоего идеального покаяния, то есть полного приятия и почти одобрения всей обрушившейся на немцев мести, вызывает то более, то менее откровенное раздражение, а в крайних случаях и прямую ненависть. И это вовсе не потому, что немцы плохи – они вовсе не хуже других, а может быть, даже и лучше, – но потому, что таковы люди вообще. Никто – ни народ, ни индивид (по крайней мере, не собирающийся покончить с собой) – никогда не каялся так, чтобы это не было первым шагом к самооправданию: да, мол, мы наделали ужасных вещей, но это была ужасная ошибка, в которую нас вовлекли ужасные люди, но теперь мы их отвергли, а, значит, мы уже совсем другие. Так рассуждают все, и ничего иного никогда не было, нет и быть не может. Признать себя плохим хотя бы в какой-то исторический момент для всякого народа означало бы исчезнуть. Поскольку все народы живы одной-единственной национальной идеей – «мы самые достойные люди на земле ныне, присно и во веки веков».

Ни один народ никогда даже не сформулировал свою вину такой, какой она, увы, слишком часто бывает в действительности: мы попытались захватить чужой кусок, но нам дали по морде, и мы поняли, что лучше было этого не делать (где и когда победители добровольно отказывались от чужого имущества?). Нет, народ в лучшем случае может отказаться от какой-то своей «худшей» части, чтобы, изгнав этих козлов отпущения из своих рядов, объявить себя неким обновленным народом, уже очистившимся от преступлений отвергнутой части. Ведь не бывает народов настолько чудовищных, чтобы они не могли отыскать щепотку праведников даже в самые мерзостные мгновения своей истории, – вот их-то обычно и объявляют подлинным народом, выводя будущую историю уже из них, а не из проигравших преступников. Это и есть тот максимум, на который способны люди, – отказаться от части, чтобы спасти целое.

Ничего другого, повторяю, никогда не было, нет и быть не может, и требовать от нашкодивших народов какого-то более глубокого покаяния означает лишь возбуждать в них сначала раздражение, а затем уже и открытую злобу.

Александр САМОЙЛОВ

РУССКИЙ С ЕВРЕЕМ – БРАТЪЯ НАВЕК?

Странное впечатление производит эта книга (Семен Глейзер. Анти-Солженицын. Двести лет как жизни нет. М.; Blue Apple, 2005).

С одной стороны, я уже много раз это слышал. Автор книги, житель нашего города Гамбург Семен Глейзер не раз выступал на эту тему в местных культурных обществах. Да и тема – критика нашумевшего двухтомника А.И. Солженицына «Двести лет вместе» – уже становится почти банальной.

С другой стороны, когда читаешь книгу, становится ясным многое из того, что упустил или, возможно, прослушал при публичном чтении и бурном затем обсуждении в наших эмигрантских компаниях.

Я поделился своими сомнениями с моим старым приятелем, известным в городе историком.

– Какой, к черту, апостол Андрей еврей? – ошарашил меня он. – Святой Андрей – христианин! И всё!..

Этот новый взгляд на «солженицыноведение» настолько озадачил меня, что я только через неделю смог собраться с мыслями. И сам позвонил историку.

– Какой, к черту, Гитлер немец? – сказал я, не скрывая злорадства. – Он христианин! И всё!..

Еще через день я снова позвонил ему.

– Какой, к черту, Сталин грузин? Он христианин! И всё!..

Тут я осознал, что тема нашего разговора касается уже не столько книг А. Солженицына и даже не столько критики их в работе С. Глейзера, сколько некоей более общей и широкой проблемы: давних и очень давних взаимоотношений русских и евреев вообще. Вот об этом-то мне и хотелось бы поговорить.

Солженицын, удачно или неудачно, объективно или не очень, исследует, раскапывает, расковыривает, посыпает крупной солью, выставляет напоказ раны – обиды русских на евреев и, в меньшей степени, евреев на русских. И вся литература, посвященная двухтомнику «Двести лет вместе», а это двухсот-пятисотстраничные труды таких авторитетов, как Аркадий Ваксберг, Семен Резник, Александр Воронель, Марк Дейч, посвящена критике метода Солженицына, анализу тысяч цитат из него, доказательствам их тенденциозности, одним словом, совершенно серьезна. Она, эта литература, обращена к самому А. И. Солженицыну, возражает ему, негодует против него, что-то пытается ему доказать, приводя неопровержимые факты. Но он вряд ли вообще всё это будет читать. Читатели же не всегда в состоянии одолеть труд Солженицына и ищут ответы на свои вопросы в книгах упомянутых критиков. Но и там они зачастую находят всё ту же наукообразную скуку, дотошность, мелочность, крючкотворство, взаимные придирки и т.д.

Читатели-интеллигенты, демократы, многие евреи, порядочные люди независимо от «пятого пункта», как мне кажется, нуждаются в другом. В простых и доступных ответах на вопросы, намеки, обвинения и упреки, поставленные на повестку дня А. И. Солженицыным. И потому короткая книжка, всего сто с небольшим страниц, Семена Глейзера вдруг стала столь популярна. Популярна до такой степени, что, например, в США на «черном рынке» ее цена взлетела до почти тридцати пяти долларов за экземпляр, а спрос на неё оставил далеко позади спрос на книги вышеупомянутых авторитетов, посвятивших той же теме толстые, подробные и почтенные труды.

Что же такого нового смог сообщить наш соотечественник из Гамбурга?

Прежде всего очевидно, что он не обладает такой компетенцией в вопросах еврейской жизни тех самых «двухсот лет», а именно XVIII - XIX столетий, чтобы на равных – или почти на равных – состязаться с самим «классиком русской литературы», что как раз и попытались сделать его коллеги-«солженицыноведы», написавшие толстые и скучные труды. Вместо этого он делает некий текстологический анализ труда классика и задаёт ему – и нам – простые и понятные вопросы. И ответы на них совершенно очевидны, причем как читателю, так, возможно, и Солженицыну – если бы он когда-нибудь снизошёл до них. Рецензент труда Солженицына Семен Глейзер мог бы назвать свою книгу не просто, а очень просто: «ОКАЗЫВАЕТСЯ».

Задавая свои вопросы и находя на них ответы в текстах самого Солженицына, автор книги «Анти-Солженицын...», вольно или невольно, рисует образ великого русского писателя совсем не таким, каким мы десятилетиями привыкли воспринимать автора «Одного дня Ивана Денисовича». И этот новый образ – образ не слишком образованного, темного обывателя, отягощенного вековыми предрассудками толпы, националиста и «патриота». И именно его, этот новый образ, С. Глейзер высмеивает в своей книге посредством этих самых многочисленных «оказывается».

Оказывается, русская история по Солженицыну – совсем не такая, как мы привыкли думать. Она выглядит настолько фантастически, что новомодные теории Фоменко и Носовского – просто детский лепет рядом с «интерпретацией» Александра Исаевича.

Оказывается, это враньё, что Россия – многонациональная страна. Дудки! Только русские и евреи ее населяли и населяют. Никаких таких украинцев, татар, поляков, финнов и прочих тунгусов в России отродясь не бывало. Только русские и евреи! И они «на равных», то есть пополам, и должны поделить ответственность за все беды, обрушившиеся на Россию.

Оказывается, все слои русского общества были всегда довольны самодержавием, и никаких таких декабристов и разных там разночинцев, либералов и демократов никогда не было. Все там и тогда, абсолютно все, были довольны жизнью, за исключением одних только евреев. Вот так!

Или проблема «тотального спаивания» русского народа евреями. Ей из пятисот страниц первой книги Солженицына посвящены целых сто. На вопрос: а что, только евреи занимались при царизме винокурением, Солженицын «совершенно объективно» отвечает, мол, нет, еще этим занимались помещики, ясновельможные паны, православные попы и монахи. Но об этом – только одна строка... Вот так: сто страниц – и одна строка.

А знает ли Солженицын таких евреев, которые после революции продолжали изготавливать вино, водку, самогон и ими торговали? Не знает, ибо их не было вовсе. И дальше – больше: а кто сегодня торгует «малыми спиртовыми заводами» производства бывшей оборонки, кто покупает «заводики», что там гонят и кому продают это варево? Опять евреи? Солженицын молчит, молчит и его последователь писатель Владимир Бондаренко. Увы, не слышно «голоса совести народной». А почему? Потому что для них, писателей-патриотов, политически важнее, что было с пением на Руси тогда, двести-триста лет назад, чем сегодня. Воевать с прошлым легче и безопаснее, чем с настоящим.

А еще оказывается, Солженицын вольно или невольно ошибся, назвав свои книги «Двести лет вместе». Двести лет жизни вместе – кого с кем? В книгах Солженицына вообще нет русского народа. И непонятно, с кем «вместе» жили два века евреи.

Оказывается, они жили вместе с «народом», состоящим исключительно из репрессивного самодержавного аппарата. Это, разумеется, сам царь, его министры, попы, губернаторы, помещики, чиновники, полицейские, жандармы. Всё, больше никакого другого «русского народа» Солженицын не знает. Да и был ли он вообще?..

Оказывается, большинство тех, кого Солженицын таким образом определил как «русский народ», вообще были не русские, а этнические немцы, включая царя и его семью. Мы помним фамилии Бенкендорфа, Бирона, Миниха и других, и их было великое множество в дворянской и чиновничьей среде. Автор приводит десятки имен российских премьер-министров, министров правительства, генералов и адмиралов, шегов корпуса жандармов, губернаторов, которые имели немецкую национальность и фамилии. Это не хорошо и не плохо, это – факт, мимо которого прошел А. И. Солженицын, случайно или сознательно.

Оказывается, сама царская фамилия Романовых пресеклась – по мужской линии – еще в 1730 году со смертью Петра П-го. И до самой революции нами правили немецкие семьи Мекленбург-Брауншвейг и Гольштейн-Готторп. Нынешний русский святой, невинно убиенный Николай П, был русским только на 1,56% своей крови. На всё остальное – немец (и немного датчанин).

К чему все эти подсчеты? А к тому, что если мы еврея называем евреем, а значит, за что-то осуждаем, припечатываем, то и русских надо называть русскими только тогда, когда они таковыми являются. А если это не русские, а немцы, то давайте называть их правильно. Иначе – к чему эти хитрости? Кого хотим обмануть?

Оказывается, единственная проблема, возникшая в отношениях немцев и евреев в Германии в двадцатом веке, заключается исключительно в участии немецких евреев в установлении Баварской Советской Республики в 1919 году. Других проблем между немцами и евреями не возникло. И никакого такого Холокоста не было. Только «Красная Бавария»...

Оказывается, немцы платят евреям репарации (за что? за Баварию?...). Я живу в Германии одиннадцать лет, и еще ни один немец не заплатил мне копейки репараций.

Оказывается, евреи тоже должны были бы платить русским репарации – в связи с активным участием евреев в революции и в советском государственном строительстве первых лет. Поскольку других наций и народностей в России никогда не было, а русские в революции, гражданской войне, строительстве социализма-коммунизма никак не участвовали, то, разумеется, «крайними» остаются одни евреи. Это действительно что-то новое в исторической науке...

А вот интересно. Александр Исаевич много пишет о погромах. О еврейских погромах, разумеется. Всего было около 900 погромов, из которых большинство на совести белых, затем разных «независимых» банд, а также немного и красных. Глейзер приводит цифру числа жертв погромов в годы Гражданской войны – 54 тысячи. По другим данным их было около ста тысяч. И совершенно очевидно, что евреев били тогда славяне – русские и украинцы. А вот вопрос «на запылку»: не собирается ли в таком случае наш знаменитый классик и моралист начать выплачивать

за это репарации евреям?.. Ведь и фонд подходящий, благотворительный, для того имеется, «Фонд Солженицына» называется...

Когда всё это в концентрированном виде читаешь в текстологическом анализе С. Глейзера, то невольно задаешь себе очень простой вопрос: а в своем ли уме пребывал наш великий писатель в период написания книги «Двести лет вместе»? И можно ли вообще о чем-либо с ним серьезно говорить и спорить? А если нет, то остается только посмеяться над его двухтомным трудом, не больше, что, собственно, и делает автор.

Далее. С. Глейзер берёт проблему шире, чем это сделал Солженицын, и задается вопросом: когда и с чем пришли евреи на русскую землю. И вот тут оказывается, что история этих отношений насчитывает не двести лет, а все две тысячи. И рассказывает вещи, о которых сам А. И. Солженицын, видимо, и не подозревал, несмотря на всю свою громко декларируемую русскую духовность, исконность и православность.

Оказывается, с небес Руси и России вот уже тысячу лет помогает, потворствует, покровительствует один малоизвестный еврей – наш русский, отечественный святой. Это – Андрей Первозванный. И флаг Андреевский со времен Петра Великого на русском флоте – это его флаг! Апостол Андрей и был первым евреем на Руси.

(Вначале он был еврейский националист, сторонник Иоанна Крестителя. И вместе с ним боролся за национальное освобождение Древней Иудеи от римского владычества. Потом он вовремя переметнулся в конкурирующую группу евреев-интернационалистов, возглавлявшуюся Иисусом из Назарета, которая ставила на повестку дня древнюю «мировую революцию». Эта группа полагала, что освободиться от гнета можно, только если «всем угнетенным народам мира взяться всем вместе». Потому Андрей тогда и получил имя «Первозванный» – он первым перебежал из одной еврейской подпольной группы в другую.)

Итак, пришел он на Русь не как «самогонщик» или «чекист», а как носитель «высшей истины» – христианского вероучения. Вот почему мы и поспорили с моим приятелем-историком, считать Андрея евреем или нет. Если по Галахе да по маме, то – да, чистый еврей, бывший простой рыбак с Галилейского моря. Если по вере, то, тоже верно, христианин.

Вот что такое вероисповедание. Некто Юровский, например, был лютеранин. А значит кричать, что он, начальник команды, некогда расстрелявшей царскую семью, был евреем, неправильно! Он был христианин! И всё тут! Точка!.. Так что давайте договоримся не путать понятия, не играть словами «русский», «еврей», «нееврей», и попросим Александра Исаевича и всех его сторонников выражаться корректно. Вера может быть разная, в том числе и в разные периоды жизни человека. А национальность – одна, приобретенная по факту рождения.

Но пойдём дальше. Что конкретно принес апостол Андрей на землю русскую? Ответ, который дает в своей книге С. Глейзер, выглядит поразительным. Апостол Андрей, оказывается, принес на Русь множество еврейских традиций, обычаев, обрядов, мифов, которые, несмотря на вековые гонения как на евреев, так и на церковь, дошли практически в неизменном виде до наших дней. Вот бы где А. И. Солженицыну увидеть вековую связь русских с евреями, так ведь нет, одни взаимные упрёки и обиды. А книга Глейзера дает нам примеры, если не «братства», то во всяком случае многовековой духовной связи еврейской и русской культур.

Итак, вспомним, что до прихода Святого Андрея на Русь и даже после этого, ещё девятьсот лет, до принятия ею христианства, в русских землях царил язычество. Это само по себе, может, и неплохо, но не забудем, что оно, язычество, многолико. И порой ему присуща особая мораль, допускающая и человеческие жертвоприношения, и каннибализм, и рабство, и право сильного, и беспорядочность половых контактов. Не всегда и не везде, разумеется, но в тех или иных формах – очень часто.

Христианство принесло с собой новый «моральный кодекс», построенный на известных десяти заповедях – запретах, до того неизвестных или известных, но не обязательных для исполнения в языческом мире. Другое дело, насколько пунктуально эти заповеди исполняются христианами, да и евреями, на практике, – но это уже другая тема. «Декалог», или «десятословие», как учит церковь, был дарован Богом на горе Синай предводителю еврейских племен пророку Моисею. Вот их-то, эти еврейские моральные законы, и принес древним славянам первый на Руси еврей святой апостол Андрей. Так уж получилось, что носителем этой новой для Руси «еврейской нравственности» оказалась церковь, но от этого она, нравственность, не перестала быть в своей первооснове еврейской.

Боже, какими мы были наивными! Все годы советской власти мы, атеисты, праздновали Новый год с традиционным шампанским, салатом оливье, подарками под елкой и т.д. (можно

вспомнить и традиционный новогодний фильм «С легким паром, или ирония судьбы»). Для православных христиан это был и есть совсем другой праздник – «Обрезание Господне». Я не поленился, достал брошюрку «Религиозные праздники» в Гамбурге. И точно: на 1-е января приходятся: праздник Божьей Матери Марии у католиков, Обрезание Господне у православных христиан. Обратите внимание: католики это не празднуют – только православные! У них, видимо, особая связь с еврейством...

Итак, 1-е января – истинно русский религиозный праздник. А чего удивляться? Если некто (Некто) родился 25 декабря первого года до н.э., то на восьмой день Он и был обрезан по еврейскому обычаю. Вот потому и празднуют все православные на планете этот еврейский праздник точно под наш атеистический Новый год, в ночь на 1-е января. И опять же, русские иконы. Что написано над головой распятого Иисуса на иконе? Какие-то буквы – «ИНЦИ». Они расшифровываются так: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский». Заметим, царь не русский, не немецкий и не вселенский, а – иудейский! И это на наших, исконно русских иконах! И такое можно увидеть в каждой церкви. И молятся, и поклоняются этому «иудейскому царю» тоже наши люди – русские, православные.

А храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве? Он, оказывается, воплощает в себе вековую мечту русского человека об Иерусалиме (см. в книге интервью, данных газете «Аргументы и факты» митрополитом Владимиром). Получается так, что вековая мечта русского человека – это когда-нибудь стать евреем!? Об этом ли мечтает Солженицын и другие национал-патриоты, рядящиеся ныне в тогу глубоко верующих русских православных людей? И нет ли тут какого-то скрытого, маленького комплекса неполноценности?

И наконец, что такое «Израиль». Это, оказывается, вовсе не оплот сионизма-экспансионизма на Ближнем Востоке, а, совсем наоборот, сообщество верующих православных: «В метафорическом смысле оно (слово «Израиль» – А. С.) обнимает собой всю Церковь Божию...» Это цитата из дореволюционной Библейской энциклопедии, приведенная к месту в книге.

В порядке иронического парадокса, возражая высокоумным размышлениям Солженицына о том, кого можно считать евреем, а кого нет, С. Глейзер сам не замечает, как от иронии невольно переходит к вещам, требующим весьма серьезного отношения. Так, он заключает: каждый еврей – есть русский, и с этим спорить не приходится, и наоборот, каждый русский – есть еврей! Таким вот образом он высмеивает солженицынские построения, а ведь это, по сути, с учетом вышеприведенных доводов, в какой-то мере действительно так! С одной оговоркой: каждый русский, придерживающийся церковных установлений или хотя бы соблюдающий пресловутые десять заповедей.

Но всё это, так сказать, теория. А вот вам и практика. В советские времена, по данным А. М. Буrowsкого (см. его книги «Евреи, которых не было»), треть всех евреев СССР состояла в смешанных браках с русскими. Затем, возьмите еврейскую эмиграцию последних волн. Миллион в Америке, миллион в Израиле, сто тысяч в Германии. Кто они, эти миллионы? Что говорят они о себе сами? Что они – евреи? Отнюдь нет. Они – русские! И сами для себя, и для своих нынешних соседей-аборигенов, настоящих американцев, немцев, израильтян. Такое единодушие не может быть случайным: эмигранты эти действительно русские люди. И по духу, и по вскормившей их культуре, и по традициям, и по привычкам, и по языку, наконец. Обратите внимание, кто организует, возглавляет и в основном посещает многочисленные в Германии «общества русской культуры»: большинство там – опять же этнические евреи, говорящие, думающие и пишущие только по-русски! Недаром по еврейским общинам Германии прокатилась волна раскола – на «русских» и «немцев», вернее, на русскоговорящих и немецкоговорящих евреев, членов этих общин. У них всё разное: разные интересы, праздники, развлечения, разные ценности в жизни, это очевидно и тем, и этим.

В Интернете даже появился некий бродячий образ – Вечного Русского. Он бродит, носится по странам и континентам, как курица с яйцом, со своей русской идентичностью и самобытностью. Этот Вечный Русский – наш брат еврей-эмигрант. Можно сказать даже больше. Евреи в эмиграции стали «посланными», разносящими русский дух и русскую культуру по всему миру. Благодаря им мир многое узнаёт и многое еще предстоит ему узнать, при посредничестве русских евреев, о «загадочной славянской душе»...

Вот они, истинные «агенты влияния» России в мире! Русские евреи в эмиграции.

Ох, боюсь, придут когда-нибудь снова нелегкие времена, когда каждого русского еврея на Западе будут подозревать в «тайных симпатиях» или даже в «шпионаже» в пользу России...

Не дай, как говорится, бог...

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Милослав ШИМЕК и Йиржи ГРОССМАН

ДВА РАССКАЗА

КАК Я УЧИЛСЯ КУРИТЬ

Что бы ни говорили окружающие, как бы мама ни утирала слёзы, сигарета молодому человеку для совершенства столь же необходима, как верблюду – горб. Правда, импортная жвачка, исправно сидящая на зубах, тоже неотразима, и пузырь, ненароком выпущенный во время разговора с директором школы, производит должное впечатление, однако сигаретка – всё же сигаретка. Совершенно не понимаю, как я тринадцать лет мог без неё обходиться. Хотя уже десятилетним парнишкой я пробовал сосать деревяшки, обмотанные ватой, но это было не то. Попыхивание столь хвалёными камышовыми сигарами, вошедшее у нас в обиход с лёгкой руки крестьянского сына Ланыжа, также не доставило ожидавшегося наслаждения. Казалось бы, верхом совершенства стало изобретение 8-го «В» – вдыхание дыма из короткой трубочки, набитой сухой травой. Обожжённые лица нескольких сотоварищей могли служить достаточным тому опровержением, не говоря уже о том, что некоторых пацанов после нескольких попыток позорно вырвало на школьных задворках. Вскоре все мы, жаждущие курева, осознали, что если хотим овладеть техникой этого искусства без вреда для здоровья, необходимо довериться профессионалу.

И судьба к нам отнеслась благосклонно, забросив в наш класс с началом нового учебного года второгодника Янебу, – более известного, даже среди учителей, под прозвищем Никотин. Это был человек, который, очевидно, кроме курения, больше ничего не умел, зато упомянутым ремеслом владел с мастерством хозяина опиумного притона. Количество выкуриваемых им сигарет было поражающим – и разумеется, уже к концу сентября он успел распродать все учебники, взятые займы у государства, так что из школьных принадлежностей у него остался только мешочек для кедров, битком набитый окурками, которые он по дороге в школу ловко подбирал, накалявая на остро отточенный угольник. Неудивительно, что Янеба и на первый взгляд отличался от своих сверстников. Его фигура сама по себе напоминала недокуренную сигарету, а его кепку не без оснований называли «пепельницей». Вдобавок от него исходил запах, как от обильной табачной плантации во время уборки урожая. Одежда потёртая, во многих местах прожжённая, а на животе под кожей вшиты три сигареты – как утверждал Янеба, «на случай провала». Хотя в школе курение жёстко преследовалось и страдающий астмой учитель Рейгон, переодевшись слесарем, проверял мужские туалеты даже во время занятий, к вредной привычке Янебы преподаватели и директор относились снисходительно. Курить ему не разрешалось только на уроках. Однако он выходил из положения, затягиваясь напоследок с приходом учителя, после чего добрых двадцать минут выпускал дым в пенал. Кроме того, сердобольные педагоги каждую минуту посылали его с сообщениями и поручениями, прекрасно понимая, что сразу за дверью Янеба даёт волю своему пристрастию.

Ходили даже сплетни, что какой-то бывший учитель, опечаленный тем, что за день не совершил ни одного доброго поступка, во время второй смены отправил Янебу к близлежащему газетному киоску высматривать, не покупает ли кто из школьников табачные изделия.

Естественно, что Никотин вызвал восхищение в наших сердцах. Вскоре мы готовили за него домашние задания, носили ему завтраки, а счастливы, которым удавалось их раздобыть, – и

сигареты. Наконец наступил день, которого мы с нетерпением ожидали, – в этот день Янеба на кирпичном заводе за городом должен был научить нас курить. Предполагалось, что нас, школьников, придёт восемь – Лукаш, Паздерка, Пилны, Завоз, Вайс, Дерави, Смолик и я. Однако до цели дошло только шесть человек. У Завоза, к сожалению, умерла тётя, так что наш разочарованный одноклассник вместо курения удивил родственников плачем. Дуралей Паздерка не выдержал мук ожидания и закурил уже в полдень дома в кладовке, где его застукал папаша, пришедший туда отлебнуть рому. Остальные уже заранее с нетерпением высматривали Янебу – точнее, дым, который неизменно возвещал о его приближении, так что случайному прохожему могло показаться, что приближается не наш товарищ, а паровоз. Ровно в три часа дым прибыл к нам. «Надеюсь, ни один из вас не нарушил моего запрета обедать», – сказал Янеба вместо приветствия и потребовал сдать ему свои запасы курева. Сигареты иностранных марок сразу конфисковал с заявлением, что для нас, начинающих, они слишком крепки. «А что буду курить я?» – спросил Смолик, сын спекулянта, который принёс только пачку «Честерфильда» объёмом сто штук. Янеба протянул ему две своих «Липы». После этого уже ничто не препятствовало нам закурить. Янеба оказался прирождённым педагогом, уделял внимание каждому в отдельности и следил за тем, чтобы мы правильно затягивались. После этого он нацарапал на стене кирпичного завода схему органов дыхания в разрезе, чтобы показать, как лучше всего использовать вдыхаемый дым. Правда, некоторые из нас уже были не в состоянии уделить рисунку должное внимание. Вайса нам даже пришлось sprysнуть водой. Когда он пришёл в себя, то признался, что на обед ел утку, – которая, впрочем, вскоре уже очутилась среди нас. Однако Янеба в тот момент уже зажигал для нас следующую порцию сигарет. Все молчали, поскольку курение не доставляло нам того удовольствия, о каком мы мечтали. В то время как Янеба со вкусом наслаждался «Честерфильдом», нам становилось всё более паршиво. Безбожник Дерави, у которого при нормальных обстоятельствах находились для Бога только презрительные слова, неожиданно начал вполголоса молиться. Абсолютно одурманенный Смолик тихо плакал и искал бумагу, желая написать завещание. Через час уже было всё равно, кто днём обедал, а кто постился, и по домам нас развозил Янеба на двухколёсной тележке.

Таким образом, в пресловутый день курить научились только Завоз, которому на похоронах родственники предложили сигарету, чтобы утешить его в горе, и балбес Паздерка, отец которого, потягивая ром, обнаружил, что вдвоём веселее.

КАК Я УЧИЛСЯ ПЛАВАТЬ

Без некоторых замечательных явлений, которыми нас дарит природа, мы могли бы без труда обойтись. Я имею в виду землетрясения, торнадо, саранчу, коровье бешенство, пожары в пампасах, миражи, леших, сенную лихорадку и налоги.

Однако, с другой стороны, в природе есть явления, включая опасные, которые не следует игнорировать или недооценивать. В первую очередь это вода. Может быть, некоторые из вас будут воротить нос, однако следует напомнить, что вода входит и в состав рома. Уже по упомянутой причине с этой стихией нужно обходиться по-доброму. Есть и такие храбрецы, которые с водой на «ты».

Следует признать, что в нашей семье вода не пользовалась особой популярностью. Не то чтобы мы не пили ром – наоборот, в этом отношении не хочу порочить нашу семью. Ведь уже во время завтрака отец нам давал по рюмочке «для прогрева», после чего целый день «прогревался» сам, – однако я имею в виду воду в таком виде, в каком она известна вам, – настоящую ключевую. Именно её родители от нас долго скрывали. Впрочем, это не составляло для них особого труда, поскольку водопровод находился только через двор на террасе соседнего дома, а во время дождя отец уверял, что с неба капает сера. Сегодня, много лет спустя, я с улыбкой вспоминаю, как у нас проходило субботнее купание, – в случае, если оно вообще проводилось: мама наполняла ванну светлым пивом и ополаскивала нас всех, после чего отец приглашал соседей на чёрное тринадцатиградусное пиво «Пятнашки». Любопытно, что соседи ни разу не заподозрили подвоха, хотя дворник Йиха однажды нашёл в своей кружке целлулоидную рыбку и кусок мочалки.

С водой мы, дети, как следует познакомились только в школе. Вначале учительнице показалось подозрительным, что на перемене мы моем руки под струей пива из бутылки, а после того, как однажды во время прогулки пошёл дождь и мы в ужасе закричали: «Сера, сера!» и спрятались в подворотне, она нами заинтересовалась. После длительных расспросов учительница посетила нашу квартиру и за закрытой дверью что-то кричала папе. Содержание их разговора осталось для нас тайной, однако результаты были налицо. Субботние пивные посиделки с друзьями отец отменил, а по окрестностям разнеслось, что мы обнищали. Так что после визита учительницы мы в первый раз купались в воде. Это было приятное ощущение, хотя тянуть из душа было уже не столь приятно, а пену приходилось создавать искусственно при помощи синтетических моющих средств. Зато тело после купания было не таким липким, не говоря уже о том, что к нам меньше привязывались мухи и осы.

А потом наступило лето. Теперь, когда мы уже почти стопроцентно знали, что в реке не сера, а вода, мы не боялись присоединиться к детям на берегу и освежиться, как все остальные. Плескаться в волнах было намного приятнее, чем когда нас отец в жару поливал на балконе охлаждённой бурдой. Жаль было только, что мы не умели плавать. Видите ли, скорость требует пространства, так что, хотя пиво тоже хорошо держит тело, в ванне всё же тесно. Так что мы приветствовали акцию «Каждому гражданину – уметь плавать», которая в нашем районе была запущена на всю катушку. О тренировке нас, юниоров, заботился пенсионер Влчек – бывший пловец-рекордсмен, выигравший в 1916 году особое состязание на выносливость «По-собачьи – до Гамбурга».

Применяемые Влчком методы тренировки с самого начала отличались своеобразием и преследовали ту цель, чтобы мы в воде чувствовали себя как дома. Для этого он нам пошил полиэтиленовые костюмы собственной конструкции, которые по надеванию наполнялись водой через замысловато скрытую карманообразную воронку. «Этот скафандр», – объявил Влчек в начале марта, – «вы будете постоянно носить вместо своей гражданской одежды. Он пошит по последней моде, так что с ним можно не расставаться даже на балу. Только вечером вам разрешается выпустить воду через кран в левой штанине и повесить полиэтилен на вешалку. Однако это не означает, что на ночь вы с водой расстанетесь. Если кто-то хочет достичь моего уровня и когда-нибудь по-собачьи доплыть до Гамбурга, он должен спать в ванне или пластмассовом бассейне, который вам родители с удовольствием купят». После этих слов тренер распрощался с нами на три месяца.

Следует признать, что советы Влчека не встретили в семьях безоговорочного понимания. Некоторые родители не только не купили своим чадам пластикового бассейна, но и запретили детям ходить в кружок плавания.

Остаток нашего отряда встретился с мастером спорта по плаванию Влчком в начале июля у реки, в тех местах, где находилось жилище пенсионера – жилой пароход «Гамбург». По сигналу тренера мы разделись до плавок. Полиэтиленовая одежда успела поспособствовать первым успехам: кое в чём мы уже достигли уровня тренера – наши сморщенные, побелевшие тела почти не отличались от фигуры пенсионера. Не удивительно, что бывший рекордсмен смотрел на нас с восторгом. А потом началась собственно тренировка. «Я вас не буду обучать искусственным стилям», – заявил Влчек. «Кроль, баттерфляй, брасс и плавание на спине – всё это лжестили, выдуманные тщеславными людьми, слепо верящими, что они – властелины природы. Всё это чепуха. Мы – благоразумные люди, поэтому при плавании не будем имитировать ни рыб, ни лягушек, ни, тем более, дельфинов – в общем, животных, тесно связанных с водой. Мы возьмём пример с сухопутных созданий, наших верных друзей – собак». После этого пенсионер швырнул своего кокер-спаниеля в речной поток и показал пальцем на барахтающееся животное: «Посмотрите хорошенько, как это делается. Он плывёт идеальным стилем – то есть по-собачьи!» В этот момент своеобразная методика тренера достигла апогея. Он воодушевился, его глаза заблестели удивительным блеском, и с криком: «Делайте, как собачка!», он стал шестом стаскивать нас в воду. Чего нам не очень-то хотелось, поскольку спаниель тем временем подозрительно скрылся в омуте под плотиной. Впрочем, ничего другого, как последовать примеру несчастного создания, нам не оставалось – хотя глубина в тех местах была добрых три метра. Некоторые из нас, стремясь походить на собаку как можно больше и не пойти ко дну,

даже громко лаяли. Вскоре положение стало критическим. Наши конечности, не привыкшие к собачьим движениям, утомились, и мы с трудом хватали ртом воздух. А если кое-кто и добирался до берега, фанатичный тренер, крича, что до Гамбурга ещё далеко, stalkивал его обратно в стихию. Нас охватила паника. Один берег был занят безумным Влчком и контролировался шестом, а другой был для нас недостижимо далёк. Мы держались на поверхности только благодаря силе воли. Не поверите, насколько собачий стиль утомителен. Видя безнадежность ситуации, мы – наверное, инстинктивно – стали звать на помощь. И хотя безумный старик на берегу пытался перекричать наш призыв весёлой спортивной песней, всё же нашлись граждане, поспешившие нас вытащить. Влчек не знал, против кого обратить свой шест в первую очередь, – против нас или против вновь прибывших, – так что начал им размахивать, как на байдарке. Наши спасители стали отступать, однако на какой-то момент им всё-таки удалось отвлечь внимание сумасброда от берега. Этим воспользовался мой брат, который, очевидно, позаимствовал у кокер-спаниеля больше всех. Он выбрался из воды, на четвереньках добежал до Влчека и изо всех сил вцепился зубами в его икру. Пенсионер выронил шест и, несмотря на ранение, прыгнул в реку и пропагандируемым им стилем скрылся вдали. Мы были спасены, и на этом наши занятия по плаванию бесповоротно закончились.

Неделю спустя мы прочитали в газете, что в Эльбе под Гамбургом рыбаки выловили сома невиданных размеров. Однако нам было об этом кое-что известно.

Перевёл с чешского Святослав Щиголь

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция,

я буду признателен, если вы найдете возможным поместить это письмо на страницах «Зарубежных записок».

В 24-м номере «Парадного подъезда» (газеты петербургского отделения СП России) за 2006 год была напечатана направленная против Александра Кушнера статья В. Рыбаковой под названием «Загадка стихоплётного долголетия» – с чем-то вроде развернутого эпитафия за моей подписью.

Этот эпитаф – подделка. Текста, приведенного г-жой Рыбаковой, я не печатал, никаких материалов для публикации г-же Рыбаковой не передавал, в переписке с нею никогда не состоял.

В приведенном г-жой Рыбаковой тексте произвольно и непоследовательно соединены обрывки моих фраз вперемешку со словами и фразами, мне не принадлежащими.

Поскольку правдоподобная ложь – худшая ложь, мне по необходимости приходится установить точный смысл моего отношения к Александру Кушнеру.

Первое и главное: Кушнер был и остается для меня подлинным поэтом. В свободной печати и устно я неоднократно отстаивал его творческий метод, в выгодном свете противопоставлял его другим поэтам, защищал от нападок завистников. Делал я это и после того, как в 1990-е годы почувствовал охлаждение к его лирическому герою. Для меня важнее другое: в начале 1970-х Кушнер был одним из тех, у кого я учился. По сей день мое преобладающее чувство к нему – благодарность. Этого чувства не ослабила ни ссора, ни установившаяся между нами взаимная неприязнь.

Природа честной литературной неприязни всегда одна: эстетические и этические расхождения, неразрывно между собою связанные. Мне кажется, что Кушнер отступился от писательских и человеческих принципов, которых держался в годы гонений. До нашей ссоры, встречаясь с ним, я пытался говорить ему об этом, но, по-видимому, не был услышан. После нашей ссоры я не сводил с ним счётов.

В моей оценке Кушнера я могу ошибаться, но за неё, здесь сформулированную, несу полную ответственность. Настоящим письмом я снимаю с себя ответственность за то, чего не писал и не публиковал.

Почтительно,

Юрий Колкер

Коротко об авторах

Юрий Беликов Поэт. Родился в 1958 году в г. Чусовой Пермской области. В 1980 году закончил Пермский университет. Работал в нескольких российских изданиях, в т.ч. в журнале «Юность». Автор двух поэтических книг и многих публикаций в ведущих российских журналах. Лауреат Пермской областной премии им. Гайдара, премии журнала «Юность» (1991), гран-при на Первом всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (1989). Живёт в Перми.

Михаил Гиголашвили Прозаик. Родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил филологический факультет Тбилисского университета, доктор филологии. Автор двух романов, множества повестей и рассказов, широко печатается в российской и зарубежной периодике. Преподаёт русский язык и литературу в Саарландском университете. Живёт в г. Саарбрюккен.

Леонид Гиршович Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, а с 1979 г. – в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обменные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии 1999г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

Нина Горланова Прозаик, поэт, художник. Родилась в деревне Юг Пермской области в крестьянской семье. В 1970 г. закончила филологический факультет Пермского университета. Автор множества книг и публикаций в российских и зарубежных литературных журналах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе международных (первая премия на Международном конкурсе женской прозы, 1992. Специальная премия американских университетов, 1992). Произведения переведены на английский, французский, немецкий, испанский, польский языки. Замужем за писателем В. Букуром, с которым часто пишет в соавторстве. Живёт в Перми.

Андрей Грицман Поэт, эссеист. Родился в 1947 году в Москве. По первому образованию врач, окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, кандидат медицинских наук. Второе образование – литературный факультет Вермонтского университета, магистр искусств по литературе. В 1981 году эмигрировал в США. Пишет по-русски и по-английски, автор семи книг стихов и прозы. Широко публикуется, по-русски – в ведущих русских литературных журналах, по-английски – в периодике США и Великобритании. Организатор и ведущий Международного клуба поэзии в Нью-Йорке, редактор сетевого журнала «Interpoesia». Живёт в Нью-Йорке.

Владимир Жуков Прозаик, публицист. Родился в 1955 году в Харькове. Окончил Московский областной педагогический институт им.Н.К. Крупской и аспирантуру Академии педагогических наук СССР. Кандидат педагогических наук. Работал учителем и завучем в школе, редактором в периодических изданиях. В 1990-х гг. вел авторскую программу на Втором федеральном телеканале (РТР). Постоянный автор журнала «Новое время» (Москва), а также ряда русскоязычных изданий Болгарии, Великобритании и США. Живет в Москве.

Евгений Кочанов Публицист-международник. Родился в 1943 году. Выпускник Института восточных языков при МГУ им. Ломоносова. С 1968 года – сотрудник международного отдела Всесоюзного радио, с 1976 по 1993 гг. – корреспондент Советского (впоследствии Российского) телевидения и радио в странах Южной и Юго-Восточной Азии, печатался в московской и зарубежной периодике. С 2000 года живет в Германии (г. Бонн), регулярно печатается в русскоязычной периодике. Член Международного союза журналистов.

Юрий Малецкий Прозаик. Родился в 1952 году в Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского госуниверситета и заочное отделение искусствоведческого факультета Ленинградской академии художеств. С 1977 года по 1996 год жил в Москве. С 1996 года – в Германии. В 1995 году заведовал отделом прозы журнала «Новый мир». Первая публикация – в 1986 году в парижском «Континенте» под редакцией В. Максимова – повесть «На очереди» под псевдонимом Юрий Лапидус. С 1990 года – публикации в «Знамени», «Новом

мире», «Дружбе народов», «Континенте» и др. толстых журналах. Неоднократно номинирован на Букеровскую премию, в 1997 году вошел в шорт-лист. Автор двух книг, которые вышли в московских издательствах «Книжный сад» и «Вагриус». Живёт в Аугсбурге.

Пётр Межурицкий Поэт, прозаик. Родился в 1953 году в Одессе. По образованию филолог, закончил филфак Одесского университета. С 1990 года живет в Израиле (Ор-Акива). Автор трех сборников стихов. Стихи и проза публиковались в периодических изданиях разных стран.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Александр Руденко Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в 1953 г. в Москве. Закончил Литературный институт им. Горького и аспирантуру при этом институте. Автор нескольких книг стихов, прозы и переводов. Пишет по-русски и по-болгарски. Произведения переводились на английский, французский, испанский, немецкий, болгарский и другие языки. При соавторском участии А. Руденко в 1999 г. издана эзотерическая книга его сына – целителя и духовного учителя – Зора Алефа «Ответы непосвященному», ставшая широко известной. Живёт в г. Видин, Болгария.

Александр Самойлов Журналист, публицист. Родился в 1945 г. в Москве. Окончил ВЗИПП в 1970 году. Печатался во многих российских газетах и журналах. Автор детских научно-познавательных программ на Всесоюзном радио, писал сценарии учебных и научно-популярных кинофильмов. С 1995 г. живёт в Германии, г. Ганновер.

Виктор Серебряный Родился в 1940 году на Украине. По комсомольской путёвке поехал в Красноярск. Работал монтажником, окончил факультет журналистики Иркутского университета. В качестве строителя объездил множество больших и малых городов Якутии, Иркутской области, Красноярского края. В 1966 году приехал в Норильск и почти два десятка лет работал на рудниках. Несколько лет колесил по таймырской тундре, работал в газете. Как журналист печатался много, но самое сокровенное вынужден был писать «в стол». В 2000-м году переехал в Германию. Живёт в Нюрнберге.

Хаим Соколин Прозаик. По образованию геолог, доктор геолого-минералогических наук, международный консультант по разведке нефти. Автор многочисленных рассказов и очерков, а также документальной повести «Есть ли нефть в Израиле? Записки идеалиста» (издана на иврите в 1990 году, на русском – в 1998 году). Публикуется в израильских русскоязычных газетах, в журналах «Время и Мы» (США) и «Гамбургская мозаика» (Германия). Живет в Иерусалиме.

Светлана Фельде Журналист, прозаик. Родилась в 1967 году в Омске. В 1989 году окончила факультет журналистики Казахского госуниверситета имени С.М. Кирова. Одиннадцать лет работала журналистом в различных газетах Казахстана. В 1999 году переехала в Германию. Автор книги рассказов. Публикуется в русскоязычной прессе Германии, журналах России, Канады. Член редколлегии Литературного объединения немцев из России. Живёт в Бонне.

Милослав Шимек (1940–2004, Прага, по образованию педагог) и **Йиржи Гроссман** (1941–1971, Прага, автор и исполнитель песен в стиле кантри) – чешские литературные, театральные и телевизионные юмористы, получившие прозвище «литературных клоунов». Шимек в начале 60-х гг. основал театр «Mlok» («Саламандра»), куда вскоре поступил и Гроссман. Оба автора сблизились и начали встречаться в пражском кафе «Slavia», где писали сценки и рассказы на темы из реальной жизни: один предлагал идею, другой развивал. Сотрудничество прервалось на период службы в армии, после чего возобновилось. В 1967 г. были приглашены в легендарный театр «Semafor». После смерти Гроссмана Шимек сотрудничает с Лудеком Соботой, Петром Нарожным, Йиржи Крамполом, после «бархатной революции» 1989 г. переключается на телевизионную политическую сатиру, где сотрудничает с Зузаной Бубилковой.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 15.03.2007

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 950 94 10 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в десятом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Дины Рубиной (Иерусалим)
Бориса Хазанова (Мюнхен)
Леонида Левинзона (Иерусалим)
Аркадия Бартова (Санкт-Петербург)
Бориса Юдина (Нью-Йорк)
Ильи Мильштейна (Мюнхен)
продолжение романа Хаима Соколина «Серая зона» (Иерусалим)

Стихи

Елены Елагиной (Санкт-Петербург)
Феликса Чечика (Натания, Израиль)
Андрея Грязова (Киев)
Эвелины Ракитской (Иерусалим)

Публицистику и эссеистику

Майи Туровской (Мюнхен)
Самуила Лурье (Санкт-Петербург)
Игоря Сухих (Санкт-Петербург)
Евгения Кочанова (Бонн)

и другие интересные материалы

